Кн. 4 (16)

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА
ЖУРНАЛА «КАТОРГА И ССЫЛКА»

Н. А. ЧАРУШИН

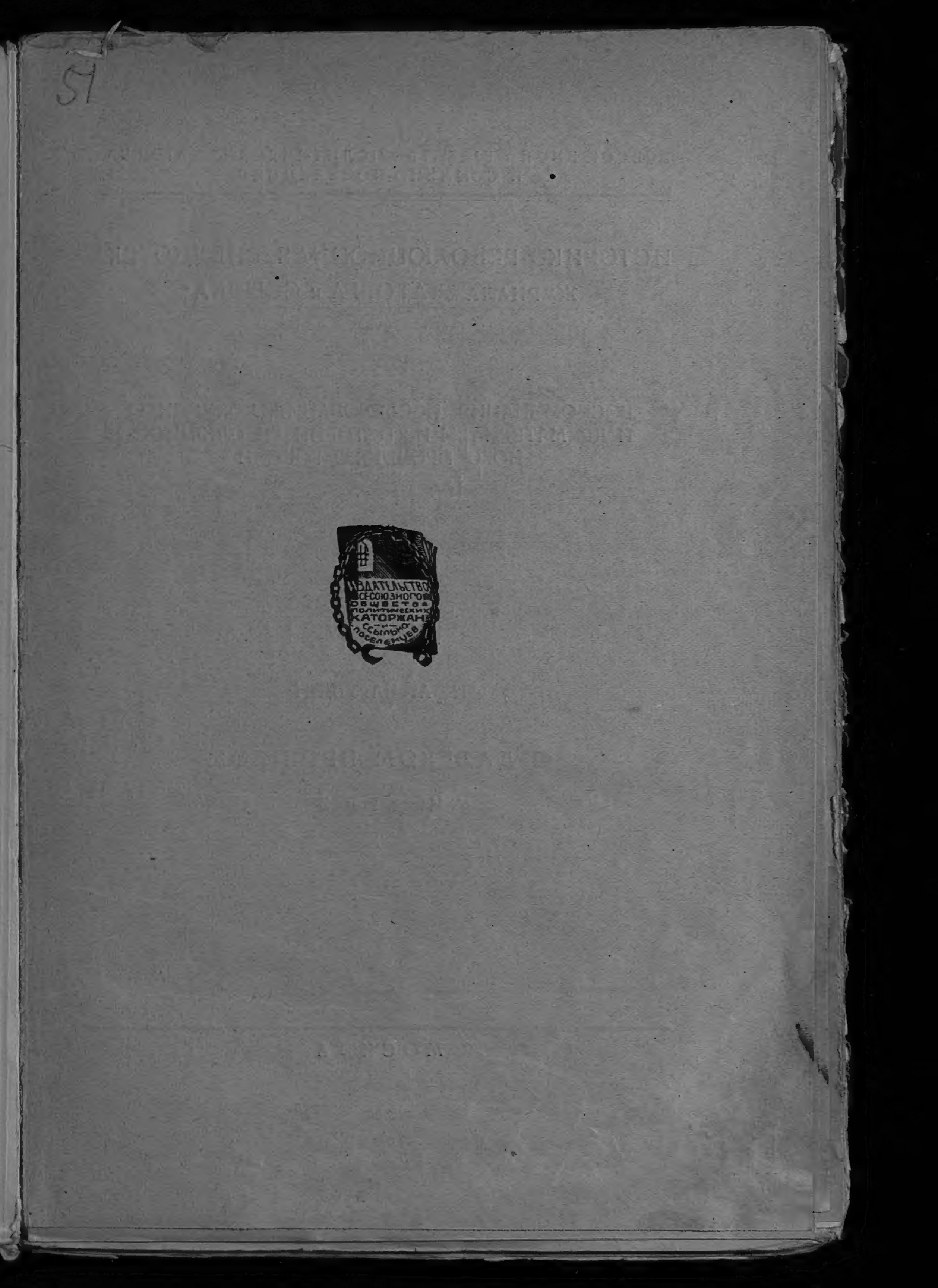
О ДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ

Ч. I и II

КРУЖОК ЧАЙКОВЦЕВ

Из воспоминаний
о революционном движении
1870-х г.г.

МОСКВА
1926


ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО
ОБЩЕСТВА
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН
—И—
ССЫЛЬНО-
ПОСЕЛЕНЦЕВ

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТОРЖАН
И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА
ЖУРНАЛА „КАТОРГА и ССЫЛКА“

ВОСПОМИНАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ И ДР. МАТЕРИАЛЫ ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОШЛОГО РОССИИ

КНИГА XVI

Н. А. ЧАРУШИН

О ДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ

Части I и II

МОСКВА

Н. А. ЧАРУШИН

ДЕТСТВО и В ГИМНАЗИИ

КРУЖОК ЧАЙКОВЦЕВ

Из воспоминаний
о революционном движении
1870-х г.г.

1926

Москва. Главлит № 71.040. 5.000 экз.
«Мосполиграф», 16-я тип., Трехпрудный, 9.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Часть II. Кружок чайковцев. Тюрьма и суд.

1871—1878 г.г.

К книге приложены портреты: 3 портрета Н. А. Чарушина и 2 портрета А. Д. Кувшинской (Чарушиной).



Николай Аполлонович
Чарушин
1910 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Я не собирался писать своих воспоминаний, полагая, что общественная ценность их будет не велика, в особенности же в виду развертывающихся и все нарастающих крупных событий русской жизни, в которых эти воспоминания, как незначительная мелочь, потонули бы никем не замеченные и никому ненужные. К тому же текущая жизнь, от которой никогда раньше я не стоял в стороне, приковывая к себе мое внимание, не давала и возможности углубиться в далекое прошлое. А потом, с годами, краски этого прошлого все больше и больше стирались, многое и совсем улетучилось из памяти, а главное—всегда существовало опасение, что при воспроизведении событий давно минувших дней и их оценки невольно скажется настроение последующего времени и наложит не вполне соответствующую действительности окраску на описываемое. Все это, вместе взятое, и удерживало меня от попытки взяться за перо, чтобы приняться за свои воспоминания. Но настояния за последние годы моих друзей и знакомых, не разделявших моих соображений и опасений, заставили изменить мое решение и попытаться, хотя в общих и беглых чертах, изобразить пережитое.

Предлагаемые вниманию читателей пока две части моих воспоминаний охватывают период времени с 1856 г. по 1-ю половину 1878 г. Первая часть—детские годы и гимназическая жизнь в Вятке—служит как бы введением во 2-ю, более обширную и ответственную, где главное содержание составляет «Кружок чайковцев», а затем тюрьма и суд («процесс 193-х»).

Эта вторая часть всего более меня и смущала. О кружке чайковцев и самих чайковцах, сыгравших весьма заметную роль в русском революционном движении первого его периода, уже многое и многими писалось, а потому немного нового я мог бы

прибавить к уже написанному ранее. Поэтому в этой части моих воспоминаний мне хотелось, главным образом, более подробно остановиться на постепенном ходе развития кружка и той эволюции—идеологической и деловой,—каковую он претерпевал со 2-й половины 1871 г. по 1874 г., т.-е. в период наибольшего его расцвета, когда и мне вместе с другими приходилось быть участником этих переживаний. Но правильно ли я собираюсь освещать эти последние и передавать фактическую сторону дела—у меня уже не было полной уверенности, так как более чем 50-летняя давность в том или другом отношении могла наложить свой отпечаток и нарушить историческую правду.

Для разрешения моих сомнений, возникавших по тому или иному поводу, мне оставалось одно—обратиться к единственному оставшемуся еще в живых, кроме меня, члену петербургского кружка чайковцев и непосредственному участнику в жизни его именно за этот же период времени,—Александре Ивановне Корниловой-Мороз, которой и приношу мою искреннюю и глубокую признательность за содействие при разрешении моих сомнений. Последняя всегда охотно шла мне навстречу в этом, а позднее, когда рукопись была уже готова, А. И. столь же охотно согласилась с'ехаться со мною в Москве, где совместно с нею она была внимательно прочитана, *в целом ею одобрена*, и лишь незначительные поправки были внесены в фактическую сторону изложения.

Вятка. 5/VII 1926 г.

Н. Чарушин.

ЧАСТЬ I.

Детские годы и гимназический период

1856—1871 г. г.

I.

Детские годы. Жизнь в семье. Начало ученья. Намерение родителей отдать меня в Вятскую гимназию. От'езд в Вятку.

Свои детские годы я провел в маленьком уездном городе Орлове (ныне Халтуринск), Вятской губернии, расположенном на правом берегу р. Вятки, в 53 верстах от губернского города [1]. Отец мой, Аполлон Иванович, служил первоначально письмоводителем окружного управления, ведавшего в то время крестьянскими делами, а в последние годы его жизни—помощником окружного начальника и дослужился до чина надворного советника. Мать моя, Екатерина Львовна, дочь разорившегося купца, малограмотная, но энергичная и умная женщина, на которой лежало все хозяйство нашей довольно многолюдной семьи, состоявшей из 12 человек: дедушки, отца моего отца, и бабушки, родной сестры дедушки, и восьмерых ребят, из которых трое были девочки, остальные мальчики. Я, после сестры Лидии, был старшим.

Жили мы в каменном двухэтажном доме брата матери, Ивана Львовича Юферева, унаследованном им от своего отца. Сам Иван Львович в своем доме в это время не жил, так как все время находился на частной службе, вне пределов г. Орлова. Наша семья занимала весь нижний этаж дома из 6 комнат, верхний же этаж с давних лет сдавался под казначейство, плата с которого всегда поступала в распоряжение матери. При доме был довольно большой двор, много разных служб и амбаров, построенных еще отцом моей матери, и довольно обширный огород, всегда тщательно возделываемый матерью; по границе огорода протекала речка Воробьиха, впадающая саженях в 60—70 от нас в р. Вятку. Весной, с разливом р. Вятки, разливалась и наша Воробьиха, достигая полуторасаженной глубины, что давало нам, малышам, когда мы уже немного подросли, возможность прямо из нашего огорода на нашем маленьком ботничке выезжать на р. Вятку, а там иногда и махнуть через реку, разливавшуюся верст на 5—6 и затопляв-

[1] Родился 23 декабря 1851 г. (по старому стилю).

шую заречный сосновый бор. Жутко бывало, когда мы выбирались на нашем челноке на простор многоводной реки, но зато какое удовольствие испытывали мы, когда добирались до заречного берега и плыли по тенистым аллеям затопленного соснового бора, оживляемого пением и гомоном птиц!

Отец наш, спокойный и уравновешенный человек, очень неглупый и не лишенный юмора, совсем не вмешивался в нашу детскую жизнь и добродушно-спокойно смотрел на наши шалости и крики. И лишь когда мать, совершенно выбившись из сил, усмиряя нас, обращалась, наконец, к нему: «Аполлон Иванович, да уйми же ты, наконец, их!»,—он притворно-сердитым голосом изрекал, обращаясь к самому неугомонному и шаловливому из нас—Аркадию: «Аркадий! Шали пуще!». И этого было достаточно, чтобы мы смолкли и утихомирились.

Отца мы побаивались, хотя он не только никогда не бил нас, но и никогда не кричал на нас. Матери же мы мало боялись, хотя она нередко бранила нас и награждала даже шлепками. Мы знали, что это только так, не серьезно, знали, что она любит нас, а потому и спокойно сносили ее окрики и даже шлепки. Занятая с утра до вечера многообразными хозяйственными делами, она, конечно, не могла не уставать и не раздражаться, а потому и свои огорчения не могла не срывать на нас, детях, когда мы ей особенно надоедали.

При жизни отца жили мы сравнительно безбедно, хотя лишних денег никогда в семье не было, благодаря чему матери приходилось нередко изворачиваться. Но, несмотря на это, особенно наша мать, знавшая когда-то более обильную и широкую купеческую жизнь, не могла не стремиться к поддержанию внешнего благообразия нашей жизни и старых связей и знакомств с купеческими домами. Поэтому в торжественные дни, как именины, дни рождений и пр., у нас собиралось довольно многочисленное общество; для мужчин тогда ставились закуски и, конечно, с выпивкой, раздвигались карточные столы, а для дам—сласти. Вечер, случалось, заканчивался ужином, а иногда и танцами, в особенности на рождественских праздниках, когда наезжали маскированные и привозили с собой и музыку. Мы, дети, особенно любили эти рождественские вечера с маскированными, в числе которых неизбежно появлялся традиционный и любимый нами «Забор Заборович» в своем карикатурном фраке приказного и забавлял не только нас, детей, но и взрослых своими нередко остроумными шутками и прибаутками. Само собой, что в подобных же случаях и мы, в свою очередь, ездили в гости к своим знакомым, где и проделывали то же, что и у нас, с тою лишь разницей, что в более состоятельных домах угощение было более обильное и разнообразное.

В конце 50-х годов прошлого столетия, к какому времени относится мой рассказ, г. Орлов с своими тремя с половиною тысячами жителей представлял собою подлинный патриархальный

уголок, каких в дореформенной России было не перечесть. Все жили по дедовским традициям, и всякие новшества строго осуждались. Духовной же жизни не было никакой, если не считать религиозных отправлений и церковных служб, исправно посещаемых в праздничные дни всеми слоями населения, для каковой надобности в городе имелось 5 церквей и один мужской монастырь. Школ же всего было две: приходское и уездное училища, где в качестве воспитательного средства процветали розги.

Отец мой не проявлял особенной приверженности к церкви, чего нельзя было сказать о матери. Последняя по-своему была очень религиозна, исправно посещала все церковные службы, соблюдала посты и пр. и старалась и нас, детей, побудить следовать ее примеру. Влияние матери в этом отношении сказывалось всего больше на сестрах, от мальчиков же оно как-то отскакивало, вероятно, потому, что обрядовая сторона религиозной жизни, в чем, главным образом, и выражалась эта последняя, нас не увлекала.

Обывательская жизнь текла в общем мирно и гладко, ничем не мутимая, люди всякого звания заняты были своими интересами, а все вместе—пересудами и промыванием косточек своего ближнего. В то время г. Орлов не утратил еще своего торгового значения благодаря тому, что через него пролегал транзитный путь на Архангельск, куда по зимам тянулись большие обозы с хлебом и другими продуктами сельского хозяйства, а из Архангельска везли рыбу и заморские товары. Поэтому в городе существовало несколько солидных торговых фирм, задававших тон коммерческой жизни города. Впоследствии, с развитием пароходного движения по Вятке, в особенности же с постройкой Котласской и Северной железных дорог, оставивших г. Орлов в стороне, это торговое значение его упало. Но зато лет через 40—45, благодаря энергии земских и городских деятелей, в особенности же Кузнецова и А. А. Лопатина, он превращается в один из самых культурных уездных городов России, буквально в город учащихся, с целым рядом учебных заведений—низших и средних,—переполненных крестьянскими детьми, с прекрасной общественной библиотекой, народным домом и пр. Орловское крестьянское земство, крестьянские учебные заведения, выделявшие массу учащихся в высшие учебные заведения, по справедливости получили всероссийскую известность. Не отставало от земства и городское управление, поставившее городское хозяйство на должную высоту.

Но все это было много лет спустя, тогда же, в конце 50-х и даже в самом начале 60-х годов, дедовские традиции были еще в полной силе, и никаких новшеств мы не знали и не переносили. Я помню, например, молодого врача, женившегося на своей кухарке и вызвавшего этой женитьбой искреннее возмущение всего города.

И злополучный врач вынужден был бежать из города, где его перестали принимать. Помню также, что откуда-то в городе появился всего единственный студент, конечно, по понятиям обывателей, крамольник. И мы с опаской, хотя и не без какого-то смутного почтения к нему, бегали смотреть на него, как на диковинку или заморского зверя.

Внешние события, даже такие крупные, как Крымская война, имевшая столь решающее значение на дальнейшие судьбы России, проходили мимо нас, никого не трогая и не волнуя. Газеты тогда до нас не доходили, сведений о ходе военных действий не получалось, да этими последними едва ли даже кто-нибудь и интересовался. По крайней мере нам, детям, не приходилось слышать даже и разговоров на эти темы между взрослыми. Война непосредственно городское население не задевала, а, стало быть, нам до нее и не было никакого дела. Единственно, что свидетельствовало о каких-то событиях, происходящих где-то далеко, это было появление время от времени на улицах города ополченцев, собираемых из уезда и отправляемых затем куда-то уже одетыми в форму с ополченскими крестами. Это чисто внешнее нарушение спокойного течения обывательской жизни, конечно, не проходило мимо нашего внимания; нам, пожалуй, было даже и жаль этих людей, отрываемых от своего родного крова, но и только.

Совсем другое отношение было у всех к явлениям совершенно иного порядка—к появлению на небесном своде величественной кометы с ее огромным хвостом. Этим необычным зрелищем не только интересовались все от мала до велика, но и с трепетным чувством ожидали, что комета в конечном результате нам принесет.

Старшие тогда думали и верили, что, если она заденет своим хвостом землю, то катастрофа будет неизбежна и наступит конец мира. Я помню, мы всей семьей часами просиживали на крыльце нашего дома, устремив свои взоры на небесное светило, зачарованные им, и полушепотом обменивались своими впечатлениями. Но небесное светило оказалось милостивым: оно не обидело грешную землю, а лишь только попугало живущих на ней. И жизнь снова вошла в свою обычную колею.

В нашем доме книг, кроме двух-трех духовного содержания да какого-то переплетенного старого иллюстрированного журнала, совсем не было. Совершенно то же было и в других домах, где нам приходилось бывать. Чтение светских книг ни взрослым, ни подрастающим поколением не поощрялось, да и читать было нечего. Из книг же религиозно-нравственного содержания признавались лишь псалтырь да жития святых. Даже и к библии было какое-то полуотрицательное отношение. Нам говорили, например, что тот, кто прочтет ее, непременно сойдет с ума. Что-то в этом же роде внушалось нам и о «Потерянном Рае» Мильтона, откуда-то сде-

лавшимся известным, вероятно, лишь по наслышке, так как я такой книги не видал ни дома, ни у наших знакомых.

Но мы, дети, всем этим мало огорчались, так как вкуса к книге еще не приобрели. Не стесняемые родителями, мы, в особенности мальчики, жили полной жизнью, проводя время и зимою и летом большею частью на вольном воздухе.

Зимою нас увлекало катанье с гор на ледянках, салазках или коньках и нередко до такой степени, что мы являлись домой с плачем из-за помороженных рук и ног. Особенно же полна была наша жизнь летом, когда в нашем распоряжении были: лодка, рыбная ловля, хождение в заречный лес за грибами или ягодами, а то налеты на обывательские сады, когда поспевала черемуха. Хищнически добытые ягоды всегда казались нам особенно вкусными. Но особенно шумны и веселы были наши игры у нас на дворе, куда стекались целые табуны соседских детей и где мы заигрывались до позднего вечера.

Не скучали мы и в длинные зимние вечера, в особенности, когда родителей наших не было дома. Нас было много, и мы всегда находили способы развлечь себя и позабавиться. Нередко мы устраивали разные безобидные каверзы с нашей бабушкой, добродушной маленькой старушкой, которую мы за ее ласковое отношение к нам любили. Бывало, в эти зимние вечера, когда она сидела обыкновенно за вязаньем своего чулка, мы слушали с захватывающим интересом ее рассказы, большею частью из жизни святых. Жила она в одной комнатке с дедушкой, ее братом, и усердно ухаживала за ним. Этот последний был молчаливый, высокий и худой старик, всегда одетый лишь в нижнее белье, халат и туфли. Его мы изрядно побаивались, так как он не любил, когда мы торчали у него на глазах и нередко шугал нас. Ежедневно, раза по два, он считал своею обязанностью обходить комнаты и крылом от птицы сметать пыль. Но один раз в месяц он принаряживался, надевал на себя свой старый сюртук и брюки, поднимался наверх, в казначейство, где получал свою пенсию в два или три рубля и с горделивым видом возвращался домой. Этот день получки был для него настоящим праздником и потому еще, что он получал тогда и лишнюю порцию водки, которую, видимо, очень любил.

Великое удовольствие доставляли нам и наши семейные поездки на арендованную дядей мукомольную водяную мельницу-скородумку, расположенную в 16 верстах от города, где мельничиха угощала нас вкусными блинами и сотовым медом. Но не так привлекала нас вкусная еда на мельнице, как обширный мельничный пруд, заросший густыми камышами, обильный рыбою и дичью. Пробираться на лодке по узеньким и таинственным протокам среди высоких камышевых зарослей, где почти на каждом шагу приходилось вспугивать табуны уток, доставляло нам несказанное удовольствие. И мы тотчас же по приезде, предварительно отдав

честь блинам, садились в лодку и пускались в наше таинственное путешествие.

Из того же детского периода жизни особенно запечатлелись в моей памяти две довольно далекие поездки с матерью. Одна из них на богомолье на «Великую реку», верст за 45 от Орлова, ко времени весеннего прихода туда из Вятки иконы Николая Чудотворца, чтимой вятским населением и собирающей к этому времени на Великую реку богомольцев чуть не со всей Вятской губернии и по настоящее время. Красивая местность, чудная река, часовня на высоком, крутом и лесистом берегу, переполненная народом, не вмещающая и тысячной доли из тех пеших и конных богомольцев, прибывших сюда, чтобы в этой часовне перед временной гостьей—чудотворной иконой—отслужить молебен. Шум и гомон многотысячной толпы, ожидающей своей очереди, а дальше ярмарка, также переполненная народом,—все это необычное зрелище не могло не действовать сильно на детское воображение.

Другая поездка через г. Вятку в Слободской на какую-то родственную свадьбу памятна мне не столько этой свадьбой, как самой дорогой с ее новыми местами и видами при отличной летней погоде.

Так жили мы, не зная ни забот, ни серьезных огорчений, почти на полной свободе до самого начала ученья. Но вот наступило и это страдное время. Лет семи или восьми меня отдали обучаться грамоте к какому-то дьячку, у которого в тесной комнатушке обучалось, кроме меня, до дюжины других ребятишек. Обучение велось еще по-старинке, о звуковом методе тогда не имелось и представления. Само собой, что ни сам преподаватель, ни его метод обучения не могли увлечь нас, и мы, естественно, относились к обучению грамоте, как к неприятной повинности, которую надо отбывать потому, что этого хотели и требовали родители.

За дьячком, у которого я пробыл недолго, всего несколько месяцев, последовало приходское училище, помещавшееся в верхнем этаже торговых каменных рядов. Большой, но плохо освещенный класс, уставленный партами и другой школьной мебелью, производил довольно мрачное впечатление.

О прохождении мною курса приходского училища, где преподавание велось также по-старинке, память моя ничего не сохранила. Я не помню ни учителей и ничего из школьной жизни, но хорошо помню сторожа Федора Долгого (так, кажется, его звали), необыкновенно длинного и худощавого мужчину, всегда спокойного и хорошо одетого в длинный синий кафтан. Врезался он в мою память даже в явный ущерб самим педагогам, вероятно, потому, что импонировал своим величественным видом, а также и тем, что собственноручно два раза наказал меня розгами по распоряжениям училищного начальства.

Эти памятные для меня события имели место по следующим поводам: школьная наука совсем меня не привлекала; в зимнее

или осеннее время еще так или иначе я переносил ее, но с наступлением лета, когда окружающая природа так заманчиво влекла меня к себе, я не выдержал и предпочел предстоящие мне в общении с нею удовольствия скучному и тягостному учению. И вот, отправляясь в школу, я предварительно завертывал на реку, которую так любил и которая, будучи всегда перед глазами, так манила меня к себе. Совершенно забывая про школу, я недели две не показывал туда носу, проводя все учебное время на берегу или за рекой и возвращаясь домой лишь ко времени окончания школьных занятий. Пропустив, таким образом, изрядное количество уроков, мне уже страшно и неловко было показываться в училище, и я продолжал бы свои проделки и дальше, если бы, наконец, не узнали о них мое школьное начальство и родители. На другой же день меня, плачущего и сопротивляющегося, на руках кухарки отправили в училище, где я и получил свое первое возмездие.

Обида и позор наказания, какому до сих пор я никогда не подвергался, до известной степени смягчались в моем сознании тем, что я заслужил его своим поведением.

Вторая экзекуция не давала и этого утешения.

Был весенний разлив реки, разлилась и наша речка Воробьиха, через которую у самого нашего дома был перекинут мост для проезда. Мост этот по случаю его ветхости был сломан и строился взамен его новый, почему ни проезда, ни прохода через разлившуюся речку по нашей улице не было. Я, плавая на своей лодочке по речке, случалось, перевозил с одного берега на другой пешеходов, случайно забредших до неожиданного препятствия. Перевез я таким же порядком и нашего законоучителя, поблагодарившего меня за оказанную услугу. Но на другой же день за эту услугу я был высечен снова в училище. На этот раз я уже ничего не понимал и так и не узнал, за что же я был подвергнут унизительному наказанию.

Вот и все, что осталось в моей памяти о самых первых шагах моей школьной жизни. Курс приходского училища с грехом пополам мною был, наконец, окончен в 1861 г., и я переводился в уездное училище. Но учиться в этом последнем мне еще менее хотелось, так как там во главе школы стоял смотритель, широко применявший розги. Это пугало меня и отталкивало от училища. Но все же некоторое, очень короткое время я учился в нем, и судьба была милостива ко мне—я ни разу не подвергся в нем телесному наказанию.

Из уездного училища я был взят, и родители начали готовиться к отдаче меня для дальнейшего обучения в Вятскую гимназию. Вероятно, изменившиеся к этому времени общерусские условия понемногу начали сказываться и на нашем патриархальном обществе, в частности и на моих родителях. Начали,—в особенности

чиновничьи семьи,—задумываться над судьбой своих детей—мальчиков, для которых пробить себе дорогу в жизни в будущем без образования будет уже трудно или даже совсем невозможно. Поэтому само собой возникал вопрос и о гимназии. Лично я к этому вопросу, сопряженному с от'ездом в чужой и незнакомый мне город и с разлукой с семьей, которую я любил, относился двойственно. С одной стороны, эта новизна привлекала меня, а с другой стороны—пугала. Приходилось расстаться с близкими и любимыми людьми и со всем тем, что было так дорого и мило сердцу, чем все время жил и увлекался в мои детские годы.

В 10 лет я попрежнему был тем же ребенком, каким был 2—3 года тому назад, чуждый почти всяких умственных запросов. Я попрежнему ничего не читал, да и читать было нечего. Школа, кроме грамоты, ничего не дала мне и не пыталась даже возбудить во мне самую простую любознательность. И если бы меня снова спросили, как спрашивали раньше, «чем бы я желал быть», то я, не задумываясь, вероятно, ответил бы то же, что и прежде: «исправником!». Последний импонировал мне своим мундиром и тем, что он на иерархической лестнице был первое лицо в городе. Дальше г. исправника моя фантазия в это время не шла.

Вопрос об отдаче меня в Вятскую гимназию был, наконец, решен окончательно, что вызвало слезы моей сестры Юлии, следующей по возрасту за мною. Она неожиданно для всех тоже стала проситься в гимназию. Но и слезы делу не помогли. Не было средств сразу учить в чужом городе двоих, да и отношение к женскому образованию было другое. Зачем женщине образование, когда она служить все равно не может, когда назначение ее—замужество, воспитание детей и хозяйство? Так сестра моя и осталась без образования, обучившись лишь тому, чему можно было обучиться в Орлове.

Все лето перед отправкой моей в Вятку я в полной мере отдавался своим обычным летним развлечениям и удовольствиям, как бы желая возместить этим предстоящие мне утраты с переездом в Вятку. Но, отдаваясь им, нет-нет, да где-то там, в глубине и скребнет и напомнит, что скоро, скоро всему этому будет положен конец и я должен буду покинуть все то, что я любил и к чему был так сильно привязан. . . . . . .

Но вот уже и август 1862 г., когда надлежало отправиться в Вятку. К от'езду все было готово, наступил, наконец, и день этого от'езда. Сам отец поехал сдавать меня в гимназию. По обычаю, прежде, чем проститься, все собравшиеся на проводы чинно уселись кто где мог, затем, помолившись богу, началось прощанье, сопровождаемое обильными слезами и напутственными пожеланиями. Тарантас, запряженный сытыми лошадками, давно уже ждал нас у крыльца. Мы садимся, прощаемся еще раз, и лошади, позванивая колокольчиками, бодро и весело уносят нас от

дорогих сердцу лиц. На душе скребет, хочется плакать и плакать но скоро дорожные впечатления отвлекают меня от скорбных дум и успокаивают.

На первой же станции, где предстояла перемена лошадей, один незначительный случай еще более отвлек меня от грустных размышлений.

Пока шла перепряжка, к станции подкатила новая пара. В экипаже сидели перепуганные и плачущие мальчик и девочка приблизительно одних со мной лет; а среди них валялся и горланил совершенно пьяный солдат. Из расспросов выяснилось, что это дети священника Кувшинского из села Кокшаги Яранского уезда, едущие в Вятку, один—для поступления в мужскую гимназию, а другая—в женскую продолжать учение. Солдат же, в виду дальней и не совсем безопасной дороги, отправлен был с ними в качестве проводника, но по дороге напился и стал бушевать. Отец распорядился оставить провожатого на станции, а дети поехали дальше уже под нашим наблюдением. Эта неожиданная встреча окончательно развлекла меня.

Мальчик Кувшинский затем стал моим товарищем по гимназии до 5 класса, когда он, увлекшись военным делом, перешел в какое-то военное училище, а с его сестрой, Анной Дмитриевной, я снова встретился лишь потом, много лет спустя, когда она, по окончании гимназического курса, состояла уже классной дамой в епархиальном женском училище и стала вращаться в наших вятских кружках. Здесь, на общем деле, мы сблизились и подружились, потом полюбили, а затем, уже после «процесса 193-х», и поженились. И с тех пор до самой своей смерти в 1909 г. она была неизменным товарищем и спутником в моей жизни, деля со мной все радости и горе, какие посылала нам судьба.

II.

Приезд в Вятку. Поступление в гимназию. Первые годы жизни в Вятке. Смерть отца. Бедственное положение семьи, угрожающее продолжению моего обучения в гимназии.

С этими маленькими приключениями к вечеру того же дня мы были уже в Вятке.

Наши случайные спутники Кувшинские направились к своим родственникам, а мы к своим — Ивану Михайловичу Чарушину, жившему в своем каменном доме по Николаевской улице, недалеко от Хлыновки. Судя по всему домашнему обиходу, наш родственник был человек зажиточный; кажется, он занимался хлебным делом. Маленьких детей у него не было, и я в его большом доме был предоставлен самому себе, а потому и чувствовал себя неважно. Но, к счастью, прожили мы там недолго, и я уже больше никогда не видал этого своего родственника, вскоре же, кажется, и умершего.

Дня через три по нашем приезде в Вятку меня повели в гимназию для сдачи вступительного экзамена. Экзамен я сдал и был зачислен в 1 класс гимназии, после чего, как полагалось, мне заказали форму с красным воротником, и я таким образом превратился в «красную говядину», как обычно дразнили нас, гимназистов, за наши красные воротники уличные мальчишки и учащиеся других учебных заведений.

Тогда же была найдена для меня за небольшую плату и квартира у одной офицерской вдовы, проживавшей на Морозовской улице, где я и поселился. Отец мой, устроив все мои дела, уехал, и я впервые—десятилетним мальчиком—остался совершенно один в незнакомом городе и среди чужих людей.

Жуткое чувство одиночества и щемящая тоска не покидали меня, особенно в первое время. Но острота этого переживания постепенно сглаживалась, и я начал свыкаться с новыми условиями жизни и с гимназией.

Этому немало, без сомнения, содействовало и то обстоятельство, что наша гимназия того времени (1862 г.) тоже попала в полосу оттепели. Прежний суровый режим, безраздельно царивший в ней,

под влиянием захвативших русское общество новых идей,—в частности и в вопросах школьного дела,—сменился новым, более человечным. Розга была изгнана, а учителя, хотя в большинстве и прежние, одни совершенно искренно изменили свое отношение к учащимся, а другие по необходимости должны были приноравливаться к новым веяниям. Жить стало много легче, и школа уже не пугала нас. Мы скоро освоились с ней и выполняли свои школьные обязанности, кто как мог и умел, но не увлекаясь, однако, ими. Попрежнему все наши влечения были на стороне детских игр, забав и шалостей, которым мы с увлечением отдавались как в самой школе, так и вне ее, разнообразя их в зависимости от времени года.

Так мирно тянулась моя гимназическая жизнь в Вятке в первые два года пребывания в ней, радостно нарушаемая лишь моими поездками домой на рождественские праздники, масленицу, пасху и летние каникулы, всегда с большим нетерпением ожидаемые мною.

Обычно, еще накануне моего отпуска наш придворный ямщик Семен из ближайшей к Орлову деревни приезжал за мною в Вятку на паре своих лошадок и на другой же день увозил меня домой.

Я любил этого Семена, ласкового и словоохотливого мужичка, который не уставал во время пути занимать меня рассказами о моих домашних, не забывая в то же время, в особенности зимой, останавливаться у каждого деревенского кабака, чтобы обогреться и пропустить шкалик-другой живительной влаги.

К концу пути настроение Семена заметно поднималось, но это не мешало ему благополучно доставлять меня до дому, по мере приближения к которому росло и мое нетерпение. В моем воображении уже отчетливо рисовались радостная встреча всех домашних и ряд привычных и хорошо знакомых удовольствий и развлечений.

Каникулярное время как-то уж очень быстро протекало. Не успеешь, бывало, оглянуться, как уже наступало время от'езда в Вятку, что всегда вызывало чувство, совершенно обратное тому, с каким ожидалась поездка домой. Тот же Семен, после трогательных прощаний с семьей, увозил меня в Вятку, по мере приближения к которой тоскливое чувство становилось все острее и острее. Но проходило два-три дня, и эта острота пропадала, а затем я и совсем приходил в норму.

Из 1 класса я благополучно перешел во 2, а затем так же благополучно и в 3. Но за время пребывания моего в этом последнем обстоятельства сильно изменились. Хозяйка моя переменила квартиру на более обширную и взяла еще нахлебника, великовозрастного юношу старших классов гимназии, некоего Ипатьева, сына орловского чиновника, с семьей которого наша семья была хорошо знакома. Юноша этот, чуть не саженного роста, оказался

большим забулдыгой, учился плохо, часто по целым неделям не посещал гимназию, проводя время за карточной игрой и выпивкой вместе с такими же товарищами-собутыльниками. Ко мне, как к малышу, он относился покровительственно и, пожалуй, даже любовно, а вместе с тем начал и меня таскать с собою по трактирам и по квартирам своих товарищей, где он обычно проводил свои учебные часы.

Так тянулась с перерывами вся первая половина учебного года, когда я недели по две не посещал гимназию. Вероятно, и дальше было бы то же, если бы в одном из этих трактиров я случайно не встретился с своим дядей. Конфуз мой был ужасный, но он послужил мне на пользу, так как после этой встречи и головомойки, которую я от него получил, я прекратил свое необычное времяпрепровождение, которое к тому же совсем и не тянуло меня. Я снова возвратился в гимназию, но было уже поздно, так как нагнать своих товарищей по классу я уже не мог и был оставлен на 2-й год в том же классе. Ипатьев же к концу того же (1865) учебного года вынужден был совсем покинуть гимназию «*по болезни*», как значится в официальных актах.

Вспоминая это далекое прошлое, я и до сих пор не могу понять, зачем нужно было моему великовозрастному сожителю таскать меня с собою, когда ни в выпивках, ни в карточной игре, ни в скабрезных разговорах его с товарищами я не принимал решительно никакого участия, а был лишь только подневольным зрителем их далеко не почтенного времяпрепровождения. Стыдно мне было и своих родителей за мои школьные неуспехи, которые соответствующими отметками обозначались в табели об успехах и поведении. Мне очень не хотелось огорчать их, и я, скрепя сердце, превращал единицы и двойки в четверки и тройки, но, должно быть, делал это так неискусно, что не мог обмануть их, что еще больше приводило меня в конфузное состояние.

Настроение мое в этот период гимназической жизни было скверное, я уже сознавал, что поступаю дурно. Это настроение усугублялось еще сознанием, что родители мои выбиваются из последних сил, чтобы учить меня в чужом городе, что требует денег, каких у них не было. Все это, вместе взятое, отравляло мне и радость пребывания под родительским кровом.

Приблизительно к этому же времени состоялся и мой перевод на другую квартиру. Я поселился у квартирной хозяйки, проживавшей на углу Спасской и Спенчинской улиц, напротив казарм (впоследствии фельдшерские курсы), у которой, кроме меня, жило до десяти других нахлебников-гимназистов разных возрастов. Тут были и товарищи по классу и ученики старших классов разнообразных характеров и типов. В числе последних помню некоего С. Федорова, большого театрала и франта, имевшего немалые знакомства среди гимназисток, что было совсем необычным

для нас явлением. Но особенно памятен мне другой из этих старших, Н. К. Лопатин, прямая противоположность Федорову, шедший классом ниже последнего. Это был юноша острого, но несколько скептического ума, изрядно начитанный и с характером, влияние которого на нас, малышей, было несомненно. В последующие годы своей гимназической жизни (кончил он гимназию в 1868 г.) он был неизменным участником гимназических кружков, в которых играл видную роль, а в Петербурге, когда он уже состоял студентом Медико-хирургической академии, был одним из основоположников кружка чайковцев.

Жизнь в этом новом общежитии была уже много здоровее, разнообразнее и интереснее. Детские игры и шалости, конечно, по-прежнему увлекали нас, но рядом с этим появилась уже любовь к чтению.

Живя поблизости от Публичной библиотеки, тогда еще доступной и для нас, учащихся, мы постоянно бегали туда и брали книги для чтения на дом. В то время я особенно увлекался Майн-Ридом, Купером и Вальтер-Скоттом, увлекались ими и другие сверстники мои по общежитию, что давало повод нам устраивать и соответствующие воинственные игры. Но наш воинственный пыл сказывался не только в играх: мы предпринимали время от времени, под командой сильного и великовозрастного гимназиста старших классов Накарякова, набеги на глухой Копанский овраг, тогда еще не заселенный, где нередко в темные осенние и зимние вечера происходили ограбления прохожих. Вооружившись кто чем мог, мы в воинственном настроении и в то же время с тайным трепетом в душе направлялись целым отрядом в это злополучное место в надежде встретиться с разбойниками. Но встречи этой, к нашему сожалению, а, может быть, и к нашей радости, никогда не происходило, и мы возвращались домой ни с чем. Искали мы боевых столкновений и с семинаристами, исконными врагами гимназистов. О боевых стычках между теми и другими ходило в то время немало легенд, при чем в большинстве случаев семинаристы выходили из них победителями. Это, разумеется, обижало нас, и мы жаждали возмездия, уповая на несокрушимую силу нашего предводителя. Но и здесь все наши искания обычно были безрезультатными.

В декабре 1866 г., когда я был еще в 3 классе гимназии, я неожиданно был вызван приехавшим из Орлова врачом М. М. Синцовым, ставшим в следующем году первым председателем губернской земской управы. От него я узнал, что отец мой скоропостижно скончался в уезде и что меня немедленно вызывают домой. Известие это так поразило меня, что я не помню уже, как я, при содействии Синцова, собрался и выехал домой. Всю дорогу меня трясла нервная лихорадка; одна мысль, что отца, которого я несомненно любил, уже нет, неотступно гвоздила в моем мозгу.

Дома я застал плач и общую растерянность, осложняемую еще тем, что тело отца, уже вынесенное в церковь, неожиданно, по распоряжению полиции, взяли и перенесли в полицейское управление для вскрытия, как скоропостижно умершего. По понятиям матери, знакомых и родственников это казалось уже настоящим издевательством и позором, допустить который было нельзя. Мать моя, не оправившаяся еще после родов, несмотря на свое горе, принялась бегать и хлопотать, чтобы спасти тело мужа от поругания. В конце-концов этого ей, к общему нашему успокоению, удалось достигнуть. Тело выдали и подобающим порядком похоронили уже беспрепятственно. Из рассказов и расспросов о причинах смерти отца выяснилось, что он, во время очередного об'езда уезда вместе с своим письмоводителем Банниковым, в одном ухабе вывалился из повозки и был поднят уже без признаков жизни. Человек он был довольно грузный, и сердце от потрясения, вероятно, отказалось служить дальше.

Положение семьи после смерти отца было поистине отчаянное. Работников в ней не было. Денег же по тщательном обыске оказалось 3 или 5 рублей, к тому же были еще и долги по лавкам. Единственными ресурсами были лишь небольшая квартирная плата за казначейство да такой же доход с арендуемой мукомольной мельницы, отдаваемые нашим дядей в распоряжение матери. Но этого для такой большой семьи, как наша, было слишком недостаточно, а потому первые месяцы после смерти отца она бедствовала в буквальном смысле слова: ели хлеб с мякиной, привозимой с мельницы, а вместо свечей, в длинные зимние вечера сидели с лучиной.

Тяжелое было это время. Даже рождественские каникулы, которые я, непосредственно после смерти отца, проводил дома, такие радостные прежде, протекали теперь в атмосфере острого горя, еще более ощутительного от этого сопоставления с прошлым. Одна только мать, на которой теперь лежала вся ответственность за семью, благодаря своему энергичному характеру, не опустила рук и, как могла, принялась за обычные хозяйственные заботы. Как она выкручивалась из материальных затруднений, обступавших ее со всех сторон, я не знаю, но так или иначе она все же находила какие-то возможности поддерживать свою многочисленную семью и не дать ей умереть с голоду.

При таких обстоятельствах естественно должен был возникнуть вопрос, что же делать со мною? Отправлять ли меня для продолжения учения, или же взять из гимназии? Но это тягостное колебание тянулось лишь в течение рождественских каникул, по прошествии которых меня все-таки отправили в Вятку, хотя почти без гроша денег. С тяжелым чувством покинул я на этот раз родной кров, и мысль о безвыходном положении близких мне долгое время не покидала меня и в Вятке. Здесь я по дешевке нанял себе

пустую комнату без харчей и кормился, как придется, сам. В это время я уже чувствовал себя счастливым, когда в кармане у меня болтались пятак или трешница (3 коп.), на которые я мог купить себе целых 2 или 3 фунта хлеба!

В последующее же время наш дядя, Иван Львович, этот добрый гений нашей семьи, пришел ей на помощь, очевидно, более существенным образом, благодаря чему ей не пришлось уже голодать, а мне, а затем, когда пришло время, и младшим братьям моим—Аркадию, Виктору и Ивану—удалось продолжать начатое образование.

III.

Начало сознательной жизни. Возрастающий интерес к чтению. Первые опыты кружковой работы.

Выше мною уже было сказано, что предыдущая моя жизнь в ученической квартире на Спасской улице благотворно отразилась на мне. У меня, кроме прежних детских увлечений играми и шалостями, появился также интерес и к чтению, правда, еще легкому и занимательному, увлекавшему меня по преимуществу интересной фабулой. Но уже и здесь черты благородства и рыцарства, встречаемые в описаниях действующих лиц, всегда особенно импонировали мне, а вместе с тем даже и в этом чтении понемногу открывался для меня другой, неведомый мне мир. Постепенно же развивавшаяся любознательность неизбежно толкала меня дальше и расширяла круг моих интересов. От Майн-Рида и Купера я переходил к Диккенсу, особенно трогавшему меня любовным изображением своих маленьких героев, Теккерею и Сервантесу, а затем и к русским авторам—Помяловскому, поразившему меня развернутой им в таких ужасающих красках жизнью нашей злополучной бурсы, к Решетникову, не менее поразившему меня изображенной им чисто зоологической жизнью наших крестьян захолустных медвежьих углов, а также и к другим авторам. Но едва ли не самое сильное впечатление произвел на меня в то время Гоголь своим «Ревизором» и в особенности «Мертвыми Душами», нарисовавший в этих своих произведениях в таких незабываемых художественных образах широкую картину неприглядной русской жизни. Все это чрезвычайно меня трогало и как-то даже обижало, что наша русская жизнь так неприглядна и уродлива, а между тем страстно хотелось видеть ее в другом, много лучшем образе.

Но не одни литературные влияния, а и сама окружающая действительность не могла остаться без некоторого воздействия на возбуждение моего интереса к ней.

В это время Россия переживала еще эпоху реформ, общественное возбуждение, так сильно проявившееся с новым царствова-

нием, последовавшим непосредственно за крымской катастрофой, хотя уже и обрезанное, еще не улеглось. Круг новых идей и новых веяний, захвативших русское общество в начале царствования Александра II, еще не потерял своей силы и сохранял свое обаяние в полной мере, в особенности на молодое поколение. Все это, вместе взятое, не могло не сказываться на местной жизни и местных людях, а вместе с тем и на мне лично. Кругом чувствовалось какое-то оживление, на вятском горизонте стали появляться новые люди, жизненный обиход которых и речи так отличались от привычных обывательских, возникали и новые учреждения, производившие в некотором смысле настоящую революцию в ветхозаветном укладе нашей жизни. Я помню, как в первое время по введении в Вятке мировых учреждений я время от времени бегал в камеру мирового судьи, где нередко приходилось присутствовать при рассмотрении дел об оскорбительном или грубом обращении хозяев с своей прислугой. Помню и мою радость и торжество, когда на этом суде справедливость выходила победительницей и судья выносил свой обвинительный вердикт какой-нибудь разряженой барыне, принимавшей этот приговор с искренним возмущением.

Немалое влияние оказывали на меня и наши гимназические кружки, которые не переводились до окончания мною курса в 1871 году и в которых я участвовал с 4 класса. Неизменными членами этих кружков были, пока они находились на гимназической скамье, упомянутый выше Н. К. Лопатин, А. М. Праздников, впоследствии всеми уважаемый земский врач в Вятке, Алексей Кашменский, сын соборного протоиерея и нашего законоучителя, несколько лет спустя утонувший в р. Вятке вместе с своим братом Николаем и товарищем Василием Бабинцевым, студентом Медико-хирургической академии, Николай Шкляев, впоследствии тоже земский врач, и другие. В числе этих лиц я был едва ли не самый младший. Из женской же публики в первое время в нашей кружковой жизни никто не принимал никакого участия вероятно потому, что она еще не успела дорасти до кружковой жизни, требовавшей некоторой смелости и сопряженной с известного рода риском для себя, отчасти же и потому, что некоторые из нас, совершенно непривычные к женскому обществу, относились отрицательно к вступлению в кружок женщин. Собирались мы в квартире Праздникова, жившего на углу Московской и Никитской ул., большею же частью в квартире Кашменского, в чердачном помещении соборного дома. Чтений в самом кружке было мало, читали обычно дома по более или менее определенной программе, принятой кружком, а на собраниях по преимуществу велись лишь беседы о прочитанном. В программу чтений входили не одни только художественные произведения, по преимуществу русских авторов, но и критические и публицистические статьи Добролюбова,

Писарева и других. Позднее, вместе с нашим возрастом и духовным ростом, программа наших чтений значительно расширялась, преследуя уже задачи выработки общего миросозерцания, выполнение которых в той или иной мере всецело зависело от нас самих и от степени нашего усердия и заинтересованности. Но уже и тогда, в этот ранний период нашего духовного пробуждения, Писарев и Добролюбов и другие критики и публицисты того времени, освещая и толкуя художественные произведения, в то же время и сами по себе и целым рядом других статей по разнообразным вопросам, талантливо и страстно написанных, постепенно вводили нас в круг идей и вопросов, волновавших тогда русское общество.

Нередко собрания наши сопровождались страстными спорами по тем или иным вопросам, по которым мнения наши расходились. Все это, вместе взятое, возбуждало нашу мысль, понемногу расширяло наши горизонты и толкало на новые достижения в области знания, недостаток которого на каждом шагу не мог, разумеется, не ощущаться.

Постепенно, с течением времени, со всей русской, а отчасти и с лучшими произведениями иностранной художественной литературы мы в достаточной степени ознакомились. В русской литературе мы искали уже не только отображения в художественных образах русской жизни, но и откликов на современность, а также образов и типов не только отрицательных, но и положительных, могущих служить нам путеводителями в нашей жизни. По этой причине Пушкин с его легким и звучным стихом, так легко запоминаемым, и со всей красотой его поэзии мало увлекал нас. Лермонтов, пожалуй, был для нас предпочтительнее. Возможно, что здесь в немалой доле сказывалось влияние Писарева, продолжавшего еще владеть умами подрастающего поколения. Любимым же нашим поэтом того времени был, несомненно, Некрасов, произведениями которого мы зачитывались и выучивали многие из них наизусть. Его народнический уклон, его страстная любовь к обездоленному люду и гражданский характер мотивов его поэзии, столь родственные уже и нашему настроению, увлекали нас и искренно привязали к самой личности поэта, в которой не хотелось видеть ни одного темного пятна.

Из художников же прозаиков больше всех импонировал нам Тургенев, произведения которого мы в буквальном смысле пожирали и с нетерпением ждали его новых работ. Писатель-идеалист огромного художественного дарования, умевший так ярко и немногословно изобразить все то, за что он брался, всегда высокогуманный и свободолюбивый, чуткий к вопросам современности и умевший отмечать в ярких образах все новое нарождающееся в русской жизни, не мог не иметь на нас большого и облагораживающего влияния. Это влияние в сильной степени испытывал

на себе и я, а его обаятельные женские образы и типы, с тонкой и любовной обрисовкой женской души, немало способствовали полному изменению моего отношения к женщинам вообще, каковое до того времени можно было назвать если не отрицательным, то безразличным. Никогда не любивший и стыдившийся и раньше скабрезных и циничных разговоров товарищей, до которых многие из них, даже и из числа наиболее развитых, были особенно падки, я уже совершенно не мог их выносить и обычно отходил прочь, пока они не прекращались.

Произведения Тургенева всегда давали обильную пищу для жарких споров и обсуждений, о которых в свою очередь немало говорила и русская критика.

Но больше всего возбуждали эти прения «Отцы и дети» с их главным героем Базаровым. Последнего некоторые из нас принимали полностью, другие же, отдавая дань уважения силе и цельности его ума и смелости его отрицания, хотя и видели в нем представителя грядущей молодой России, но представителя одностороннего, лишенного широких общественных идеалов, что нас уже не могло удовлетворять. Поэтому даже Рудин (не говоря уже об Инсарове и Елене в «Накануне»), этот провозвестник нового слова в пустыне и человек недееспособный, несмотря на все недостатки его характера, казался нам симпатичнее Базарова, в особенности же, когда мы узнали, что в неопубликованном конце этого романа автор заставляет умирать своего героя на парижских баррикадах.

В поисках художественного изображения типов новых людей, указующих пути жизни, едва ли не самое сильное влияние имел на нас мало художественный роман «Что делать?» Чернышевского.

Новые люди этого романа с их новыми и человечными взаимоотношениями, в особенности в такой интимной и щекотливой области, как брачная, не могли не увлекать нас. Устраивая совсем по-хорошему свою личную жизнь, они,—что особенно было ценно для нас,—в то же время радостно уходили и в общественную жизнь, останавливая там свое внимание на обездоленном люде, которому они несли свет и знание и новые основы трудовой жизни. Но все эти несомненно хорошие люди, заслуживающие подражания, в наших глазах совершенно стушевывались пред таинственным и едва обрисованным Рахметовым, которого Чернышевский показывал нам как бы из-под полы, не дерзая открыть его во всей его целокупности. Этим своим образом, таинственным и смутным, заставлявшим усиленно работать наше воображение, Чернышевский, уже из'ятый из обращения и обреченный на полное молчание, из своего сурового заточения как бы говорил нам: «вот подлинный человек, который особенно нужен теперь России, берите с него пример и, кто может и в силах, следуйте по его пути, ибо это есть единственный для вас путь, который

может привести нас к желаемой цели». И образ Рахметова врезался в нашу память, он властно стал перед нашими глазами и тогда, когда мы и сами страстно искали лучших и верных путей жизни, помогая нам, поощряя нас на решительный шаг!

Кружковая гимназическая жизнь, оказавшая на первых порах несомненное влияние на возбуждение нашего интереса к знанию и к вопросам общественности, в то же время с очевидностью показала нам, что она сама по себе знаний этих дать не может, какие бы широкие программы мы ни принимали. На собраниях кружка самое большее можно было прочесть какую-нибудь публицистическую или критическую статью да обменяться мнениями о прочитанном, или же по совершенно случайным вопросам, возбуждаемым кем-нибудь из нас. Становилось совершенно ясным, что знания эти необходимо было приобрести дома, каждому по отдельности, отрывая необходимое для этого время от наших развлечений, от сна и гимназической науки, которая в общем мало увлекала нас. Поэтому вера в чудодейственную силу кружковой жизни падала, и эта последняя постепенно принимала несколько другой характер—простого общения между родственными по духу и по влечениям элементами, независимо от принадлежности к тому или другому классу, а позднее—и к учебному заведению. На этих, последнего типа, собраниях уже не ставилось задачи систематических чтений, здесь обменивались мнениями по занимавшим нас вопросам, иногда прочитывали какой-нибудь реферат, а то и просто развлекались. Такие собрания бывали особенно многолюдны и оживленны, когда студенты приезжали на каникулы, а их, студентов, с каждым годом становилось все больше и больше.

IV.

Гимназия, ее преподаватели и учащиеся.

Говоря о гимназическом периоде моей жизни, нельзя, разумеется, хотя кратко, не сказать и о самой гимназии и об ее преподавателях и директорах, которые направляли нашу школьную жизнь и давали ей содержание.

В 1862 г., когда я поступил в гимназию, как сказано выше, она уже в сильной степени подвергалась влиянию новых идей, охвативших тогда русское общество. Школьные вопросы и вопросы образования вообще возбуждали также общий интерес и усердно трактовались в прессе, в педагогических кругах и разных правительственных комиссиях. Хотя огромное большинство наших учителей были прежние, перешедшие к нам еще от гимназии николаевских времен с ее суровым, чисто солдатским режимом, но, уступая духу времени, одни из них искренно, а другие, подчиняясь необходимости, изменили свое отношение как к самому делу преподавания, так в особенности к нам, учащимся. Розга исчезла, прежний солдатский режим заменился более гуманным и внимательным, благодаря чему школьная атмосфера в значительной мере очистилась и не была уже тягостной. Гимназия жила тогда еще по реакционному уставу 1849 г., выработанному после французской революции 48 г., с расчетом побольше выпустить из нее воспитанников для практической деятельности и поменьше для продолжения образования в университетах. С этою целью с 4 класса для первых предназначалось законоведение, а для последних—латинский язык. В 1865 г. Вятская гимназия была преобразована в классическую, но лишь с одним латинским языком. Реформой этой упразднялось законоведение и естественная история, преподаватели которых должны были покинуть гимназию. Вся гимназия искренно сожалела, что ее самый живой и любимый преподаватель естественной истории Шнейдер, пользовавшийся огромной популярностью среди учащихся, должен был оставить ее. С уходом его гимназия осиротела, особенно же почувствовали это воспитанники младших классов, где Шнейдер преподавал.

Полный же толстовский классицизм с преподаванием и греческого языка введен был лишь со второй половины 71 г., когда я уже окончил гимназию.

Директором нашей гимназии до декабря 1866 г. был И. М. Глебов, ранее, в 50-х годах, состоявший в той же гимназии инспектором. Во время своего инспекторства он прибегал к жестоким мерам наказания, но, сделавшись директором уже в эпоху начала реформ, он сильно изменился и не шел в разрез с господствующим течением. Но мы, гимназисты, мало знали его, показывался он нам довольно редко, и то большею частью тогда, когда за какие-нибудь провинности или шалости, выходящие за пределы дозволенного, надлежало накричать на нас и нагнать страху. Небольшого роста, худощавый, всегда с наклоненной на бок головой, никогда не улыбавшийся, но обладавший громким голосом, он умел нагонять этот страх, и мы его боялись. Но этим дело и ограничивалось, зла он никому не причинял. При нем педагогический совет гимназии получил даже особое значение; был он и большим сторонником женского образования.

Глебова заступил Э. Е. Фишер (1866—1877 г.), немец по происхождению, аккуратный и педантичный, которому, согласно с изменившимся общим курсом, предстояло подтянуть гимназию, усвоившую, было, за время российской оттепели несколько вольный дух. Дело свое новый директор делал с тактом, но систематически и неуклонно, при чем ни одна мелочь не выходила из поля его зрения. Обращалось большое внимание на поведение воспитанников, но последние мало поддавались новому режиму и продолжали свою жизнь вне гимназии попрежнему, соблюдая лишь бо́льшую осторожность, чем раньше. Фишер, впрочем, был не злой человек, всегда спокойный и вежливый, и ничего особенно худого воспитанники от него не видели. С таким же тактом Фишер подтянул и педагогический персонал. При нем о товарищеских отношениях с педагогами не могло быть и речи. Фишер занял положение олимпийца, но олимпийца еще мягкого и корректного.

Что касается преподавателей, то среди них были у нас всякие. Были и совсем никчемные, которых мы не уважали, у которых не учились, над которыми нередко зло издевались. Были и такие, которых не любили, но уважали и у которых, как у толковых и знающих преподавателей, охотно учились. Но любимых и в то же время уважаемых преподавателей, оказывавших на нас благодетельное влияние и способствовавших нашему развитию, было совсем мало:—один—два да и только! Мы не только учились у них, но и всегда особенно бережно относились к ним.

К числу первых по преимуществу следует отнести преподавателя немецкого языка Н. А. Борнгардта, французского—Фабиана Ив. Барановского и латинского—С. Хорошкевича (второй преподаватель).

Борнгардт, старенький и кругленький немец, плохо говоривший по-русски, всегда одетый в длинный форменный сюртук нараспашку, с неизменным цветным платком в руке и табакеркой с нюхательным табаком, которые он вместе с классным журналом клал на учительский стол. Вся фигура добродушного немца, забавно коверкавшего при этом русскую речь, возбуждала лишь веселое настроение в классе, сопровождаемое шалостями, за которые провинившиеся ставились в угол на колени, откуда наказанные ползком, постепенно и незаметно для учителя, перебирались на свои парты. Его обычная брань «швинь» нередко раздавалась в таких случаях. Преподавание велось плохо и апатично, учились же еще хуже, но приличные отметки были почти у всех, так как Борнгардт обычно спрашивал каждого раз или два в месяц в порядке записи воспитанников в классном журнале, благодаря чему каждый уже заранее знал, когда его спросят, и к этому времени по мере своих сил подготовлялся.

В 1868 г., когда мы были уже в старших классах, Борнгардта за выслугой лет сменил тоже немец, Шнейдер, из военных. Это был еще молодой человек очень высокого роста, с зычным голосом и военной выправкой и с хорошей русской речью. Он знал свое дело, был строг и требователен, и при нем прежние шалости были уже немыслимы. Туго нам пришлось при новом учителе, которого мы изрядно боялись. Языка мы совершенно не знали, многие не могли даже бегло читать по-немецки, а между тем курс надо было проходить дальше. Приходилось усиленно приналечь на язык, чтобы хоть мало-мало возместить потерянное и пробираться дальше.

Не в лучшем виде находилось и преподавание французского языка в руках Фабиана Ивановича Барановского, при котором мы почти начали и кончили гимназический курс. Барановский, поляк по происхождению, маленький и старенький человечек, красивший свои волосы, знал свой предмет неважно, преподавание вел вяло и скучно, и ученики предпочитали на его уроке заниматься каждый своим делом или же выдумывали разные шалости, которые выводили его нередко из себя, что в свою очередь только усиливало наше веселое настроение. Особенно любил он читать нам нравоучения и все больше за плохое содержание ученических тетрадок по французскому языку. Однажды как-то, увлекшись, обращаясь к Иванову, он воскликнул: «Иванову, Иванову! Вот и Каракозов тоже имел плохие тетрадки, и его повесили и сослали в Сибирь!». Потом каждый раз, когда он приступал к своим обычным нравоучениям, мы уже сами, шутки ради, помогали Барановскому неисправного ученика сначала повесить, а потом и сослать в Сибирь.

Понятно, что при таком преподавателе французского языка мы, за исключением тех, кто занимался им самостоятельно дома, не знали и кое-как перебирались из класса в класс.

Но пальма первенства из этой категории преподавателей бесспорно должна быть отдана Хорошкевичу, второму преподавателю латинского яз. (65—59 г.г.), попавшему к нам, когда мы были уже в старших классах. Это был молодой человек, невзрачный на вид и совершенно лысый, что, видимо, очень огорчало его и побуждало прибегать к разным косметическим средствам, чтобы поправить дело. Предмет он знал плохо, преподавание вести совсем не умел, и о какой-либо дисциплине на его уроках не было и помину. Отношение к нему учеников было совсем неуважительное, скорее ироническое и насмешливо-покровительственное. По приходе его в класс, если настроение наше было мирное, мы затевали с ним разговоры на больную для него тему и сочувственно выражали ему радость, что пушок на его голове, которую он постоянно поглаживал своей рукой, заметно растет и есть надежда и на дальнейшее улучшение дела, при этом рекомендовали ему разные, отлично действующие рецепты для ращения волос и проч. Случалось, что великовозрастные из нас заводили с ним и скабрезные разговоры, уличая нашего преподавателя в нескромных похождениях, что конфузило его и выводило из себя. Но чаще всего урок Хорошкевича протекал при невероятном гаме и шуме, сопровождавших проделки учеников. Когда затевалось что-нибудь особенно серьезное в этом роде, то заблаговременно передние парты сдвигались так, чтобы прохода на задние не было. В ожидании представления класс замирал, а встревоженный необычной тишиной Хорошкевич пугливо озирался, не зная, с какой стороны ему ждать нападения. Но ждать ему приходилось недолго: на задних партах раздается серебристый звон колокольчика, Хорошкевич стремглав летит по направлению звука, но встречает непреодолимое препятствие; в это время звон колокольчика раздается уже в другом конце, он кидается туда, но там тоже препятствие; а между тем колокольчик работает уже в противоположном конце и призывает к себе растерявшегося педагога. Выведенный из себя, он вскакивает на парты и по ним устремляется по направлению звука, но тут поднимаются невообразимый гвалт, шум и возня, привлекающие начальство. Начинается разборка, которая обычно оканчивалась ничем, так как зачинщики не выдаются. Но урок прошел весело, занятий не было, а нам только это и было нужно.

Однажды в 5 классе на уроке Хорошкевича с учительского стола стащили классный журнал и в щель под дверью переправили в смежный 6 класс, учениками которого, по соглашению с нами, он спущен был в яму уборной, где и погиб со всеми отметками. Дерзкая шалость эта вызвала большой переполох, дело, казалось, готово было принять серьезный оборот, но виновники не были обнаружены, и оно кончилось ничем. В таком роде и проходили все наши уроки в классе Хорошкевича. Понятно, что при таких условиях немного мы и выносили из них.

Другой преподаватель латинского языка, с которым нам в старших классах, главным образом,—приходилось иметь дело, Алексей Ильич Редников, целых 30 лет (1848—1878) учительствовал в нашей гимназии. Это был в своем роде замечательный человек, большой оригинал и страшно неряшливый, в особенности в домашнем обиходе. Обладая прекрасным здоровьем, он и в морозы всегда ходил в ватном пальто внакидку. В класс он обычно влетал, а не входил, всегда в стареньком засаленном вицмундире и в широченных из толстого драпа брюках, в необ'ятных карманах которых неизменно покоилась бутылка водки, до которой А. И. был большой охотник. Умный, энергичный, отличный знаток языка, который он любил и в котором обладал профессорскими знаниями, но страшно безалаберный и в деле преподавания, как и в личной жизни, он, несмотря на это, все же был ценным преподавателем, но лишь для тех, у кого был заложен хороший фундамент по языку еще в младших классах. У большинства же из нас этого фундамента не было, к тому же в то время, под влиянием прессы, страстно обсуждавшей вопросы о преимуществах классического и реального образования, мы почти все были на стороне последнего и отрицательно относились к классицизму и, в частности, к изучению латинского языка, а потому и не стремились к познанию его. По этим причинам, за редкими исключениями, в знании языка мы не преуспевали, а заботились лишь о том, чтобы знать его настолько, чтобы не срезаться на переводных испытаниях. И Ал. Ил., в обычное время требовательный и строгий, не упускавший случая какимнибудь острым словом, а чаще всего выразительным латинским изречением поиздеваться над нами, в решительную минуту был снисходителен к нам и не топил нас. Какое-то сложное чувство возбуждала в нас эта, несомненно, оригинальная, цельная и талантливая личность учителя: мы побаивались его и в то же время уважали, пожалуй, даже любили, а вместе с тем и добродушно подсмеивались над ним.

Из преподавателей второй категории прежде всего следует отметить Василия Петровича Хватунова, обучавшего нас физике и математике. Небольшого роста, но плотный, энергичный и подвижной, он вел преподавание, сопровождая его нередко шутками и прибаутками, необыкновенно живо, толково и вразумительно, так что только ленивый не усваивал предмета. В классе его всегда царили полная тишина и напряженное внимание, в особенности, когда Хватунов приступал к об'яснению следующего урока. Ясность и сжатость этих об'яснений делали почти ненужным домашнюю работу над уроками. Мы знали его предмет, невольно заинтересовывались им, но этим все наши отношения к Хватунову и оканчивались.

К этой же последней категории учителей можно отнести и Виктора Павловича Москвина, преподавателя словесности (1857—1870 г.г.).

Высокий, худой, с длинными белокурыми волосами, закинутыми назад, всегда серьезный и величественный, он уже одним своим олимпийским видом внушал к себе невольное уважение. Предмет он свой знал хорошо, говорил толково, но сухо, лишь изредка увлекаясь при рассказе. Урок проходил всегда в полной тишине, так как и самый предмет интересовал нас. Но благодаря тому, что Москвин, не ограничиваясь школьной программой, курс древней литературы проходил много подробнее, мы не успевали доходить до литературы новейшей, с которой должны были уже знакомиться сами. Влияло на это и то, что Москвин, страдая запоем, нередко по неделям не посещал гимназии. Но несмотря на все эти недостатки, мы любили предмет, к которому В. П. Москвин сумел внушить нам серьезное отношение.

Столь же серьезно многие из нас относились и к сочинениям на заданные темы, в особенности, если темы эти нам нравились. Здесь, в этих сочинениях, всего скорее сказывалась степень нашего развития, а особенно удачные работы ценились преподавателем и прочитывались им в классе, как образцовые. Сам увлеченный наукой и следящий за ней, Москвин старался умственно поднять и нас и возбудить работу нашей мысли. Уже одно это заставляло забывать все его недостатки, почтительно относиться к нему и выделять из среды его товарищей-педагогов, нередко в полном смысле убогих.

Среди преподавателей Вятской гимназии бесспорно совершенно исключительное место занимал преподаватель истории, Яков Григорьевич Рождественский. Этому последнему, яркому светочу нашей гимназии, мы многим обязаны в нашем духовном развитии,— его мы искренно любили, бесконечно уважали и относились к нему крайне бережно, избегая всего, что могло бы огорчить его. Мы знали, что в начале 60-х годов, когда он жил уже в Вятке, он с какой-то стороны привлекался по так-называемому Казанскому делу, в котором замешаны были вятские семинаристы и некоторые из семинарских преподавателей, сидел некоторое время в тюрьме, а следовательно в глазах начальства был уже человеком с подмоченной политической репутацией. Зная это, мы, несмотря на полную его доступность и искреннюю доброжелательность к нам, к которым он относился, как к младшим товарищам,—сами старательно избегали всего, что могло бы дать повод начальству усилить свою подозрительность по отношению к нашему любимому преподавателю. Поэтому мы не искали сепаратных сношений с ним, ограничиваясь лишь встречей на его классных уроках. Этих уроков мы ждали и всегда радостно встречали Як. Григ. Спрашивал он нас очень редко, очевидно не любил этого скучного дела и полагался на нас самих, зная, что мы не подведем его. И мы его не подводили. Свои уроки он по преимуществу посвящал рассказам об исторических событиях, которые по учебнику должны быть

приготовлены к следующему разу. Рассказы эти велись так живо, увлекательно и в надлежащем освещении, что класс буквально замирал, слушая его.

Нередко, оставляя в стороне очередную задачу, Я. Г. еще с большим увлечением рассказывал нам о текущих политических событиях, что, само собой, еще с гораздо более интенсивным интересом выслушивалось нами. Я помню, как, когда я был в 5 классе и когда в «Неделе» начали печататься «Исторические письма» Миртова (Лаврова), Я. Г. приносил №№ газеты в класс и читал нам, посвятив на это дело много уроков. Чтение это, сопровождаемое комментариями особенно трудных для нас мест, производило на нас глубокое впечатление. В то время такое чтение в некотором роде было уже запретным плодом, и начальство, если бы узнало, не поблагодарило бы за подобное чтение преподавателя. Но мы понимали это и без предупреждения держали язык за зубами.

И в глазах своего начальства Я. Г., как преподаватель, превосходно знающий свой предмет и умеющий заинтересовать им своих учеников, пользовался отменной репутацией. Я помню, как однажды к самому началу урока истории в 4 класс явился попечитель Казанского учебного округа и попросил Я. Г. продолжать уже начатый им свой обычный рассказ. Рассказ продолжался целый час при возбужденном внимании молодой аудитории и самого попечителя, который, когда звонок возвестил об окончании урока, благодарил Я. Г. за доставленное ему удовольствие. Мы радовались, что наш любимец и на этот раз с честью вышел из испытания.

Я. Г., восприняв все высокие идеи 60-х годов и искренно проникнувшись ими, любовно и умело старался и нас ввести в круг этих идей, возбудить в нас жажду знания и духовные интересы, а вместе с тем и помочь нам стать достойными гражданами своего отечества. И Я. Г., несомненно, многое удалось сделать в этом направлении; зароненные им в наши души добрые семена не пропали даром.

К нашему общему сожалению, по неизвестным причинам в 1869 г. Я. Г. покинул Вятскую гимназию и перебрался в Пензу. Благодарная память об этом гуманном и выдающемся педагоге и человеке живет еще и по сие время в сердцах тех, кто не покинул еще землю.

В те времена, о которых идет речь, в Вятской гимназии преимущественно обучались дети чиновников, купцов и мещан, как проживающих в Вятке, так и в уездах. Были среди нас, хотя и не в особенно большом проценте, и «кухаркины дети». Крестьянских же детей, заполнивших через несколько десятков лет все наши средние учебные заведения губернии, не было еще и в помине. Наша крестьянская масса в то время была почти сплошь безграмотна, школ для сельского населения совсем почти не было, и лишь с вве-

дением земских учреждений последние стали усиленно насаждаться, а вместе с тем начала подниматься и грамотность сельского населения.

В гимназической среде, по преимуществу все же демократической и в общем дружной, скоро все социальные различия сглаживались. Барчуков по привычкам и особой изысканности одежды мы не любили, и им волей-неволей приходилось приноравливаться к общему тону среды. Чувство товарищества даже в младших классах было развито в достаточной степени, о старших же классах и говорить нечего. «Ябедников» и особенно «фискалов» терпеть не могли, и они быстро выводились под напором общего презрения, а нередко и физического воздействия товарищей. Как и в каждом учебном заведении, были среди нас ленивые и прилежные, способные и неспособные, были, конечно, и «зубрилки», исправно готовившиеся к каждому уроку по всем предметам. Последних тоже не особенно долюбливали, хотя в трудную минуту нередко и обращались к их помощи.

Многолюдные первые классы, — в 35—40 человек обычно, — к концу курса по разным причинам постепенно таяли, уменьшаясь в последнем выпускном классе до 10—15 человек. В классе все были товарищами; здесь нас об'единяли общие шалости или проказы, общность школьных интересов, отношение к начальству и проч., но более близкие и интимные отношения устанавливались в зависимости от личных симпатий и влечений, далеко, разумеется, не однородных. Одних об'единяла по преимуществу внешняя жизнь— забавы и различные развлечения, нередко и выпивки, других же— духовные интересы, степень увлечения которыми была, конечно, не одинакова. Этих последних было меньшинство, а серьезно затронутых и увлеченных—еще меньше. Само собой разумеется, что и этой категории учащихся, за небольшими исключениями, развлечения, свойственные возрасту, — даже и пристрастие и алкогольным напиткам, которое каким-то образом могло совмещаться с идейным увлечением,—не были чужды.

Вращаясь в этой последней среде и будучи тесно связан с нею духовными узами, я какими-то судьбами уберегся от этого пагубного порока и ни тогда, ни после не имел влечения к вину. Должно быть, чувство какого-то органического отвращения, испытываемое при виде пьяного человека, особенно интеллигентного, потерявшего всякий человеческий образ, немало содействовало этому. Позднее, во время прохождения мною 6 и 7 классов, когда старшие учащиеся, задававшие тон в гимназической жизни, поразʼехались по высшим учебным заведениям, это пристрастие к спиртным напиткам как-то само собой совершенно выдохлось среди оставшейся идейной группы учащихся.

V.

Семейные дела. Скитания по ученическим квартирам. Мой новый провал на экзаменах.

Тяжелое материальное положение нашей семьи, наступившее после смерти отца, понемногу, благодаря помощи дяди, было изжито, и семья вздохнула свободно. Дедушка и бабушка, один за другим, умерли, скончались и мой младший брат Вячеслав и сестра Надя, оставшиеся после смерти отца в младенческом возрасте. Старшая сестра Лидия, уже подросшая, кое-что и сама могла уже зарабатывать разными рукодельными работами и помогать вместе с другой моей сестрой по хозяйству матери. Последняя, попрежнему энергичная, целый день была в суете, занятая разными хозяйственными заботами. Мысль же дать образование мальчикам не только не покидала ее, но, видимо, укреплялась в ней все больше и больше. Следующий за мной брат, Аркадий, уже учился в местном училище, готовился начать учение и Виктор, и лишь младший, Иван, продолжал жить вольной птицей.

Бывая в эти годы в каникулярное время дома, я уже не испытывал того тягостного чувства, какое приходилось испытывать первое время после смерти отца, а потому и со спокойной совестью мог отдаваться своим новым влечениям, которые пришли с возрастом. В это время я уже обзавелся ружьем, была у меня даже и собака «Пароль», с которой я часто по целым дням бродил по заречным озерам и болотам и не всегда безуспешно: случалось, что я возвращался домой, увешанный убитыми мною утками. В зимние же мои приезды домой времяпрепровождение было другое. Я продолжал поддерживать приятельские отношения и с некоторыми из своих товарищей детства, бывая у них, завелись и первые знакомства с барышнями моего возраста, общения с которыми ни дома, ни в Вятке до того времени у меня не было. Немного их было, но, помню, одна, Изергина, дочь местного коммерсанта, особенно привлекала меня. Смуглая, веселая и живая, державшаяся совсем по-товарищески, она как-то сразу захватила меня и возбудила во мне какое-то совсем особенное чувство. Мне

хотелось видеть ее, слышать ее голос, словом, влекло к ней. Но знакомство это скоро оборвалось, так как она вместе с семьей перебралась на жительство в Архангельск. Но еще долго образ этой девочки нередко вставал перед моими глазами, вызывая во мне особенно хорошее и нежное чувство.

Но не одни развлечения занимали меня тогда во время приездов моих домой. В свободное время я возвращался к книге, которая сделалась для меня уже потребностью, любовь к книге я старался внушить и моим домашним. Но братья мои были еще слишком юны, чтобы игры и другие удовольствия менять на чтение, а сестры слишком заняты домашними работами, чтобы находить для него время. Но все же книги в доме были уже не редкость, чего прежде совсем не было.

С изменившимся в лучшую сторону материальным положением семьи кончилось и мое материальное неблагополучие. Когда я был в 4 классе, уже оказалась возможность снова поместить меня на квартиру со столом. Я поселился за 8 руб. в месяц у генеральши Петровой, у которой, кроме меня, были еще два других нахлебника: гимназисты Гридин (впоследствии врач), уже бородатый молодой человек, поступивший в таком виде прямо в 5 класс, и сын богатого котельнического купца Кардаков, обучавшийся в младшем классе.

Петрова занимала отдельный каменный флигель большого трехэтажного дома у Казанского моста и отводила нам, нахлебникам, довольно большую отдельную комнату. У Петровой была дочка, миловидная и уже взрослая барышня, за которой наш бородатый товарищ не преминул ухаживать. Я же, непривычный к барскому обиходу, чувствовал себя не в своей тарелке, когда приходилось оставлять свою комнату и появляться на хозяйской половине для обеда или чая за общим семейным столом. Кормила нас Петрова хорошо, но, несмотря на это, я был рад, когда через год оставил ее и переселился на окраину города, в ученическое общежитие, помещавшееся в нижнем этаже старого деревянного дома, именуемого «Ковчегом», перед окнами которого расстилался большой луг, где усердно кричали коростели. Здесь, в обществе гимназистов разных возрастов и вкусов, я прожил недолго и переехал в отдельную комнату, чтобы удобнее было заниматься.

С тех пор я предпочитал одинокие квартиры, и лишь в последние годы пребывания моего в гимназии, когда мы преследовали цели сближения с семинаристами и идейного на них воздействия, мы совместно с ними наняли уже сами от себя верхний этаж дома Глазырина, где удобно разместились по отдельным комнатам, никому не мешая заниматься.

Но еще в 5 классе, где я учился уже вполне сознательно и весьма исправно, со мной приключился сильно огорчивший меня казус, о котором нельзя не сказать несколько слов.

Шли экзамены, половину из них,—и наиболее трудные и ответственные,—я уже сдал на 4 и на 5, и еще немного усилий—и дело было бы уже закончено. Но в это самое время кто-то из родных приехал в Вятку, погода же стояла тогда чудная, и меня вдруг от скучной и нудной экзаменационной горячки потянуло домой, на простор полей и лесов. Я не выдержал и под предлогом болезни уехал из Вятки. Все лето я провел, не брав учебников в руки, настолько они мне опостылели, и в то же время верил, что меня переведут и без дополнительных испытаний. В таком виде я и явился в гимназию, где собрался, было, уже расположиться вместе с моими товарищами в 6 классе. Так, повидимому, рассчитывало и само гимназическое начальство, но все же сделало мне для проформы самое поверхностное испытание. Помню, как Хватунов, наш учитель математики, добродушно подхватил меня под руку, привел к классной доске и просил об'яснить ему какую-то теорему из геометрии, экзамен по которой я уже сдал в свое время на 5. От неожиданности я совершенно растерялся, стоял перед доской, как дурак, не вымолвив ни одного слова. Пожалуй, не менее растерялся и сам Хватунов, у которого я всегда был на хорошем счету. Но делать было нечего, такой ответ, как мой, равнялся единице, поэтому о других поверочных испытаниях уже не могло быть и речи, стало-быть, и о 6 классе. И вот, сконфуженный и огорченный, я должен был снова усесться на партах 5 класса.

Жаль было товарищей, жаль и потерянного года. Но нет худа без добра: в классе мне делать было почти нечего, и я, имея в своем распоряжении достаточно свободного времени, мог употреблять его на усиленное чтение, что и делал. Перепадали в это время и кой-какие уроки, которыми я также не преминул воспользоваться, чтобы хоть немного пополнить мой скудный бюджет.

VI.

В старших классах. Знакомство с семейными домами. Возрастание интереса к общественности. Открытие земских учреждений. Углубление духовной жизни и стремление к выработке цельного миросозерцания.

Когда мне вышеописанным прядком пришлось засесть на второй год в 5 классе, я был почти уже юношей в 16- и 17- летнем возрасте и довольно развитым.

Бывая у своих товарищей по гимназии, Николая и Александра Фармаковских, я постепенно познакомился и со всей семьей последних и стал бывать у них, когда там собиралась молодежь. Дом Фармаковских был либеральный. Отец их, протоиерей Спасского собора, умный, с академическим образованием и очень начитанный человек, состоял в то же время и гласным земского собрания и преподавателем духовной семинарии, где он, как рассказывали, держался в отношении ее воспитанников очень сурово. Но все его дети, как мальчики, так и девочки, учились не в духовных, а в светских учебных заведениях, и семье он не мешал жить по-своему, чему, вероятно, немало способствовала жена его, умная и либеральная женщина, всегда присутствовавшая на наших собраниях. На этих импровизированных собраниях нередко раздавалось дружное пение революционных песен, и велись горячие споры по разнообразным общественным вопросам далеко не в верноподданническом духе. Дом Фармаковских в некотором роде был центром, около которого группировались не только родственные им семьи протоиерея Воскресенского собора, Никитникова, со взрослыми барышнями и чиновника Спасского с 4 сыновьями студентами (Николаем, Аркадием, Валерьяном и Ираклием Александровичами), но и общественные деятели г. Вятки, как, например, первый председатель губернской управы, врач Синцов, агроном Заволжский, преподаватель семинарии А. С. Верещагин и др. Этому тяготению к дому Фармаковских, занимавших большую квартиру одного из каменных домов Спасского собора, с мезонинным помещением, в котором обитала молодежь, без сомнения немало способствовали две уже взрослые дочери привлекательной

наружности, умные и развитые, стремившиеся к высшему образованию. Эти симпатичные особенности в те далекие времена были еще довольно редким явлением, а потому и не могли не импонировать и не привлекать к себе родственные по духу элементы. Немного позднее старшая из Фармаковских, София, стала женою устраненного губернаторскою властью от председательства Синцова и уехала из Вятки, а вторая, Юлия, выйдя замуж за земского агронома-экономиста Заволжского, в числе первых пионерок высшего женского образования поступила в Медико-хирургическую академию и сделалась врачом.

Собрания у Фармаковских, особенно оживленные и многолюдные, когда на каникулы приезжали студенты, нередко сопровождались и танцами, которыми увлекался и я. Хотя атмосфера в доме была непринужденная, чуждая всякой чопорности, но я, особенно в первое время, совершенно непривычный к женскому обществу, чувствовал себя не по себе, и лишь постепенно дикость эта проходила, и я осмеливался даже вступать в разговоры с барышнями.

Дому Фармаковских лично я многим обязан. Здесь впервые столкнулся я с интеллигентными представителями вятского общества, занятыми тем или иным общественным делом. Здесь приходилось слышать различные мнения по разнообразным вопросам и, в частности, по вопросам местной жизни, дававшим еще обильный материал. Все это помогало мне в более широком масштабе познавать жизнь и в то же время возбуждать в себе более живой интерес к ней. Здесь же, в доме Фармаковских, завязались и новые знакомства, здесь после 7-летнего перерыва я впервые встретился и с Кувшинской, уже взрослой барышней, только-что окончившей гимназию и поступившей классной дамой в епархиальное училище, с Машковцевой, впоследствии врачом, в семейной квартире которой позднее устраивались наши собрания, а также и со многими другими, знакомство с которыми продолжалось и дальше, когда дом Фармаковских временно, после бегства старшей дочери Софьи (увезена Синцовым, который был женат), перестал быть местом оживленных наших собраний.

В 1867 году «великие реформы» еще не были закончены, хотя розовая окраска их уже поблекла и в обществе наступало осеннее настроение. В этом году в Вятской губернии вводились земские учреждения, которые по идее должны были перевернуть весь уклад местной жизни. Предстояла передача из бюрократических канцелярий всех многообразных хозяйственных и врачебного дел в руки выборных общественных представителей, с публичным обсуждением всех этих вопросов на земских собраниях.

Понятно, что такое крупное событие в местной жизни не могло не возбудить общего интереса в наиболее сознательной части населения Вятки, а потому зал «благородного собрания», где 20 мая

состоялось открытие учредительного губернского земского собрания, был переполнен публикой. На меня, присутствовавшего на этом открытии, произвело сильное и радостное впечатление это первое публичное собрание в переполненном возбужденной публикой зале, открытое благожелательной речью губернатора. Казалось, все—и гласные и публика—переживали то же чувство и были окрылены надеждами на будущее. И первый серьезный акт этого собрания—выбор состава управы—не разрушил этих радостных впечатлений. Председателем управы был выбран лучший из состава собрания, врач г. Орлова, Матвей Матвеевич Синцов, который, несмотря на кратковременное пребывание у руля земского корабля, бесспорно может быть назван основоположником лучших земских традиций, которые сказывались с новой силой всякий раз, когда бюрократический гнет ослабевал и наступала оттепель.

К декабрю того же года, когда состоялось очередное губернское собрание, управа, уже организовав канцелярию, заручившись прекрасным секретарем в лице Е. И. Красноперова и приняв дела из рук администрации, могла уже выступить с рядом докладов, в числе коих некоторые не могли не возбудить особого интереса, как доклады по народному образованию и медицинскому делу. Не меньший интерес возбуждал и выработанный Красноперовым проект земского банка для крестьянского населения.

Посещая в свободное от школьных занятий время эти первые заседания земского собрания, на которых в докладах управы и в оживленных прениях обрисовывалась безнадежная картина состояния нашей обширной, почти исключительно крестьянской губернии, где не было ни школ, ни врачебной, ни агрономической помощи, не было даже дорог и пр. и населению, сплошь безграмотному, оставалось в удел лишь жизнь первобытных людей, с перемежающимися голодовками,—постановка всех этих вопросов в первую очередь и посильное разрешение их невольно окрыляло надеждами, что всей этой безнадежности будет положен конец. И первые шаги вятского земства укрепляли эту надежду; за дело оно принялось энергично, направляя все свое внимание на удовлетворение первостепенных крестьянских нужд.

Но наша земская весна была непродолжительна. Направление земства не могло уже нравиться губернской администрации, подстегиваемой сократительными директивами из центра, и между земством и администрацией вскоре же начались пререкания, сопровождаемые окриками со стороны последней. И в результате излюбленный председатель Синцов, а позднее и секретарь земской управы Красноперов должны были оставить земство и выехать из Вятки.

Все это не в малой степени способствовало тому, чтобы пошатнуть и мою веру в земскую работу, над которой все время стояла в лице губернатора капризная и своевластная нянька, требовавшая от

земства полного послушания. И это послушание и обезличивание земства, не имевшего опоры в массах, с годами последовательно росло в тесной связи с развивающейся реакцией из центра, пока снова не наступала оттепель, а с ней и временное оживление земской жизни.

В старших классах, когда уровень нашего духовного развития уже значительно повысился, а ум становился более зрелым, мы[1] принялись за серьезное чтение. В нашем распоряжении имелись программы систематического чтения, долженствовавшего способствовать выработке нашего общего миросозерцания; мы придерживались этих программ, но постоянно нарушали порядок чтением привходящих книг, появлявшихся на книжном рынке и возбуждавших почему-либо особый интерес. Нетерпеливая жажда познать все, по всем областям знания была велика, и мы, по мере наших сил, удовлетворяли ее, нередко за счет нашей школьной науки. Читали мы по вопросам мироведения, по биологии, философии, пытаясь даже осилить Огюста Конта, по русской и всеобщей истории, где меня особенно интересовали периоды расцвета жизни, по социологии и политической экономии, социализму и пр. В то время переводная литература по различным отраслям знания была уже довольно богата, попадала она и в Вятку и с жадностью прочитывалась нами. Но вся эта область знания, возбуждающая нашу мысль и расширяющая наш кругозор, не могла погасить в нас живого интереса к русской действительности и к судьбам нашей родины, чем с конца 50-х годов прошлого столетия была занята и вся наша периодическая печать в лице лучших ее представителей. Живя в это бурное в идейном смысле время, когда происходила переоценка всех ценностей, мы, когда пришло и наше время, не могли остаться в стороне от идейного воздействия того времени и усердно следили за текущей литературой и литературой предшествовавшего периода, возглавляемой Чернышевским и Добролюбовым. Чернышевский, воспринявший уже к тому времени мученический венец и переносивший его с стоическою твердостью и достоинством, становился преимущественным нашим учителем жизни, трагическая судьба которого лишь усиливала обаяние его личности, а вместе с тем и повышала в наших глазах ценность проводимых им идей.

Чернышевского мы читали и перечитывали, а иногда и писали по нему рефераты. Преимущественно внимание наше приковывалось к его статьям по крестьянскому вопросу, этому основному вопросу русской жизни, и к его знаменитым примечаниям к «Политической Экономии» Милля. Первые, указывая на все значение

[1] Под этим *мы* я разумею здесь и дальше не всю гимназическую массу, в общем индиферентную или же только поверхностно затронутую идейным течением того времени, а лишь небольшую группу воспитанников гимназии разных классов, действительно и серьезно увлеченных им.

правильного решения крестьянского вопроса и давая твердые основы для этого последнего, в то же время сообщали и богатый материал для критического отношения к произведенной реформе освобождения крестьян от крепостной зависимости, переводившей последних лишь от одной зависимости к другой, может быть, еще более горшей и разорительной для них. Своими же примечаниями к Миллю Чернышевский вводил нас в круг увлекавших нас социалистических идей, но, что особенно важно, органически связывал их с элементами, хотя и находящимися еще в зачаточном состоянии, но родственными с ними и обретающимися и в психологии, и быте основной массы нашего населения—крестьянства. Это укрепляло в нас веру в жизненность социалистической идеи, которая в будущем, когда суровые условия нашей жизни изменятся и духовный уровень населения поднимется, неминуемо должна пустить глубокие корни и перестроить жизнь на новых и более справедливых началах.

Не менее сильное впечатление произвела на нас и книга Флеровского (Берви) «Положение рабочего класса в России», появившаяся в начале 1869 года. Сильно и страстно написанная, она давала нам яркую картину безотрадной жизни нашего рабочего, в большинстве своем только-что выброшенного из оскудевшей деревни и нашедшего приют и скудное пропитание на фабрике и заводе. Я помню, как я запоем читал эту книгу не только дома, но и в классе, совершенно забывая, где я нахожусь. В то время промышленность наша только-что стала развиваться, рабочий класс был еще немногочислен, уровень развития его в массе, в особенности в захолустных местностях, не поднимался выше уровня безграмотного крестьянского населения. Предложение же голодных рук было тогда велико, далеко превышало спрос на них, а потому предприниматели, обуреваемые лишь жаждой наживы и ничем не стесняемые, могли делать с рабочим все, что хотели, оплачивая 16—18-часовой труд, часто протекавший при невозможной обстановке, грошами. Заслуга Флеровского, несомненно, состояла в том, что он поставил на очередь рабочий вопрос, который потом никогда уже не сходил со сцены. Никогда он с тех пор не выходил и из поля нашего зрения, привлекая к себе наше внимание наравне с крестьянским вопросом.

Нужно ли говорить, что вся русская литература того времени, как художественная, так и всякая иная, давала нам обильный материал для отрицательного отношения к нашей действительности, богатой невежеством, нищетой и произволом всякого рода во всех областях нашей жизни. Но, давая это, она в то же время, как и сама русская действительность, возбуждала в нас страстное желание поскорее избавиться от этих тягостных условий жизни и помочь нашей родине зажить по-новому, по-хорошему.

Большинство из нас, чья мысль уже работала, были искренними демократами, стояли за общее равенство прав и обязанностей, за равноправие женщин и пр.

К вопросам же религиозным отношение в общем установилось индиферентное. Истинной религиозности в детстве нам не внушили, а наша официальная церковность скорее действовала на нас не в положительном смысле, а в отрицательном. И лишь евангельское учение импонировало нам, но не как божественное откровение, а как моральная доктрина, во многом совпадающая с усвоенными нами понятиями и принципами.

Словом, общий характер тогдашней передовой литературы с преобладающим народническим направлением захватил нас, а потому служение обездоленному народу, поднятие его духовного и материального уровня, а вместе с тем и освобождение его от угнетающего его произвола становились символом нашей веры.

Все это уже тогда побуждало нас прицеливаться к различным общественно-служебным положениям, которые по завершении высшего образования могли бы дать лучшие возможности для работы в интересах народа. Но верных и вполне обеспечивающих эту задачу положений мы не находили; всегда при этом невольно возникали сомнения в возможности этого служения на легальном поприще, которому всюду, в особенности же при соприкосновении с народными массами, развивающаяся в стране реакция, более всего боящаяся всякого живого слова, ставила непреоборимые преграды. Поэтому мысль невольно все больше и чаще останавливалась на неузаконенных путях, на путях нелегальных.

VII.

Стремление расширить среди учащихся круг сторонников новых идей. Образование ученической конспиративной библиотеки. Изменение нашего отношения к семинаристам и установление связи с ними. Устройство общей квартиры с семинаристами. Рост сознательности среди женской молодежи и стремление е к высшему образованию. Новый семейный дом Машковцевых. Сближение с Кувшинской. Роль ее в епархиальном училище. Мое знакомство с епархиалками. Изгнание Кувшинской из училища. Гимназисты Леонид Попов и Семен Хохряков.

Наше личное участие в общественной жизни было еще впереди, пока же были лишь одни искания и планы, далекие от осуществления. Но все же мы не могли не стремиться к увеличению кадра наших единомышленников, а следовательно и к возбуждению, прежде всего, интереса к чтению, знанию и общему развитию среди воспитанников гимназии, а также и других учебных заведений. Но помимо личного воздействия в этом направлении, нужно было позаботиться о предоставлении свободного доступа к хорошей книге, для чего и было приступлено к организации ученической библиотеки с хорошо подобранным и приспособленным для разных возрастов материалом. Дело было начато и пошло хорошо, скоро образовалась довольно порядочная библиотека, помещавшаяся в квартире гимназиста Петра Шуравина, шедшего ниже нас класса на два и жившего в семье, в изолированной комнате с отдельным входом, куда нельзя было ждать набега начальства, обычно посещавшего лишь квартиры гимназистов, проживавших на хлебах у хозяек. В нашей библиотеке имелись книги и из'ятые из обращения, и хотя она была конспиративная, но клиентов у нее всегда было в изобилии. В то время фискальство и доносительство были не в моде, а потому некому было осведомить о ней начальство. Благодаря этому библиотека просуществовала многие годы, содействуя духовному развитию подрастающего поколения.

К этому же приблизительно времени начался, за окончанием гимназического курса, от'езд моих наиболее близких старших товарищей в столицу для продолжения своего образования [1].

[1] Н. К. Лопатина, Н. Шкляева, Ир. Спасского, А. Праздникова и др.

Однако, с от'ездом этих старших товарищей наша духовная жизнь не замерла, а продолжала развиваться, тем более, что и сама Вятка понемногу духовно вырастала. Дух времени не мог не пробить бреши даже и в толстых стенах наших духовных учебных заведений, которые до сего времени жили изолированно, под строгим контролем, занятые своей схоластической наукой. Былой вражды между гимназистами и семинаристами не было уже и в помине, наоборот, мы, гимназисты, даже проникались к последним особым уважением, зная, какое большое количество виднейших общественных деятелей России уже дала эта среда за последние годы. Вырастая в более здоровых условиях, чем мы, горожане, лучше нас зная крестьянскую жизнь со всеми ее нуждами и невзгодами, они, захваченные идеей, могли дать и лучший материал для выработки идейных общественных деятелей, стойких и преданных своему делу. Такое почтительное отношение поддерживалось среди нас и циркулировавшими, правда, смутными, рассказами об участии вятских семинаристов в Казанском революционном деле начала 60-х г.г., связанном с польским восстанием. Рассказывали, что семинаристы, организованные выходцами из Вятской семинарии, Орловым, И. М. Красноперовым и др., непосредственными участниками Казанского дела, готовились к открытому выступлению в народе на поддержку казанцев, что для этой цели было заготовлено ими и оружие, которое потом, когда последовала расправа, будто бы было похоронено в семинарском пруду. По этому поводу были обыски и аресты среди семинаристов и даже среди преподавателей. В числе последних называли Красовского, владельца в Вятке книжного магазина, библиотеки и типографии, а также и нашего учителя Рождественского. После этой истории Вятскую семинарию подтянули, и она замерла на многие годы.

И вот, в целях более тесного сближения с семинаристами, во второй половине 1869 года в доме Глазырина и устроено было общежитие, в котором преобладал по преимуществу семинарский элемент. Из гимназистов же было лишь двое: я и товарищ мой по гимназии, Василий Максимович. Общежитие просуществовало с год, некоторые из участников его, как семинарист Князев, направились по окончании курса в Петровскую академию, где позднее Князев принял участие в народническом движении начала 70-х годов. Но бесспорно самым видным из семинаристов того времени по своему развитию и своему влиянию на товарищей был Евгений Овчинников, с которым я сблизился и совместно с которым, получив каким-то образом доступ в воинскую команду, обучал солдат грамоте и другим наукам, не избегая и приватных бесед и разговоров с ними.

По окончании семинарского курса Овчинников поступил на медицинский факультет Казанского университета, где он, не теряя связи с Вяткой, состоял в то же время в тесных отношениях с круж-

ком чайковцев, а в 1874 году вместе со многими другими был арестован.

Но не одна мужская половина учащихся подверглась тогда идейному воздействию, то же было и с женской половиной. Традиционная участь женщины уже не удовлетворяла многих из них. Явилось стремление к свету, к знанию и общеполезной общественной деятельности, а когда заговорили об открытии доступа для женщин в Военно-медицинскую академию, то некоторые из них ухватились за это, стали готовиться к поступлению в последнюю. Отношение огромного большинства семей того времени к женскому образованию, в особенности же высшему, было безусловно отрицательное. Ехать молодой девушке куда-то в большой город, совершенно одной, оставленной без всякого надзора и руководства, казалось прямым безумием, обрекающим дерзновенную на позор и даже погибель. Таким образом, перед каждой молодой девушкой, стремящейся вырваться из опостылевших рутинных условий существования, в которых протекала жизнь женщины, на свет и простор, стояли почти непреоборимые препятствия, и прежде всего в своей собственной семье, для одоления которых требовались поистине героические усилия. Поддержки же извне никакой, кроме разве той, какая могла быть морально оказана теми же учащимися — поборниками женского равноправия. И все же, несмотря на эти тяжкие условия, Вятка в 71—72 годах выделила из своей женской половины пионерок женского высшего образования в лице Е. И. Столбовой, Юл. Фармаковской, Машковцевой, М. Ф. Нагорской (впоследствии Рязанцевой), А. Д. Кувшинской, Рязанцевой и др., поступивших, по сдаче соответствующего экзамена, в Военно-медицинскую академию. Брешь, таким образом, была пробита, и за первыми пионерками последовали и другие, по большей части из воспитанниц епархиального училища, находившихся под духовным воздействием своей классной дамы, Кувшинской.

Но этим последним приходилось завоевывать свою независимость и право на разумное существование, пожалуй, еще с большими препятствиями, чем первым, и добывать свою свободу путем побега, увоза и даже путем фиктивных браков.

В бытность мою в 6 и 7 классах гимназии круг моих знакомых, с которыми меня связывали духовные узы, значительно расширился. Впервые, как уже сказано было выше, эту возможность общения с другой средой дал мне семейный дом Фармаковских, где я делал свои первые шаги в этой необычной еще для меня обстановке. В семейный же дом Машковцевых я вошел уже более зрелым и обломанным предыдущей практикой, а потому и чувствовал себя много свободнее и непринужденнее. Многолюдная, но зажиточная семья Машковцевых, уже лишившаяся отца, бывшего заводчика, занимала большой двухэтажный каменный дом по Николаевской улице, недалеко от Хлыновки, и жила вместе

с семьей глазовского либерального купца Колотова, женатого на одной из Машковцевых. Сам Колотов, состоя гласным губ. земства, был выбран, взамен устраненного Синцова, председателем губернской управы и должен был переселиться в Вятку, где и обосновался вместе с семьей Машковцевых. Последняя состояла из матери, двух взрослых дочерей, из которых старшая, энергичная и могучего сложения девица, готовилась для поступления на медицинские курсы, сына студента (такого же типа, как и его сестра), окончившего Вятскую гимназию еще в 1866 г., и целой серии подростков того и другого пола, впоследствии проявивших себя на разных поприщах общественной деятельности. Здесь, в этом обширном доме, нередко собиралась молодежь разных учебных заведений, не исключая и семинаристов, а когда наезжали студенты, то обычно бывали и они. В этом последнем случае собрания эти были особенно оживленны, так как в 69-м и 70-м годах столичное студенчество начинало уже жить интенсивной жизнью, что не могло не отражаться и на студентах, приезжавших в Вятку, а через них это повышенное настроение передавалось и нам. Я помню, что в эти именно годы студентами привезена была анкета, по которой надлежало собрать сведения о настроении народа, о степени готовности его к выступлению, ожидаемому некоторыми, в связи с предстоящим прекращением временно-обязательных отношений крестьян к помещикам. Сведений этих по анкете собрано, конечно, не было, так как большинство студентов были горожане и связей с деревней не имели, но возбуждения и разговоров анкета эта все же вызвала немало.

На этих собраниях у Машковцевых время от времени читались рефераты по различным вопросам; помню, и я готовил реферат по политической экономии, но не помню, был ли он зачитан в кружке. Здесь же я стал чаще встречаться с Кувшинской, жившей в то время уже в епархиальном училище, многочисленные воспитанницы которого жили тут же, в интернате училища. Скромная и серьезная, всегда спокойная и державшаяся чрезвычайно просто, Кувшинская невольно как-то привлекала к себе всем своим симпатичным обликом. С первых же встреч с нею я почувствовал к ней невольную симпатию, такое же впечатление производила она и на других.

Кувшинская интересовала меня еще и с другой стороны. Живя в тесном соприкосновении с многочисленным кадром учащихся девушек, запертых в четырех стенах под строгим надзором начальства, она имела полную возможность оказывать благотворное влияние на их духовное развитие. Материал же там был богатый.

Нам было уже известно, что у Кувшинской установились добрые товарищеские отношения со многими воспитанницами старших классов, которые не чаяли в ней души, что туда, при ее посредстве, стала проникать хорошая книга, а с ней и необычные для этого

учреждения запретные идеи, которые уже начали будоражить этот девичий улей, предназначенный исключительно для поставки жен лицам духовного звания. Все это крайне интересовало меня, мне хотелось поближе познакомиться с Кувшинской, но моя неиспарившаяся еще окончательно дикость и неумение попросту подходить к женщине мешали этому сближению. Но на этот раз выручила меня сама Кувшинская. Почему-то собрания наши у Машковцевых временно прекратились, и я довольно долгое время не имел возможности встречаться с Кувшинской. И вот однажды, когда я жил в нашем общежитии совместно с семинаристами, она сама осенним вечером пришла ко мне, чтобы повидаться и переговорить о ее делах в епархиальном училище. В ту пору посещение девушками квартир молодых людей было совершенно необычным явлением, а в ее положении молоденькой классной дамы закрытого женского учебного заведения—тем более. Неожиданный и довольно смелый по тому времени визит этот, свидетельствовавший, что и сама Кувшинская хотела меня видеть, как-то сразу разрушил те перегородки, которые еще существовали между нами, и помог нашему дальнейшему сближению. Пробеседовав часа два и переговорив с глазу на глаз обо всем, что нас интересовало, Кувшинская пригласила и меня побывать у нее, где она обещала познакомить меня с наиболее интересными своими воспитанницами, указав при этом подробно и путь, каким я мог бы добраться до ее помещения при наименьшей возможности встречи с ее грозным начальством. Понятно, что я не замедлил воспользоваться этим приглашением и вскоре же направился туда, благополучно достигнув своей цели, следуя сделанным мне указаниям. Визиты эти благополучно повторялись и дальше, вплоть до окончания мною гимназического курса. Посещая Кувшинскую, занимавшую две приличные и уютно обставленные комнаты, куда почти всякий раз приглашались и более близкие ей воспитанницы, я познакомился и с ними. Это был целый цветник, но уже горящий страстным желанием выбиться на широкий простор жизни, с не менее страстным стремлением отдать свои силы на служение народу. Тут были: мечтательная красавица Чемоданова, впоследствии Синегуб и член кружка чайковцев, сохранившая идеалы своей молодости и энергию до конца своих дней, несмотря на жестокие удары судьбы, преследовавшие ее в течение всей ее жизни; А. В. Якимова, бойкая и энергичная девушка, впоследствии видная народоволка, известная под фамилией Кобозевой, благополучно здравствующая и поныне и не утратившая ни веры, ни энергии, несмотря на годы и тяжелые испытания, которые ей преподнесла жизнь; Красовская, тоже принявшая впоследствии участие в революционном движении, но скоро затем погибшая; Овчинникова, сестра Евгения Овчинникова, и Кочурова, добившиеся с великими усилиями возможности получить медицинское образование и сделавшиеся потом

врачами; Мышкина, Юферева и некоторые другие, фамилии которых я теперь не припомню, с несколько иной и менее красочной их последующей судьбой.

В то время, еще небогатое искренно вовлеченными в круг новых идей молодыми людьми, в особенности же из среды женщин, всякое новое приобретение в этом смысле высоко оценивалось и искренно радовало нас. Поэтому образование в таком запретном учебном заведении, как епархиальное училище, ограждаемое от жизни и всяких идей настоящей китайской стеной, целого гнезда молодых девушек, всеми силами стремящихся к свету и знанию, было для Вятки целым событием, обещающим обильный урожай. Понятно, поэтому, что это ценное новообразование мы берегли, и я, посещая время от времени Кувшинскую, больше всего боялся, чтобы своими визитами не испортить дела. Тем же, видимо, были озабочены и сами епархиалки, бывавшие на наших импровизированных собраниях, которые, как передавала мне А. В. Якимова уже в самое последнее время, собирались даже запрятать меня в шкаф в случае какой-либо опасности. Но в шкафу мне так и не пришлось посидеть, и я даже не знал до рассказа Якимовой, что мне готовилась подобная участь.

Так длилось целых два года, когда молодая публика, искусно таясь от зоркого ока своей начальницы, имела возможность духовно расти и крепнуть под благотворным влиянием Кувшинской. Знала обо всем этом, кажется, даже и помогала, другая классная дама, Покрышкина, приятельница Кувшинской, с которой и я познакомился у последней. Но в конце-концов все же шило в мешке трудно было утаить, новый дух воспитанниц старших классов не мог не обнаруживаться хотя бы в каких-либо мелочах, а потому отношения между начальницей училища и Кувшинской обострялись все более и более, а к концу 2-го года пребывания последней в училище обострились до такой степени, что начальница уже поставила вопрос ребром: «или я, или Кувшинская!». Епархиальный совет училища, очевидно расположенный к Кувшинской, стоя перед поставленной дилеммой выбора одной из двух, склонялся, было, на сторону последней, предполагая даже назначить ее начальницей. Но крайняя молодость Кувшинской послужила серьезной помехой этому назначению, и она в 1871 г. вынуждена была покинуть училище и перейти в женскую гимназию на должность преподавательницы математики. Здесь она пробыла еще год до своего от'езда в Петербург для поступления в Военно-медицинскую академию. Уже будучи в этой последней, она получила возмездие за свою предыдущую деятельность: официальной бумагой она извещалась, что, по распоряжению министерства народного просвещения, на будущее время ей воспрещается всякая педагогическая деятельность где бы то ни было. Очевидно, занесенная в училище и непрекращавшаяся и дальше зараза, а затем и начавшиеся побеги

бывших епархиалок всполошили начальство и привели к открытию первоисточника зла, что, несомненно, и послужило поводом для вышеуказанного распоряжения мин. нар. просв.

Упоминая о лицах, примкнувших потом к революционному движению, я не могу умолчать еще о двух моих товарищах по гимназии — Леониде Попове и Семене Хохрякове. Первый из них — небольшого роста, застенчивый, но очень способный и симпатичный юноша, с философским складом ума, прекрасный математик, много читавший и легко разбиравшийся в сложных умозрительных вопросах, в практической же жизни был почти совершенным ребенком, почему товарищи не иначе называли его, как Леничка Попов, каковая кличка сохранилась за ним и впоследствии.

В последних классах он шел выше меня на один класс, но почему-то любил мое общество, любил делиться со мною своими мыслями о прочитанном, о своих планах на будущее и вообще по всем вопросам, волновавшим тогда нас. Окончив гимназию в 1870 г. с золотою медалью и получив земскую стипендию в 250 р., он в том же году поехал в Петербург, где и поступил в Технологический институт. В следующем году, когда я поступил туда же, Попов одно время жил со мною и стал вращаться в том же кругу, в каком вращался и я. Эта среда «чайковцев» заразительно действовала на Попова, невольно отвлекла его от занятий наукой, к которой он имел несомненную склонность, и втянула его в не совсем свойственную ему практическую область пропагандиста. Попов забросил институт и всецело, не входя в кружок, вместе с чайковцами отдался работе среди рабочих, а потом с тою же целью учительствовал в Торжке, где в конце 1873 г. и был арестован. Непрактичность Попова, мешавшая введению его в кружок, сказалась и здесь написанием не совсем конспиративного письма А. И. Корниловой, пересланного через жандарма, которому он доверился и который, вместо Корниловой, доставил письмо прямо в III отделение. Последнее, легко расшифровав письмо, присовокупило его к делу. Эта неудача доставила Попову много терзаний, больше же всего он боялся, что потеряет доверие и уважение своих товарищей по делу, которым он был предан и расположением которых дорожил. Выпущенный в 1876 г. из тюрьмы, которую он, видимо, переносил не легко, он, кажется, вскоре же эмигрировал за границу, где и началась его скитальческая жизнь, полная лишений и всяческих неудач. Для мало приспособленного к практической жизни человека это было неизбежно. Так же неизбежен был и печальный финал его жизни там, за границей, откуда ему так и не удалось уже выбраться. Несомненно, на ином, более соответствующем его склонностям и дарованиям пути и достижения Попова могли бы быть много значительнее, но таково уже было время, что повелительно толкало всех сколько-нибудь чутких

и совестливых молодых людей на путь революционный. Участи этой не избег и Попов.

Другой из моих товарищей, Семен Хохряков, с которым я вместе кончил курс гимназии, по своему социальному положению принадлежал к категории «кухаркиных детей» (сын сторожа). Это был тоже способный юноша, учился прекрасно и окончил курс с золотой медалью, но во всем остальном он был полной противоположностью Попову. С товарищами он не общался, но не заискивал и у начальства, в классе, даже в перемены, всегда сидел на своем месте, занятый каким-либо своим делом, и ни в каких играх и товарищеских предприятиях участия не принимал. Что он думал и что читал—никто не знал этого. Товарищи, несмотря на такую отчужденность от них Хохрякова, его не трогали и не обижали, а иногда даже обращались к нему за теми или иными раз'яснениями по заданным урокам. Коренастый, немного сутулый, с большой головой, всегда молчаливый и тихий, Хохряков был полной загадкой для всех нас, разгадать которую в конце-концов мы уже и не пытались. Средств у Хохрякова для продолжения образования, конечно, не было (он стремился на математический факультет), а земство неохотно давало стипендии лицам, стремящимся к изучению чистой науки, а потому Хохрякову лишь в 1873 г. удалось получить эту стипендию и поступить в Петербургский университет. В 74 г., когда я был уже арестован, у этого-то отшельника и человека, еще менее приспособленного к суровым испытаниям, которым подвергалась тогда молодежь, была квартира, в которой выборгские рабочие собирались чайковцами с агитационными целями. При начавшихся арестах, само собой, был арестован и Хохряков, который не вынес длительного тюремного заключения и сошел с ума. Впоследствии его переправили в Вятское психиатрическое отделение губернской земской больницы, где он, много лет спустя, и скончался.

VIII.

Ссыльные в Вятке. Малочисленность их в 60-х годах. Отношение к ним и учащимся губернской администрации.

Вятка с давних времен была местом ссылки. В старину ссылались сюда опальные бояре и воеводы, и лишь с первой половины прошлого столетия было положено начало высылки в Вятку представителей нарождающейся русской интеллигенции, чем-либо возбудивших неудовольствие правительства. Так, в 30-х годах были высланы Герцен и Витберг, в 1849—Салтыков-Щедрин, а в 1860 г.—тверской предводитель дворянства Унковский, скоро, впрочем, освобожденный. В 60-х же годах довольно большой контингент ссыльных дали поляки после восстания 1863 года. В большинстве это были уже пожилые люди, видимо, аристократического происхождения, образованные, часто музыканты, резко выделявшиеся всем своим видом и костюмом от обывательской публики. При встречах с ними на улицах города как-то невольно приходилось останавливать на них свое внимание, хотя в ту пору я и был еще совершенным малышом. Жили они обособленно, при чем некоторые из них все же давали уроки музыки и языков. Но как-то все они довольно скоро исчезли из Вятки, за исключением лишь едва ли только не двух—Якубовского и Авейде. Оба они прочно осели в Вятке и обзавелись семьями. Якубовский, кажется, бывш. рабочий, занялся кондитерским делом, впоследствии же имел собственную фабрику и был одним из богатых людей в Вятке, нередко жертвовавшим довольно значительные суммы на разные благотворительные дела. Не отказывался он и от помощи политическим ссыльным, и от взносов в кассу политического Красного Креста. Авейде же, по окончании ссыльного срока, занялся адвокатурой и был первым присяжным поверенным в Вятке. Как передавали, он играл очень видную роль в польском восстании, был приговорен даже к виселице, но за не совсем стойкое поведение на следствии и суде был помилован и сослан в Вятку. Вероятно, это обстоятельство и помешало ему, когда была уже возможность, вернуться на родину. Это был небольшого роста, несомненно

умный и образованный человек, с которым я познакомился уже много позднее, когда в 90-х годах возвратился из своей ссылки. Авейде и умер в Вятке от рака языка после нескольких, следующих одна за другой через известные промежутки времени, операций, в конечном итоге лишивших его способности речи. Благодаря своему бескорыстию и доступности для бедноты, он пользовался широкой популярностью среди населения.

После повстанцев-поляков лишь через 5 лет, а именно в 1868 г., в Вятке появился новый ссыльный, известный издатель Фл. Ф. Павленков, судившийся перед этим в Петербурге за издание им сочинений Писарева. Павленков тоже вел уединенную жизнь, и мы, молодежь, знали о нем очень мало, и то по слухам. Пребывание Павленкова в Вятке ознаменовалось, но уже много позднее, изданием в 1877—78 г.г. двух сборников под общим заглавием «Вятская Незабудка», за которую он снова судился и был сослан уже в Ялуторовск, Тобольской губернии. Оба эти сборника, в составлении которых принимали участие и местные люди, в том числе и известный педагог и публицист, священник Н. Н. Блинов, были лишь собранием корреспонденицй, в разное время и разными лицами написанных и напечатанных в столичных и казанских газетах. Каждая из этих корреспонденций, взятая отдельно, сама по себе ничего, конечно, ужасного не представляла, но, собранные вместе, они уже давали красочную картину темных сторон местного управления и быта. Появление «Вятской Незабудки», кстати сказать, широко распространившейся среди местного населения, вызвало немалое волнение в административных кругах, почувствовавших себя обиженными и оскорбленными, а в результате—новый суд над издателем, новая высылка и из'ятие из обращения «Вятской Незабудки», сделавшейся теперь библиографической редкостью.

За Павленковым последовал Копиченко, кажется, юрист по образованию, жизнь которого в вятской ссылке протекала незаметно для нас. Он также осел в Вятке, обзавелся даже собственным небольшим домиком, который по завещанию оставил городу для призрения в нем лиц, бывших в домашнем услужении и потерявших трудоспособность.

Таким образом, 60-е годы не обогатили Вятку ссыльным элементом, и те, что время от времени попадали к нам, стояли в стороне от подрастающего поколения и не оказывали на него непосредственного влияния. И лишь с 1870 г. в Вятке начинают появляться ссыльные третьей категории, а именно—непосредственные участники начинавшегося в России революционного движения или соприкасавшиеся с этим последним. Немного было и их в первые годы, но с ростом революционного движения росло и их число, достигнув своего апогея во второй половине 90-х годов, когда ссыльными не только была переполнена сама Вятка, но и все

уездные города губернии. Тогда и влияние ссылки было огромно и сказывалось оно не только на подрастающем поколении, но и на всей общественной жизни и, в частности, на земских учреждениях, впитавших в себя массу ссыльного элемента в качестве служащих.

Первым в Вятке из этой категории ссыльных был Вас. Фед. Трощанский, студент Петербургского технологического института, высланный по студенческим делам. Это был уроженец юга, яркий брюнет, умный и развитой, который, вскоре же по своем прибытии в Вятку в 1870 г., стал вращаться в нашем кругу и был почти постоянным участником всех наших собраний и увеселительных поездок за город. Жил он уроками, между прочим, занимался по физике и математике с Кувшинской, подготовлявшейся к сдаче экзамена при предстоящем поступлении ее в Медицинскую академию. Занятия эти имели и свои последствия для самого Трощанского: он увлекся своей молодой и способной ученицей, но не встретил в последней соответствующего отклика, и дело между ними не сладилось, что не помешало, однако же, их дружеским отношениям в дальнейшем. Кажется, подготовлял он и других вятских девиц, готовящихся к поступлению на те же курсы. Трощанский пробыл в Вятке до осени 1873 г., когда его перевели в Курск, а оттуда в 1874 г. перевели сперва в Мезень, а затем в Холмогоры. Из Холмогор он осенью 1876 г. бежал. Последующая его судьба—обычная для большинства вовлеченных в революционное движение. Примкнув во 2-й половине 70-х годов к обществу «Земля и Воля», он в 1878 г. снова арестовывается и предается суду по делу Веймара. Приговоренный в 1880 г. на 10 лет каторги, Трощанский в 82 г. попадает на Кару, когда меня там уже не было, а в 86 г. уходит на поселение в Якутскую область и заканчивает там свой суровый жизненный путь в 1898 г. Последняя наша встреча с Трощанским была в 72 г., когда я, уже будучи студентом, приезжал в Вятку на каникулы. Настроение его тогда было сумрачное, и он серьезно начинал тяготиться жизнью в Вятке, откуда уже успели раз'ехаться или готовились к от'езду все его более близкие знакомые.

За Трощанским в следующем 1871 г. последовали кузены Рязанцевы, оба привлекавшиеся по Нечаевскому делу и высланные после процесса в Вятку. Будучи коренными вятичами, они и осели здесь. Один из них, Иван Владимирович, впоследствии долгое время состоял бухгалтером губернской управы, принимал в то же время участие в общественной жизни города, женился на женщине-враче М. Ф. Нагорской и обзавелся собственными домами. Последние же годы своей жизни в Вятке он почти совершенно отошел от общественной деятельности.

Ссылка последующих 25 лет, когда она, в особенности в 70-х годах, значительно возросла, не была мне известна, так как этот долгий

промежуток времени я и сам был совершенно оторван от Вятки. О ссылке 90-х годов речь еще впереди.

Что касается общих условий, в которые ставились ссыльные, то их в то время, о котором идет речь, нельзя назвать особенно тяжкими. Административная практика еще не успела выработать того кодекса о надзоре и поведении ссыльных, каким обогатилось последующее время. Тогда не требовалось обязательной еженедельной или даже ежедневной явки ссыльного в полицию, не ставилось никаких преград для знакомства с обывателями, не воспрещались и занятия, даже и педагогического характера. Надзор за ссыльными вообще был слаб или, скорее, его совсем не было.

Не вмешивалась губернская администрация и в жизнь учащихся, предоставляя надзор за ними всецело училищному начальству. И за всю свою гимназическую жизнь я помню лишь один случай такого вмешательства, когда я был еще в 4 классе. Как-то возвращаясь с своими товарищами с прогулки за город, мы встретили проезжавшего по улице губернатора и не поклонились ему. Губернатор, видимо, обозленный такой непочтительностью, пожаловался училищному начальству и потребовал примерного наказания виновных. Но фамилий наших он не знал и мог указать лишь один признак, по которому можно было бы добраться до виновных, это—серая, солдатского сукна, шинель, в которую был одет один из провинившихся. В гимназии по столь криминальному случаю поднялся переполох, и на другой же день, когда все учащиеся явились в гимназию для обычных занятий, в раздевальной начался тщательный осмотр всей верхней одежды гимназистов, где и была найдена злополучная шинель, принадлежавшая ученику Зорину, участнику нашей прогулки. Я уже не могу припомнить теперь, что последовало за этим открытием для самого Зорина, но остальные участники прогулки, насколько припоминаю, выданы им не были и не пострадали.

У губернской администрации того времени были другие, более серьезные, привлекавшие ее внимание дела чем ссыльные, которых было и мало и которые жили тихо и спокойно, или учащиеся, которые внешне ничем не заявляли о себе. В то время едва ли не больше всего беспокоили ее народившиеся земские учреждения, все еще стремившиеся выйти из установленных для них рамок и пытавшиеся внести живую душу в земское дело, чего более всего опасалась центральная власть, уже взявшая к тому времени твердый курс назад.

IX.

Последние каникулы в Орлове. Чтение первого тома Лассаля и влияние его на меня. Выбор высшего учебного заведения. Получение земской стипендии. Франко-Прусская война и Парижская Коммуна. Последняя экзаменационная страда. С гимназией покончено. Радость освобождения. Планы на будущее, которые не совпадают с моими обязанностями в отношении семьи. Несколько слов о Вятке. Мой от'езд в Петербург.

Летние каникулы в 1870 г., когда я уже перешел в 7 класс, я, по обыкновению, проводил в Орлове, в своей семье, в которой к этому времени произошли значительные перемены: так, старшая сестра, Лидия, уже вышла замуж за казначейского чиновника, А. А. Лопатина, и жила вместе с мужем у нас же; вторая сестра, Юлия, была уже в невестах, а брат Аркадий, самый бойкий из нас, закончив обучение в приходском и уездном училищах, готовился к поступлению в Вятскую гимназию. С этим последним у меня установились приятельские отношения. Мальчик он был умный и любознательный, а потому между нами нередко возникали оживленные разговоры на разные темы, он же почти всегда сопровождал меня на охоту и рыбную ловлю; следующий брат, Виктор, внешне очень походивший на отца, тоже уже учился и выказывал явные склонности технического характера. Подрос в это время и самый младший из братьев, Иван, которого я часто видел прикурнувшим где-нибудь с книжкой, видимо, всецело поглощенным ее содержанием. В то время в городе была открыта уже публичная библиотека, и встретить в семье книгу было уже не редкость; появилась она и в нашем доме. Мать наша, попрежнему бодрая и энергичная, целый день обычно была в хлопотах. Большой нужды в семье тогда уже не ощущалось.

Некоторые перемены наблюдались и в обывательской жизни самого города. Новый суд, земское и городское самоуправления внесли некоторое оживление и привлекли в него свежих людей, влияние которых не могло не сказаться на обывательской среде. Понемногу пробуждался и интерес к вопросам обществен-

ного характера. Но все это было еще в зачаточном состоянии, и г. Орлов к этому времени пока дал лишь всего одного студента в лице Ив. Маковеева, впоследствии военно-медицинского инспектора, да двух-трех учащихся в средних учебных заведениях г. Вятки.

Уезжая на каникулы, я захватил с собою книги, в числе которых был 1-й т. сочинений Лассаля в поляковском издании, только-что полученный в Вятке; по приезде домой я тотчас же и принялся за него. Книга эта произвела на меня огромное впечатление, читал ее я взасос, почти не отрываясь. Яркое и сжатое изложение, обилие новых для меня идей, казалось, непоколебимо обоснованных, захватило меня совсем, и я долгое время находился под обаянием прочитанного. Наибольшее впечатление произвели на меня «Идея рабочего сословия» и «О сущности коституции». В целом же эта книга дала мне возможность наглядно ощутить все значение политической свободы, при которой оказывалась возможной столь яркая агитационная и организационная деятельность, как лассалевская, поднимающая самосознание и дух целого обездоленного класса и указующая ему пути для его освобождения. Если бы, невольно думалось мне, что-либо подобное было возможно и у нас, в России, то какие бы блестящие результаты могли получиться в самом непродолжительном времени! Поэтому горечь от сознания, что ничего похожего на европейские условия у нас нет, только делалась острее и ощутительнее, а вместе с тем укреплялось и сознание в неизбежности и настоятельности борьбы, прежде всего, за лучшие политические условия, открывавшие простор для мысли и общественной деятельности. В такой же стране, как Россия, сугубо демократической, с колоссальным преобладанием крестьянского населения, при изменившихся политических условиях, и эта мысль и общественная деятельность, думалось мне, неизбежно должны были направиться по демократическому руслу и повести к перестройке страны на демократических началах, где ни духовные, ни материальные интересы масс уже не могли бы быть забыты, как они забываются теперь. След, оставленный во мне чтением Лассаля, уже никогда не изглаживался; Лассаль помог мне многое уяснить и осмыслить и в области русской действительности, а также и в определении путей, по которым следует направить свою будущую деятельность.

С переходом моим в 7 класс настроение мое заметно повысилось. Чувствовалось уже, что скоро, скоро, еще какой-нибудь год, и я разделаюсь совсем с опостылевшей мне гимназией, с ее в большинстве футлярными педагогами и порядками, и вырвусь, наконец, на широкий простор столичной жизни, где уже закипала идейная жизнь и имелись в наличности преданные делу народа люди, которые меня влекли к себе. В ожидании этого желанного

будущего, которое было уже не за горами, время шло быстро и незаметно. Наступило уже и время решать вопрос: куда же направить стопы свои по окончании курса—в Москву или Петербург? В Москве была Петровская земледельческая академия, которая в будущем давала мне возможность встать в более близкие отношения к крестьянству, а в Петербурге—технологический институт, приближавший меня к рабочему классу. Тот и другой слои населения, работать в интересах которых я собирался, почти одинаково интересовали меня, но в конечном результате я все же предпочел Петербург с его технологическим институтом. Чашка весов склонилась на сторону последнего, несомненно, потому, что сам Петербург привлекал меня еще и тем, что идейная жизнь там была богаче и шире, чем в Москве, там же были и лучшие из студентов-вятичей, с которыми духовно я был уже связан, туда же стремилось и большинство моих товарищей по классу.

Уже в начале осени я подал прошение о назначении мне земской стипендии для продолжения образования с технологическом институте. Последнее было поддержано орловским уездным земством, а в декабрьскую сессию губ. собрания она уже была назначена мне в размере 250 рублей. Я вместе с Кувшинской присутствовал на том заседании губернского собрания, где решалась участь моей стипендии, от назначения которой зависела и моя поездка в Петербург. Без стипендии эта последняя едва ли была бы возможна, так как средств у семьи на содержание меня в Петербурге не было. Понятна, поэтому, та радость, с какою оба мы встретили это решение собрания, обеспечивавшее выполнение моего заветного стремления.

Последний 70—71-й учебный год, благодаря европейским событиям, переживался нами довольно бурно и при большом оживлении. Там, на далеком Западе, шла ожесточенная Франко-Прусская война, которая взбудоражила и вятскую публику и нас, гимназистов. Несмотря на то, что к Наполеоновской империи в громадном большинстве отношение было отрицательное, мы все же всецело были на стороне Франции и желали ей победы, памятуя, что она всегда была проводником великих идей и творцом не менее великих революций, будивших мир, в том числе и нашу отсталую родину. Мы внимательно следили за ходом событий, оценивали их; при оценке тех или иных событий нередко возникали и жаркие прения. Падение Наполеоновской монархии и образование республики горячо приветствовалось нами, при чем выражалась уверенность, что республиканская Франция не даст себя в обиду. Но велико было и разочарование, когда стало очевидным, что ничего подобного ожидать нельзя, что правительство республики, опасаясь собственного своего, взбудораженного военными неудачами народа, напротив, готово было мириться не

только с поражением, но даже и территориальными уступками и огромной контрибуцией, лишь бы только скорее заключить хотя бы и позорный мир.

Парижская Коммуна, порожденная разгромом Франции немцами и недоверием парижского народа к сомнительно республиканскому правительству, уже не вызывала в нас того единодушия, какое наблюдалось ранее к перипетиям предыдущей борьбы. Скудно освещаемая, и притом по преимуществу враждебной Коммуне прессой, она и в обществе и среди нас вызвала уже далеко не одинаковое к себе отношение, пожалуй, даже в большинстве отрицательное. Ей ставилось в вину то, что она, подняв восстание, когда война еще не была окончена, только помогает немцам и в то же время подрывает престиж республиканского правительства, льет воду на мельницу монархистов. И лишь весьма немногие были на стороне коммунаров, с живейшим интересом следили за ходом их борьбы с версальцами и были искренно возмущены жестокой расправой с повстанцами после поражения Коммуны. Эти полные драматизма события, разыгравшиеся во Франции, без сомнения не остались без влияния на рост революционного настроения и у нас в России, а вместе с тем они дали и наглядный урок, что республика сама по себе еще не обеспечивает направления деятельности республиканского правительства в интересах широких народных масс, если эти последние еще малосознательны и не умеют постоять за себя.

Вот и снова весна, а вместе с ней и новая страда—экзамены, но на этот раз уже последние. На душе светло и радостно от перспективы скорого освобождения, а вместе с тем невольный трепет охватывает тебя за благополучный исход почти каждого экзамена. Необходимо усиленно готовиться, а тут, как на зло, манящие к себе стоят красные дни, которыми уже и упиваются все от мала до велика, в том числе и студенчество, приехавшее на каникулы с целой кучей животрепещущих новостей. От всего этого экзаменационная горячка делается еще тягостнее, приходится разрываться и не досыпать ночей. И так тянется май и почти весь июнь—лучшее время в году. Но всему бывает конец, кончились и наши выпускные экзамены. С плеч точно гора свалилась, чувствуешь себя необыкновенно легко, кажется, что у тебя какбудто выросли крылья. На радостях как-то даже забываешь все то тяжелое и гнетущее, что было в прошлом, или вспоминаешь об этом без злобы и раздражения, как о забавных эпизодах минувшей гимназической жизни.

Теперь, когда гимназия уже стала делом прошлым, можно уже спокойнее и беспристрастнее произвести оценку того, что она в общем дала. И в конечном итоге, взвешивая все плюсы и ми-

нусы, все же приходится быть признательным ей. Как-никак, она дала кое-какие знания, а вместе с тем и обеспечила возможность дальнейшего образования; главное же, она возбудила интерес к знанию и духовной жизни и открыла широкие идейные горизонты, дававшие смысл и радостность самой жизни. Правда, далеко не во всем этом непосредственно повинна сама гимназия, преследовавшая, в особенности в последние годы, всякое вольномыслие, но без ее содействия, хотя бы и косвенного, все это едва ли бы было достижимо. Поэтому, получив свои аттестаты вместе с пожеланиями успехов на нашем жизненном пути, мы не сожгли наших гимназических учебников, как это нередко водилось в подобных случаях, а, скромно отпраздновав окончание курса, каждый по-своему предались вполне заслуженному отдыху, а затем и сборам к предстоящей поездке в столицы (из тринадцати окончивших гимназию девять человек собирались в высшие учебные заведения).

Я не торопился со своим от'ездом в Орлов; хотелось в качестве уже совершенно свободного человека пожить еще в Вятке, где было столько близких людей и где с приездом студенчества жизнь сильно оживилась. Хотелось подробнее ознакомиться с тем, что творится в столицах, чем там живут и куда направляет свои симпатии молодая Россия, не связанная еще с Россией официальной. И рассказы приехавших не охлаждали пыла и не гасили веры в нарастание общественного оживления, несмотря на продолжавшийся очевидный реакционный уклон правящих сфер. Все рассказы подтверждали, что брожение в студенческих кругах не прекращалось, основные вопросы о народе и лучших формах служения ему не сходили с очереди, а предстоящий Нечаевский процесс лишь подливал масла в огонь и волновал не только молодежь, но и либеральные общественные круги. Все это поддерживало повышенное настроение и поднимало интерес к предстоящей в скором времени поездке в Петербург, где я надеялся окончательно выяснить все волнующие меня вопросы и определить свою дальнейшую судьбу.

В то время всякая вера в официальную Россию, взявшую определенно твердый реакционный курс, была у меня уже окончательно потеряна, как она была потеряна и у передовой части русского общества. От правительства тогда уже ничего не ждали, кроме новых ограничений и стеснений во всех областях жизни, а потому все мои симпатии были на стороне недовольных, бунтующих и протестующих, занятых не на словах только, но и на деле изысканием путей, которые могли бы привести в конечном итоге к устранению основного зла русской жизни—азиатской государственности. Как и когда это невероятно огромное дело должно совершиться—точно себе я не представлял, полагая, что Петербург поможет мне разобраться в этом вопросе. Для меня

было очевидно лишь одно, что это надо сделать, без этого страна обречена на жалкое прозябание, материальное и духовное умирание. А когда?.. Не все ли это равно, раз иного выхода нет!

В связи с таким настроением и уклоном мысли вопросы карьеры совсем не занимали меня, не строил я себе и матримониальных планов, несмотря на возрастающее сближение с А. Д. Кувшинской. Брак, а затем семья, думалось мне, неизбежно могли только связать по рукам и ногам и лишить возможности располагать собою в соответствии с своими влечениями. К тому же брак я допускал лишь по взаимной любви, а вызвать таковую к себе, не обладая особо привлекательными свойствами мужчины, я не рассчитывал. Поэтому и возрастающее сближение и взаимное тяготение между мной и Кувшинской об'яснял не зарождающимся обоюдным личным чувством, а лишь идейными и деловыми мотивами, в соответствии с которыми, а также и с общим моим почтительным отношением к женщине, и устанавливались мои отношения к Анне Дмитриевне.

Прожив в Вятке две-три недели после выпускных экзаменов, я выехал в свой Орлов, где на этот раз пробыл недолго, так как надо было спешить в Петербург. В Орлове было все то же, никаких существенных изменений ни в самом городе, ни в семье не произошло. В последней, особенно со стороны матери, наблюдалось лишь некоторое беспокойство в связи с предстоящей моей поездкой в столицу, где ей чудились всякие неожиданности и опасности. Как мог, я старался успокоить ее, но мои усилия мало помогали делу. Велик был страх ее перед большим городом, где столько разных соблазнов, могущих увлечь и погубить ее старшего сына и разрушить ее надежды на помощь, которую она, естественно, ждала от него. Положение же семьи попрежнему было мало обеспеченное, к тому же надо было учить еще трех мальчиков, а никаких определенных средств у матери не было, кроме помощи дяди, которая по тем или иным причинам могла во всякое время прекратиться. Все это я не мог не понимать и не сознавать своей естественной обязанности в отношении семьи, но уверенности, что эту мою обязанность я выполню, у меня, в виду направления моих мыслей и стремлений, уже не было. Этот разлад между повелительным долгом перед родиной и семьей, примирить который не было возможности, причинял мне немало моральных терзаний, которые в значительной мере смягчались лишь тем, что все это—еще впереди, и, может быть, дело как-нибудь обойдется и без трагических коллизий.

В самом начале августа, после трогательных прощаний и напутственных пожеланий, я покинул Орлов и выехал в Вятку, чтобы оттуда уже двинуться в Петербург. В Вятке, к которой я за 9 лет жизни в ней привык и которую, пожалуй, полюбил, я пробыл еще несколько дней, чтобы повидаться кое с кем и рас-

проститься. Но прежде, чем покинуть ее, я позволю себе сказать несколько слов о самом городе.

Расположенный на крутом берегу р. Вятки и разделяемый глубоким оврагом на две части, почти равные, г. Вятка, по преимуществу деревянный, с его 20-ю церквами, массой зелени и красивым видом на р. Вятку и заречную сторону, в общем имел, в особенности в сухую погоду, довольно привлекательный и живописный вид. Город, в обычное время тихий и патриархальный, с населением в 22—23 тысячи, носил в то время бюрократический характер, хотя в нем шла и довольно оживленная торговая жизнь, в особенности же в базарные и ярмарочные дни, когда в огромном количестве с'езжались окрестные крестьяне и заполняли собою город, придавая ему характер чисто крестьянского города. Эта особенность Вятки уже много лет спустя поразила и Родичева, приезжавшего, если не ошибаюсь, в 1916 году в Вятку для чтения лекции о Герцене, который, передавая мне свои впечатления о ней, высказывал, что здесь, в Вятке, особенно наглядно чувствуется крестьянский характер страны, что, без сомнения, не могло не сказаться и на всем последующем мировоззрении Герцена, впитывавшего вятские впечатления в течение нескольких лет своей ссыльной жизни в ней.

Что же касается промышленной жизни, то, кроме кустарной, не было почти никакой. Торговые и всякие иные сношения совершались по плохо содержимым грунтовым дорогам, так как железных дорог еще не было, не было и пароходного сообщения по р. Вятке, если не считать одного или двух буксиров, пущенных по Вятке Т. Ф. Булычевым. Культурные потребности населения города по тому времени удовлетворялись сравнительно прилично: в городе имелись мужская и женская гимназии, духовная семинария, мужское духовное, женское епархиальное и уездное училища да два-три приходских. Имелись в городе еще естественно-исторический и этнографический музей и две частных и одна публичная библиотека. Последняя, основанная еще в 1837 году и открытая речью ссыльного Герцена, в 60-х годах, благодаря заботам Алабина, представляла собой поистине культурный уголок с значительным по тому времени запасом книг, журналов и газет, для пользования которыми не только взрослым, но и учащимся, не ставилось еще никаких преград. Обладавшая хорошим собственным помещением и прилично и удобно обставленная, библиотека эта имела весьма значительный круг подписчиков и охотно посещалась любителями чтения. Впоследствии же, когда светобоязнь сделалась господствующим течением и библиотека попала в исключительное ведение губернатора и его ближайших чиновников, она пришла в полный упадок и превратилась в мертвое, чисто бюрократическое учреждение, возродившееся лишь с революцией 1917 г., когда она

из библиотеки имени Николая I, по постановлению обновленной городской думы, превратилась в библиотеку имени А. И. Герцена.

Вообще нужно заметить, что интеллигенция в Вятке в то время была еще очень малочисленна и на общественную арену не выходила, поэтому никакой общественной жизни в ней и не было. За время моей гимназической жизни я помню лишь одно публичное выступление доктора Михайлова, прочитавшего лекцию, кажется, о вреде курения табака. Городское самоуправление в этом направлении ничего не прибавило и не внесло живой струи в общественную жизнь города. Купечески-мещанский состав городской думы по своей малокультурности и своекорыстию неспособен был на что-либо подобное. И лишь молодое земское самоуправление представляло исключение. Демократическая, общественная мысль и инициатива нашли там приют и стремились проявить себя в различного рода мероприятиях. И в земство потянулись все наиболее деятельные и живые интеллигентные силы, но серьезной препоной уже и тогда на пути их деятельности был недостаток средств, с одной стороны, и административные рогатки— с другой. Но деятельность земства только еще начиналась, большинство мероприятий его, получивших впоследствии огромное развитие, лишь только намечалось, земский аппарат был слаб и интеллигентных сил было мало. И лишь много лет спустя земству, вопреки всяким препятствиям, стоявшим на его пути, удалось развернуть свою деятельность, благодаря своему многолюдному третьему элементу, и сыграть огромную культурно-просветительную роль, а вместе с тем косвенно и подготовить почву для восприятия революционных идей и осуществления самих революций.

Таким образом, местная общественная жизнь немного давала пищи для подрастающего поколения, обучавшегося в разных учебных заведениях, и нам приходилось почти исключительно вариться в своем собственном соку и своими силами воспитывать себя и намечать, каждый по своему разумению и склонностям, дальнейшие жизненные пути. Но мы мало этим огорчались, ибо были книги, которые заменяли нам живых людей и в то же время служили предметом оживленного обмена мнениями между нами. Старшее поколение, даже интеллигентное, но уже осевшее и успокоившееся, не могло удовлетворять многих из нас, намечавших себе более широкие жизненные перспективы. Вятка того времени и была мила нам именно той интенсивной духовной жизнью среди части учащейся молодежи, которая особенно заметно проявлялась в эти последние годы моей жизни в ней. И это красило нашу жизнь, вселяя в то же время и чувство признательности и к самой Вятке, несмотря на многие отрицательные стороны жизни в ней.

Почти перед самым моим от'ездом в Петербург я получил через вторые руки от Маковеева, только-что окончившего Военно-медицинскую академию, нашего соседа по г. Орлову и моего репетитора, подготовлявшего меня в гимназию, дружеское предупреждение остерегаться в Петербурге знакомства с кружком неблагонадежных лиц, поселившихся этим летом на даче (чайковцы), которое не безопасно и может погубить и меня самого. Предупреждение это попало прямо в цель, так как в этом кружке был и мой старый приятель по Вятке, Н. К. Лопатин, которого я уважал и ценил и которого в первую очередь собирался повидать по приезде в Петербург. Однако, эта благожелательная предупредительность не только не ослабила моего интереса к людям, среди которых находился и Лопатин, а скорее лишь подогрела интерес к ним.

Покончив все свои дела в Вятке и распростившись с кем следует, я в первой же половине августа выехал в Петербург.

ЧАСТЬ II.

Кружок чайковцев.

Тюрьма и суд.

1871—1878 г.г.

I.

В дороге. Казань, Нижний, Москва, Петербург.

Путь из Вятки на Петербург в те времена был длинный и сложный. Обычно ехали на Казань через Нолинск и Уржум на лошадях, каковой путь измеряется в 400 с лишком верст. Отсюда Волгой на Нижний, а дальше уже по железной дороге через Москву прямо к конечному пункту путешествия—Петербургу.

Погода стояла чудесная, а потому путешествие на лошадях было одно удовольствие, в особенности, если принять во внимание, что это было мое первое большое путешествие по совершенно неведомым мне краям. По мере продвижения к югу и самая природа заметно менялась: хвойные леса севера постепенно переходили в лиственные, а поля, особенно в Уржумском уезде, были покрыты цветущей гречихой, представлявшей красивое зрелище, совершенно необычное для северной части губернии, где гречихи не сеют.

Немалое и отчасти жуткое впечатление произвел на меня проезд в том же Уржумском уезде с ямщиком татарином по девственному лесу, тянувшемуся сплошным массивом на 50—60 верст, где не было никаких поселений, кроме почтовой станции, содержимой тоже татарином.

Весь путь мой от Вятки до Казани протекал самым благополучным образом при прекрасной августовской погоде. И лишь однажды, на одно мгновение, пришлось пережить чрезвычайно жуткое чувство, когда на одном переезде мой ямщик-полуребенок, разогнавший лошадей, не заметил на дороге ползающего ребенка и ехал прямо на него. Совершенно случайно я увидел это, но уже слишком поздно, когда ребенок был на расстоянии какой-нибудь полусажени от скачущих ему навстречу лошадей. Я вскрикнул, чтобы остановить их, но ребенок уже был под лошадьми, а затем и под тарантасом. С ужасом я обернулся, чтобы увидеть страшную картину раздавленного нами ребенка, но каково же было мое удивление и радость, когда я увидел его не только совершенно не поврежденным, но даже не плачущим и продолжающим заниматься своим делом. Очевидно,

умные лошади поберегли ребенка, а колеса тарантаса случайно не задели его.

Ехал я безостановочно, сменяя лишь лошадей на станциях. И только в Нолинске остановился на несколько часов, чтобы повидаться с известным земским статистиком Романовым, который в то время секретарствовал в Нолинской земской управе. На третьи сутки вечером я уже под'езжал к Казани. Это был первый большой и оживленный, но и довольно грязный город на моем пути; ямщик привез меня в самый центр Казани, к номерам Щетинкина, где я и остановился. В тот же вечер я отправился осматривать город. Осмотр этот продолжался и на следующее утро, после чего, взяв извозчика, я поехал за 7 верст на пристань. Здесь я нашел еще более оживленный поселок с массой пристаней и пароходов и впервые увидел мать русских рек—воспетую Некрасовым Волгу. По случаю Нижегородской ярмарки на Волге было необычайное оживление: пассажирские и грузовые пароходы двигались целыми караванами вверх и вниз, оглашая воздух почти беспрерывными свистками. Столь необычная и невиданная мною картина произвела на меня сильное впечатление.

Взяв билет 3 класса, я расположился на палубе, с которой уже не сходил до самого Нижнего, любуясь волжскими берегами и самой Волгой. Наш пароход был переполнен пассажирами всякого звания и разных национальностей, но по преимуществу торговым людом, спешившим на всероссийское торжище.

На другой день мы были у Нижнего. Уже издали бросалось в глаза несметное количество судов всякого рода, стоявших и двигавшихся, слышался непрерывный гул голосов и шумов пристанской жизни. Самый город, красиво расположенный на крутом берегу, был сравнительно тих и спокоен, но зато заречная ярмарочная часть его, представляющая собою низину, затопляемую весной, кипела бурною жизнью.

Бегло осмотрев самый город и его ярмарочную часть, я направился на переполненный публикой Нижегородский вокзал. Здесь при виде предостерегающей и бросающейся в глаза надписи: «Берегите карманы!» я схватился, было, за них, но там все оказалось благополучно. С трудом получив билет и поместившись в вагоне 3 класса, я почти не отходил уже от окна, любуясь развертывающимися, по мере нашего продвижения, видами, которые значительно отличались от вятских: там у нас подлинное крестьянское царство, нарушаемое лишь изредка небольшими городскими поселениями; здесь же налицо были уже все признаки и промышленной жизни, о чем свидетельствовали попадающиеся на пути фабрично-заводские поселки. Весь подмосковный район имел эти отличительные признаки, а также и наибольшую густоту населения и наличие культурных уголков в виде железнодорожных построек и многочисленных дачных поселений.

В Москве остановка. Хотелось хотя бегло осмотреть ее и самолично познакомиться с ее достопримечательностями. Огромный, оригинальный и шумный полуазиатский город, с его «тысячью церквей» и лабиринтом улиц, недостаточно чистоплотный, но безмерно богатый,—не мог не поразить такого провинциала, как я. Я бегал по ней, как говорится, высуня язык, побывал, конечно, в Кремле, в старинном царском дворце, видел царь-колокол и царь-пушку и многие другие памятники старины, а затем рискнул даже забраться напиться чаю в шикарный купеческий трактир, где московское купечество из галлереи типов Островского, под звуки оркестриона, предавалось до седьмого пота чаепитию, а, вероятно, вместе с тем и деловым разговорам коммерческого характера.

Так как погода попрежнему была чудесная, то меня соблазнили с'ездить в Петровско-Разумовское, где впоследствии мне довольно часто приходилось бывать по делам кружка. Здесь, по осмотре некоторых учреждений Петровской с.-х. академии, бродили по обширному парку, где нам показали грот, в котором два года тому назад был убит Нечаевым студент Иванов. Грустная история эта напомнила о Нечаевском процессе, как-раз разбиравшемся в это время в Петербургском суде, по которому свыше 8 десятков подсудимых ждали решения своей участи, а вместе с тем напомнила мне, что пора и двинуться дальше.

И вот я опять в вагоне, опять перед глазами развертываются живописные картины центрального, наиболее населенного и культурного района России. Самая Николаевская железная дорога, также воспетая Некрасовым, прямая, как стрела, солидно оборудованная, с не менее солидными вокзальными постройками и необычно оживленная,—свидетельствовала уже, что находишься в самом центре жизни страны. Не гармонировал только со всей этой обстановкой наш вагон 3 класса, грязный и казарменного типа, переполненный крестьянами и рабочими, едущими на заработки, и учащейся молодежью, едущей в северную столицу учиться.

По мере приближения к Петербургу местность заметно меняется и постепенно перед самым Петербургом переходит в унылую низменную равнину с бедной растительностью. Волнение и нетерпение мое растет, вдали уже в смутном очертании виднеется и самый город, в который затем незаметно и в'езжаем среди разного рода железнодорожных построек и огромного количества вагонов, стоящих на запасных путях и закрывающих собою горизонты. Но вот и самый вокзал.

Путь наш закончен, и мы в Петербурге.

II.

В Петербурге. Приискание квартиры. Первые впечатления от города. Технологический институт и студенчество. Мое первое знакомство с чайковцами. Студенческий кружок самообразования. Синегуб и Стаховский. «Азбука социальных наук» и мое первое знакомство с политической полицией.

Отделавшись кое-как от обступивших меня с предложением своих услуг извозчиков и разных комиссионеров, я направился в Знаменскую гостиницу, что против вокзала, которую мне рекомендовали еще в Вятке. Тут, в одном из верхних этажей, нашелся недорогой номер, который я и взял. Приведя себя с дороги в порядок и напившись чаю, я тотчас же, сгорая от нетерпения, пошел осматривать город, направившись прежде всего вдоль по Невскому. Необычайное оживление, бесчисленное количество разнообразных и роскошных магазинов, сплошная стена многоэтажных домов, дворцы, Исаакий и затем многоводная Нева, закованная в гранитные берега, с открывающимся видом на Петропавловскую крепость и Васильевский остров—не могли не очаровать меня. Помню, я долго не сводил своих глаз с колоссальных размеров Зимнего дворца, невольно переводя их на расположенную напротив него Петропавловскую крепость с ее мрачными казематами, как бы символизирующую сущность царского режима. Тут безумная роскошь, пиры и веселье, а там—скорбь и тягостная неволя для врагов самодержавия. Тогда я еще был далек от мысли, что и мне суждено будет провести не один год в этом мрачном убежище, наглухо закупоренным от живых людей, слушая лишь каждую четверть часа печальный перезвон часов Петропавловской крепости.

На другой день с своим товарищем по гимназии, Александром Фармаковским, с которым я собирался жить, пустились в поиски комнаты для постоянного нашего жительства. После долгих блужданий и под'емов по высоким лестницам мы, наконец, недалеко от Рот, натолкнулись у какой-то немки, проживавшей в многоэтажном доме, на подходящую комнату, которую и взяли за 12 р. в месяц с хозяйскими дровами и услугами по самоварной части и по поддержанию чистоты помещения. Комната в два окна, довольно

чистая и поместительная, и даже с мягкой мебелью, производила приятное впечатление. Хозяйка тоже оказалась вполне покладистой и не вмешивалась в нашу жизнь.

Устроившись с квартирой, я отправился в институт, чтобы оформить мое вступление в число его студентов. Вступительных экзаменов не требовалось. Хотя чтение лекций еще не начиналось, но студентов в институте, пришедших сюда по разным своим делам или без всякого дела, было уже довольно много. Составлялись небольшие группы, велись оживленные разговоры, завязывались знакомства. Из института мы целой гурьбой двинулись в дешевую столовую для технологов, устроенную в. кн. Еленой Павловной и помещавшуюся недалеко от института, в Ротах. На студенческом жаргоне это значило итти «к Еленке». Такая же столовая была на Выборгской стороне для медиков. Обеды в этих столовых были тощие и невкусные, поэтому, когда начались занятия, то технологи, а также и медики устроили свои собственные столовые. У технологов в интересах дешевизны вместо мяса была конина, которая в разных видах подавалась в изобилии. Я тоже перешел, было, в эту столовую, но, пообедав неделю-другую, не мог привыкнуть к конине и снова перебрался «к Еленке», где обычно довольствовался стаканом молока и стаканом кофе. Недостаток же питания возмещал чаепитием уже у себя дома.

Располагая пока совершенно свободным временем, я носился с кем-нибудь из товарищей из конца в конец по городу, чтобы поскорее ознакомиться с ним. Побывали и на островах, видели, наконец, и море, но петербургское море не произвело на меня того впечатления, какое я ожидал. В общем, в результате этого осмотра Петербург мне понравился больше Москвы, особенно подкупало меня обилие воды и сама суровая красавица Нева.

Освоиться с огромным городом оказалось не особенно трудно, благодаря обилию прямых улиц и Невскому проспекту, занимающему центральное положение, всегда оживленному и людному. Любил я этот проспект, по которому почти ежедневно и не раз приходилось проходить, но всегда старательно избегал Александровского рынка, где торговцы буквально накидывались на проходящего и тащили его за фалды в свой магазин, предлагая настойчиво те или другие товары. По неопытности и я однажды попался в такую переделку и должен был, чтобы только отвязаться, купить дешевенькое одеяло, в котором совсем и не нуждался.

Посещая институт и столовую, я постепенно расширял свои знакомства со студентами. Здесь же впервые я столкнулся с Синегубом и его неизменным спутником и приятелем Стаховским. Оба они приехали из Минска, где окончили гимназию, и поступили в Технологический институт. Синегуб как-то сразу завоевал мои симпатии, и я быстро сошелся с ним. Он был хохол по происхождению, сын екатеринославского помещика, но, видимо, не из особенно богатых.

Среднего роста, блондин, с едва пробивающимися усами и бородой, немного сутулый и худой, но с большими лучистыми серыми глазами и необыкновенно приятной улыбкой, он невольно обращал на себя внимание. Особенно привлекал он к себе совсем необычной задушевностью и искренностью, граничащей порою с наивностью. Несмотря на свое дворянское происхождение, он был демократ в душе, в своих привычках и костюме и в то же время не лишен был поэтического дарования, со скромными плодами которого мы вскоре же имели возможность познакомиться.

Позднее, когда начали завязываться сношения с рабочими, Синегуб один из первых принял в этом деле деятельное участие и оказался не только превосходным пропагандистом, но и человеком, умевшим привлекать к себе сердца рабочих и внушать им ту веру в идею, которой был преисполнен сам.

Стаховский же—плотный и коренастый брюнет небольшого роста, добродушный, но много менее одаренный, чем Синегуб. Преданность его последнему была безгранична.

В это время Петербург был полон толками по поводу Нечаевского процесса, подробные отчеты о котором печатались в газетах. Много говорилось о нем и в студенческих кругах, тем более, что некоторым из студентов удалось и самолично присутствовать на разборе дела. Странное отношение, в общем, установилось к этому громкому политическому делу: к людям, участникам процесса,—положительное, а к организации, как таковой, с которой эти люди были связаны,—безусловно отрицательное. Многие из подсудимых были люди, несомненно, незаурядные и развитые, преданные делу народа, готовые отдать ему и свои силы и самих себя. Такие люди при господствовавшем тогда настроении не могли не вызывать к себе искреннего сочувствия. И вот эти-то хорошие люди, неожиданно для самих себя оказавшиеся членами организации, основанной на обмане, с несуществующим таинственным комитетом, стоящим якобы во главе обширного заговора, решительные действия которого ожидались в самом же непродолжительном времени, должны были безоговорочно подчиняться одному лицу—Нечаеву, как единственному открытому представителю этого таинственного комитета. Мистификация и ложь были обычными приемами Нечаева при вербовке членов в свою организацию. И последняя, искусственно созданная силами и необычайной энергией Нечаева, не стеснявшегося во имя революционных целей прибегать к явному и грубому обману, принимаемому за чистую монету жаждущей настоящего большого дела молодежью, просуществовав всего лишь полтора месяца и не сделав ничего, кроме убийства студента Иванова, погибла вся без остатка, кроме самого Нечаева, успевшего скрыться за границу.

Такая организация, где в основе был обман, а во главе стоял генерал, которому безапелляционно должны повиноваться все, и

не могла рассчитывать на длительное и продуктивное существование. Она неизбежно и скоро погибла бы, если не от внешнего врага, то от собственного разложения, так как жить в атмосфере обмана и беспрекословного подчинения воле одного лица сознательные и свободные люди долго не могут. Разложение в нечаевской организации, несмотря на краткость ее существования, уже и начиналось и закончилось,—в расчете положить этому разложению предел,—катастрофой с Ивановым.

К таким приблизительно выводам приходила, в общем, публика при оценке Нечаевского дела. А революционная молодежь, помимо всего этого, извлекла из этого дела для себя и практический урок: ни в каком случае не строить революционную организацию по типу нечаевской, не прибегать для вовлечения в нее к таким приемам, к каким прибегал Нечаев.

Видаясь в эти первые недели пребывания моего в Петербурге с Н. К. Лопатиным, я получил от него приглашение побывать у них на даче, в Кушелевке, где этим летом проживала большая компания. Получив от него адрес этой дачи и указания, как добраться до нее, я, насколько припоминаю, в один из первых воскресных дней двинулся туда. Там жила как-раз та компания (чайковцы), от знакомства с которой предостерегал меня еще в Вятке Маковеев. Понятно, поэтому, мое некоторое волнение и нетерпение поскорее увидеть этих опасных людей.

Путь на дачу лежал через Литейный мост, а затем по Выборгской стороне вверх по Неве. От города нужно было пройти еще по берегу реки две-три версты, а там была уже и искомая дача, которую я нашел без особых затруднений. Лопатина на этот раз, повидимому, на даче не было, и встретил меня неведомый мне красивый, высокий молодой человек с каштановыми волосами и окладистой небольшой бородой, с приятным и выразительным лицом, который оказался Чайковским. Уведя меня к себе в комнату, он расспрашивал меня о Вятке, уроженцем которой был сам, о вятских делах и, в частности, о вятском земстве. Удовлетворив его любопытство относительно вятских настроений, я особенно подробно остановился на вятском земстве, судьбой которого, повидимому, он очень интересовался.

После довольно длительной беседы Чайковский, ни с кем меня не знакомя, повел в сад, проходя по которому, я увидел небольшую, но интересную группу молоденьких девиц, полулежавших вблизи дорожки, по которой мы проходили, одетых в мужские рубашки и шаровары. Особенно запечатлелись мне из этой группы две: одна, самая юная из них, чрезвычайно миловидная белокурая девушка с пухленькими розовыми щечками, с высоким выпуклым лбом и голубыми глазами, и рядом с ней другая, пожалуй, даже более красивая и с более правильными чертами лица, чем первая, но с более строгим и суровым выражением лица. Первая, как я узнал позднее,

была С. Л. Перовская, которой было тогда 18 лет, а вторая— А. И. Корнилова.

Так состоялось мое первое знакомство с Чайковским, который за время нашей беседы очаровал меня своей безыскусственной простотой и деловитостью и совершенным отсутствием каких-либо признаков рисовки. Прощаясь со мной, он просил захаживать иногда на их новую городскую квартиру на Кабинетской улице, куда они в скором времени собирались переезжать.

К сентябрю возобновились занятия в институте, и я стал посещать лекции, запасшись предварительно и некоторыми учебниками. Но, посещая эти лекции, я почувствовал, что ошибся в выборе учебного заведения, что специальные науки, пожалуй, не для меня, так как меня тянуло к наукам общественного характера. Но делать было уже нечего, приходилось мириться с тем, что есть. Что же касается студентов Технологического института, то, за небольшими исключениями, состав его был демократический и отзывчивый на все доброе как в области студенческих интересов, так и в области интересов общих. Атмосфера во второй половине 71 года была довольно накаленная: с одной стороны, будоражил публику Нечаевский процесс, а с другой— Парижская Коммуна. Публика волновалась и невольно настраивалась революционно.

Вскоре из студентов института по преимуществу образовался кружок самообразования, принявший одну из готовых уже программ, который и начал собираться у меня на квартире. К этому времени соседняя большая комната в нашей квартире, удобная для собраний, освободилась от посторонних жильцов и была занята товарищами, в числе которых был и Леонид Попов. Начались правильные собрания, на которые время от времени появлялся Д. А. Клеменц, всегда много оживлявший эти собрания своею содержательною, а нередко и остроумною речью.

Как и всегда и всюду, читалось на этих собраниях немного, а больше велись оживленные разговоры на злободневные темы о народе, лучших способах служения ему, о настроениях как самого народа, так и других общественных групп, о Нечаевском деле, Парижской Коммуне и многих других животрепещущих вопросах. Кружок этот просуществовал, однако, недолго, приблизительно до рождества, и распался. Видимо, разговоры, хотя бы и на интересные темы, скоро стали надоедать, к тому же у некоторых участников кружка нашлось для себя и другое, более интересное и живое дело. Но, как-никак, кружковые собрания эти все же сделали свое дело: они выявили наиболее интересные и отзывчивые элементы, которые затем уже и не выходили из поля зрения и в свое время привлекались к более ответственному делу.

Приблизительно к этому же периоду относится и мое первое знакомство с охранной полицией. Дело было так.

К концу лета этого года кружок чайковцев выпустил в свет об'емистую книгу Флеровского (Берви) «Азбуку социальных наук», отпечатанную в довольно большом количестве экземпляров. Так как книга эта свойствами благонамеренности не обладала, то можно было рассчитывать, что она, по обычаю, подвергнется опале. По этим соображениям кружок и сдал для продажи в магазин Черкесова и некоторые другие только сравнительно незначительную часть издания, а остальную разместил по разным складам и студенческим квартирам, рассчитывая, в случае конфискации книги в магазинах, распродать оставшуюся часть неофициальным порядком. И, действительно, опасения кружка скоро оправдались: книги, сданные в магазины, были конфискованы, из'яты из обращения, а затем, по вновь установившемуся обычаю, и сожжены.

Небольшая часть этого издания была помещена и на моей квартире, откуда она постепенно и расходилась. Узнав же, что в Петербург из Вятки приехал бывший вятский ссыльный Копиченко и скоро уезжает обратно, я решил воспользоваться оказией и послать с ним для Вятки Кувшинской экземпляров 8—10 «Азбуки». Был сентябрьский дождливый вечер, мне что-то нездоровилось, и я попросил Леничку Попова снести по указанному адресу книги Копиченко, проживавшему недалеко от нашей квартиры. Попов охотно согласился исполнить мое поручение, а я лег в постель и вскоре же заснул. Долго ли я спал, не знаю, но, вероятно, не мало, как вдруг сквозь сон услышал какой-то шум, голоса, щелканье шпор и беготню. Открываю глаза и к моему удивлению вижу целую коллекцию полицейских мундиров, тормошащих меня, и среди них смущенного Попова. Ничего не понимая, я одеваюсь и встаю, стараясь выяснить, в чем дело. Постепенно из вопросов, заданных мне, и нескольких слов, брошенных мне Поповым, дело стало выясняться. Оказалось, что Попов не застал Копиченко дома а, возвращаясь обратно, наскочил на дворника, которому показался подозрительным, может быть, даже просто вором, так как Попов злополучную и довольно об'емистую пачку книг прятал под полами своего пальто, что при его маленьком росте особенно должно было бросаться в глаза. Возможно также, что и смущенный вид Попова, когда дворник его остановил, только увеличил подозрения последнего, а потому он, недолго думая, и передал подозрительного человека в руки полиции.

Мне, как и Попову, после поверхностного обыска предложили одеться и следовать под эскортом до грозного Слезкина. Во избежание разноречия в показаниях мне удалось еще на квартире предупредить Попова, чтобы он отозвался полным незнанием обстоятельств дела, заявив, что он лишь исполнял мое поручение и— только.

После довольно длительного путешествия по улицам города нас уже поздно ночью привели в какое-то мрачное, скудно освещенное, но обширное полуподвальное помещение. Здесь пришлось

довольно долго ждать, пока не предстал перед нами не то сам Слезкин, не то кто-либо из его подручных. Это был уже пожилой человек. сурового вида, грузный и высокий. Начался допрос. Попов, согласно нашему условию, отозвался незнанием и сослался на меня. Обращаясь ко мне, допрашивавший задал вопрос:

— Где вы взяли эти книги?

— Купил в магазине Черкесова,—был мой ответ.

— Как купили, когда книга запрещена и из'ята из обращения?

— Но, ведь, она же была в магазине Черкесова и открыто продавалась всем, кто хотел ее купить. Тогда она и была куплена мною.

— Куда вы отправляли ее?

Так как фамилия адресата была уже обнаружена раньше, то я и не счел нужным скрывать ее и подтвердил, что посылка предназначалась в Вятку для Кувшинской и ее знакомых, которых я хотел познакомить с литературной новинкой. А что книга была запрещена и из'ята из обращения, это мне не было известно.

На этом допрос был закончен и допрашивавший удалился. Мы остались ждать решения нашей участи. Ждать пришлось довольно долго, и уже совсем под утро нам об'явили, что мы свободны и можем удалиться.

Так закончился этот маленький инцидент ценою лишь пропажи до десятка книг. Правда, меня еще очень беспокоил вопрос о Кувшинской, которую по глупости или излишнему усердию тоже могли притянуть к ответу. Но с этой стороны все обошлось благополучно: Кувшинскую не тронули.

III.

В КРУЖКЕ ЧАЙКОВЦЕВ.

Мое дальнейшее знакомство с чайковцами и их деятельностью. Вступление в кружок. Основы, на которых кружок построился, цели и задачи его. Краткая история кружка и его состав в 1871 г. Филиальные отделения кружка. Издательская деятельность—легальная и нелегальная. Мечты о заграничном органе печати и попытки их осуществления. Натансон, Чайковский, Купреянов, сестры Корниловы, Перовская, Сердюков, Лермонтов.

Пользуясь приглашением Чайковского захаживать к ним на городскую квартиру на Кабинетской улице, куда они вскоре же после моего визита на Кушелевку переехали, я время от времени стал посещать эту штаб-квартиру чайковцев, в которой, кроме него, жили еще М. А. Натансон, его жена О. А. Шлейснер, Н. К. Лопатин, М. В. Купреянов, вскоре затем перебравшийся в мансарду напротив. Хозяйкой этой квартиры числилась В. И. Корнилова, по мужу Грибоедова, брак с которым был фиктивный. Все же остальные вышеназванные жильцы этой квартиры считались квартирантами. Здесь я и перезнакомился с большинством членов кружка, а также и со многими другими посетителями, не принадлежащими к кружку, но имеющими те или иные деловые отношения с ним. Знакомясь и присматриваясь к этим новым для меня людям, я все больше и больше проникался уважением и невольным почтением к ним за их простые, чисто товарищеские и дружеские отношения, полные взаимного доверия и уважения. Ни рисовке, ни повелительному наклонению здесь не было совсем места. Ведя крупные дела разнообразного характера,—особенно же дела по издательству и распространению по всей России хороших книг,—свидетельствовавшие об организаторских талантах членов кружка и доверии к ним деловых людей, они, члены этого кружка, эти дела делали так же просто, как бы мимоходом.

В дела кружка я не был посвящен, конечно, как не знал и подлинного состава его, но кое-что, хотя и в общих чертах, я знал от Н. К. Лопатина, видного члена этого кружка. В этом познании до известной степени помогли мне и мои посещения квартиры на Ка-

бинетской, где случайные и отрывочные разговоры также кое-что мне уяснили, так как беседовавшие не очень стеснялись моим присутствием. Благодаря этим обстоятельствам, мне приблизительно были уже известны как состав кружка, так и характер его деятельности; знал я, что некоторые члены кружка уже давно состоят на учете в III отделении; оно охотно бы расправилось с ними, если бы в его руках были какие-нибудь более веские данные, изобличающие их. Обыски, особенно этим летом, допросы и аресты были не редки, но пока, за неимением этих данных, а отчасти и благодаря установленным секретным сношениям с заключенными в III отделении, позволявшим сговариваться о показаниях, они обычно оканчивались благополучно. Н. К. Лопатин рассказывал мне, как о курьезе, о великой радости третьеотделенцев, когда при обыске на Кушелевке у него нашли конспект по статье Лаврова «Современное учение о нравственности», напечатанной в «Отечественных Записках», который они приняли за революционную программу. По словам Лопатина, стоило больших усилий, чтобы убедить, а вместе с тем и разочаровать жандармов, что это не революционная программа, а лишь простой конспект, сделанный по совершенно легальной статье.

Скоро мои отношения к кружку совершенно изменились.

В самом конце сентября или в начале октября, спустя некоторое время после описанного выше инцидента с «Азбукой социальных наук», зашел ко мне тот же Н. К. Лопатин и от имени кружка чайковцев предложил мне вступить в его состав. В то время мне еще не хотелось связывать себя с какой-либо нелегальной организацией, хотелось пока пожить совершенно свободным человеком и хорошенько осмотреться, но, с другой стороны, предложение было настолько заманчиво и соблазнительно, что я, не задумываясь, дал свое согласие. Как я уже говорил, в общих чертах дело, которое делал кружок, мне было известно, оно мне нравилось, и я придавал ему большое значение, а люди, входившие в состав его, по своим нравственным качествам, преданности делу народа и деловитости, а также и по установившимся в кружке чисто товарищеским, простым и дружеским взаимоотношениям вызывали во мне живейшие симпатии и уважение. Мне было известно также, что кружок занимал совершенно исключительное положение среди многих других кружковых организаций Петербурга, что он обладал значительными связями не только среди учащейся молодежи, но и в либеральных кругах и пользовался в той и другой среде заслуженным уважением. Поэтому естественно, что стать членом такой организации и войти в нее на равноправных началах было для меня, только-что прибывшего из провинции и еще не обстрелянного, большою честью.

Давая свое согласие, я, конечно, знал, что этим самым Рубикон уже оставляю позади, что отступления не может быть и что отныне все мои скромные силы неизбежно пойдут на дело, которое делал

кружок, а в перспективе, может быть и близкой, меня неизбежно будут ждать не лавры, а тюрьма, ссылка, а может быть и что-нибудь горшее. Но все это мало меня смущало, так как к этому я уже был достаточно подготовлен всем моим предыдущим ходом развития. Текущая же политическая действительность не только не содействовала изменению тех выводов, к каким я постепенно приходил ранее, а наоборот, беспрерывные аресты и высылки, систематическое гонение на печатное слово, откровенное издевательство над русским обществом, а в довершение всего какой-то панический страх перед живою жизнью и проявлением какой-либо общественной самодеятельности закрывали, казалось, все пути для легальной деятельности и толкали всякого, мало-мальски живого человека на путь нелегальный. Поэтому-то и самый переход на этот последний путь становился необычайно легким.

Весь ритуал вступления моего в члены революционной организации тем только и ограничился, что на сделанное предложение я дал свое согласие. Никаких ни клятвенных, ни иных обещаний от меня не потребовали, не было и никаких указаний, что я должен делать и чего не делать. Очевидно, при рассмотрении моей кандидатуры в достаточной степени было уже выяснено, что я ни по своим воззрениям, ни по своим нравственным качествам не внесу никакого диссонанса в тесно сплоченную идейно и морально кружковую организацию и что в той или другой степени буду ей полезен. И это, конечно, было главное, этим держалась и крепла самая организация.

С моим вступлением в кружок ничто в моем образе жизни на первых порах не изменилось. Я продолжал посещать институт, продолжал посильно участвовать в студенческой жизни и в том кружке, который собирался у меня на квартире. Вся разница была лишь в том, что я значительно чаще стал бывать в штаб-квартире кружка, где уже не испытывал чувства некоторой неловкости от сознания, что мое присутствие может быть стеснительно для других. Бывая здесь и присутствуя при возникающих деловых разговорах, я постепенно входил в курс всех дел кружка, сознательно избегая, впрочем, расспросов о том, что мне было еще не совсем ясно, особенно в предприятиях исключительно конспиративного характера, полагая, что без особой нужды и нет необходимости знать это.

Постепенно лик этого кружка выяснялся для меня все больше и полнее, при чем более близкое соприкосновение с ним как в целом, так и с отдельными его членами не только не уменьшило моих идеализированных представлений о нем, составленных ранее, но, наоборот, эти представления только укреплялись и приобретали новую силу. Организованный по типу, совершенно противоположному нечаевской организации, без всяких уставов и статутов и иных формальностей, он покоился исключительно лишь на сродстве настроений и взглядов по основным вопросам, высоте и твердости моральных принципов и искренней преданности делу народа, из чего, как

естественное следствие, вытекали взаимное доверие, уважение и искренняя привязанность друг к другу. Построенный на таком прочном фундаменте, кружок и не нуждался ни в статутах, ни в генералах, особенно этих последних не потерпел бы ни одного дня.

Никакого принуждения не было и следа в жизни организации. Каждый был свободен выбирать дело по своим склонностям и способностям и отдавать ему столько времени, сколько он мог или сколько требовало само дело. Нередко отдельные члены кружка и совсем устранялись от всякого дела, как это бывало с Перовской и другими, чтобы усиленным чтением пополнить пробелы в своем образовании.

К науке и знанию вообще всегда было самое почтительное отношение, поэтому никто и не побуждался к оставлению высших учебных заведений, если там находился и сам почему-либо не считал для себя нужным это сделать. По этому вопросу существовало лишь убеждение, что общественные инстинкты, столь еще слабо развитые в русском обществе, надлежит всемерно оберегать и воспитывать, а не глушить, что нередко случается с человеком, углубившимся в науку. Поэтому и важное дело по приобретению знаний надо ставить как-то так, чтобы оно не убивало в человеке этого не менее важного инстинкта общественности. Разрешить эту трудную проблему, чтобы и волки были сыты и овцы целы, далеко, разумеется, не всегда удавалось, и наука всего чаще терпела ущерб по недостатку времени.

Ко времени моего вступления в кружок он уже окончательно сформировался, что имело место летом 1871 г., к какому времени у него уже была своя краткая история.

Родоначальником кружка чайковцев следует считать кружок студентов Медицинской академии, Натансона и Александрова, организованный еще в первую половину 1869 г., к которому в том же году примкнули студент-медик А. И. Сердюков и студент естественного факультета Петербургского университета Н. В. Чайковский, а несколько позднее—Ник. Конст. Лопатин, тоже студент Медицинской академии. Оба последних были вятичи.

Летом 71 г. этот небольшой кружок реорганизовался и значительно расширился за счет лиц, уже известных ранее, но для лучшего ознакомления с ними приглашенных для участия в кружке самообразования, а вместе с тем и для совместного жительства на даче.

В своих воспоминаниях «Перовская и основание кружка чайковцев» А. И. Корнилова-Мороз [1] рассказывает, что основной целью этого кружка было самообразование и в состав его входили 15 человек: «М. А. Натансон, А. И. Сердюков и Н. К. Лопатин—медики; Н. В. Чайковский, Н. К. Левашев — студенты университета; Ипполит Вернер, Басов и Кокушкин—технологи; наконец, 18-летний вологжанин, не окончивший даже гимназии и только гото-

[1] «Каторга и Ссылка», 1926 г. № 1.

вившийся к экзамену в Технологический институт, М. В. Купреянов. Из женщин были приглашены О. А., Шлейснер, А. Я. Ободовская, С. Л. Перовская, Любовь и Александра Корниловы и Н. К. Скворцова, подруга Шлейснер по педагогическим курсам». Все эти лица, говорит А. И., жили на даче, кроме Сердюкова, Ободовской и Любови Корниловой, которые оставались жить в городе, принимая участие в общих занятиях.

В августе того же года, как рассказывает дальше А. И., «на особом собрании нашего кружка был поднят вопрос: будем ли мы дальше заниматься одним самообразованием?». И «большинством членов было постановлено: продолжая по мере возможности свое самообразование, поставить себе задачей:

1) приобретать и самим издавать книги по дешевым ценам;

2) снабжать ими студенческие библиотеки в Петербурге и в провинции по тем же низким ценам,

3) содействовать образованию новых библиотек и кружков самообразования», т. е. продолжить ту же работу, которую первоначальный кружок Натансона-Александрова вел раньше.

«Из 15 человек, состоящих в кружке самообразования на Кушелевке,—продолжает дальше А. И.,—четверо отказались принять участие в новой работе, не желая манкировать своими занятиями в учебных заведениях. Это были—Ипполит Вернер, Басов, Кокушкин и Н. К. Скворцова», при чем тогда же «было принято предложение привлечь в состав кружка Д. А. Клеменца, Ф. Лермонтова, Н. А. Чарушина, Леонида Попова и мою сестру Веру Грибоедову».

Об этом же летнем проживании на Кушелевке с задачами самообразования Н. К. Лопатин рассказывал мне несколько подробнее. По словам Лопатина, небольшой кружок Натансона, развернувший уже к этому времени свое книжное дело и организационно-просветительную деятельность среди молодежи как в столице, так и в провинции, нуждался в пополнении состава своего кружка. У кружка уже был целый ряд намеченных лиц, которых желательно было бы ввести в состав кружка, но из осторожности, чтобы не ошибиться в выборе, эти намеченные лица и были приглашены на дачу, где они и образовали кружок самообразования. По словам Лопатина, это совместное сожительство и участие в кружке самообразования давали возможность лучше присмотреться к людям и безошибочнее сделать выбор. В своем роде это был лишь тактический маневр, который уже в августе, перед раз'ездом с дачи, и получил надлежащее освещение, когда на особом собрании кружка был поставлен вопрос: «будем ли и дальше заниматься одним самообразованием?»—и когда все, за исключением четырех, высказались, что самообразованием будем заниматься «по мере возможности», а основной своей задачей поставим то самое дело, какое первоначальный небольшой кружок уже вел раньше. И, действительно,

в последующее время все силы кружка были направлены на это основное дело, а в самообразовании предоставлено подвигаться «по мере возможности» и не коллективно, а каждому в отдельности по своему усмотрению.

О первоначальной же натансоновско-александровской организации с достаточною полнотою и знанием дела рассказывает нам, несомненно, со слов Чайковского, непосредственного участника этого кружка, Шишко в своей статье «Сергей Михайлович Кравчинский и кружок чайковцев» [1], правильность сообщения которого подтверждается и теми сведениями, которые доходили до меня от членов кружка, знавших об этом периоде его жизни. Для полноты картины я позволяю себе сделать небольшую выписку.

«... Цель последнего (т.-е. кружка Натансона-Александрова,— *Н. Ч.*),—пишет Шишко,—понималась его основателями таким образом: они хотели создать среди интеллигенции, и преимущественно среди лучшей части студенчества, кадры революционно-социалистической или, как чаще выражались тогда, *истинно-народной* партии в России. С этою целью первоначальными основателями кружка решено было вести систематическую пропаганду среди учащейся молодежи, устраивать кружки сомообразования, землячества и так-называемые *коммуны*, состоявшие уже из более тесно связанных между собою товарищей.

«С тою же целью первоначальными организаторами кружка было начато так-называемое «книжное дело», представлявшее собою, помимо непосредственно приносимой им пользы, одно из лучших средств для сближения с молодежью на почве чисто практического предприятия и для быстрого расширения связей. В создании этого «книжного дела» обнаружились крупные организаторские способности основателей кружка. Оно заключалось в распространении как в Петербурге, так и в других университетских городах хорошо подобранной тенденциозной легальной литературы с присоединением к ней, по возможности, запрещенных или из'ятых сочинений (преимущественно Чернышевского). С этою целью кружок входил в сношения с некоторыми из петербургских издателей и брал у них на комиссию с известной уступкой, конечно, значительное количество экземпляров нужных ему изданий, а иногда и прямо покупал за полцены целые издания, как, напр., у известного в то время либерального издателя Н. Полякова. Затем все эти издания распространялись кружком в Петербурге и провинциальных городах через посредство местных студенческих групп, а также политических ссыльных. Книги эти распространялись по большей части в кредит, при чем кружок старался также о выработке и принятии всеми кружками самообразования одинаковой, в общих чертах,

[1] См. Л. Э. Шишко. Собр. сочинений, т. IV, изд. «Революц. Мысль», 1918 г., стр. 140—142.

программы чтений и занятий, подготовляя таким путем целое поколение для будущей революционной деятельности».

Затем Шишко приводит и подробный список распространяемых и издаваемых кружком сочинений различных авторов—русских и иностранных,—составленный, без сомнения, также при содействии Чайковского. Но этот список (до 33 авторов), следует заметить, относится не к одному только первому периоду деятельности кружка, но и ко второму, когда он уже в публике именуется «кружком чайковцев». В особенности это следует сказать относительно собственных изданий кружка, большинство которых должно быть отнесено к этому последнему периоду.

Реорганизованный и значительно пополненный новыми членами, кружок к осени 71 г. имел следующий состав: М. А. Натансон, Н. В. Чайковский, А. И. Сердюков, Н. К. Лопатин, Грибоедов [1], Д. А. Клеменц, М. В. Купреянов, Ф. Н. Лермонтов, Н. К. Левашев, С. Л. Перовская, Ал. Ив. Корнилова, Л. Ив. Корнилова, Вера Ив. Корнилова, О. А. Шлейснер и А. Я. Ободовская. Осенью этого же года в состав кружка вошли еще я и Ф. В. Волховский. Последний после оправдательного вердикта, вынесенного ему по Нечаевскому делу, к которому он привлекался, жил пока в Петербурге и лишь в 72 г. выехал в Одессу, где им и было организовано филиальное отделение кружка, одно из самых деятельных и многолюдных.

Таким образом, во второй половине 71 г. весь состав петербургского кружка определялся в 17 человек. К этому же приблизительно времени он среди публики, с которой велись деловые сношения, начинает именоваться «кружком чайковцев». Происходит это, вероятно, по той причине, что в это время Н. В. Чайковскому приходилось более чем кому-либо вести разные деловые сношения с посторонней публикой, которая и окрестила самую организацию его именем.

У кружка уже в это время имелись филиальные отделения в Москве и других университетских городах и некоторых губернских, связанные деловыми отношениями с петербургским кружком. В са-

[1] А. И. Корнилова в своих упомянутых выше воспоминаниях не причисляет Грибоедова к нашему кружку, хотя у меня составилось определенное представление, что он был в его составе. Правда, Грибоедов не принимал участия в повседневной работе кружка и ни разу не показывался на общих собраниях его, но мне об'ясняли это свойствами самой натуры Грибоедова, всегда готового на всякое рискованное предприятие, но не склонного к повседневной революционной работе. Одно время, впрочем, Грибоедов заведывал кассой кружка; ему она была поручена, как человеку с положением и наиболее свободному от подозрений.

Там же А. И. пишет, что в числе лиц, которых решено было привлечь в состав кружка, был и Леонид Попов. Возможно, что такое постановление и состоялось, но в исполнение оно приведено не было. Попов, умный и способный юноша, очень много и с толком читавший, действительно, все время вращался в орбите чайковцев, работая вместе с ними, но его нежная и непрактичная натура мешала вовлечению его в кружок.

мом же Петербурге имелись подручные кружки из студенческой молодежи и немалое количество отдельных лиц, не входивших в кружок, но стоявших близко к нему и помогавших ему в его работе.

В общих чертах характер деятельности преобразованного кружка оставался тот же, что описан Шишко в вышеприведенной цитате, относящейся до кружка Натансона-Александрова, т.-е. создание среди интеллигенции и лучшей части студенчества кадров революционно-социалистической или народной партии, с какою целью велась систематическая пропаганда среди учащейся молодежи, устраивались кружки самообразования и пр. С этою же целью продолжалось и «книжное дело», получившее наибольшее развитие в этом году, но в то же время и сильно потерпевшее от преследования администрации, усилившей свою охранительную деятельность с все возрастающей бдительностью. Благодаря этому, большая часть изданий, предпринятых кружком, была конфискована и предана сожжению. Так, были сожжены: второе издание «Положение рабочего класса в России» Флеровского, «Исторические письма» Миртова, «Азбука социальных наук» Флеровского, «История 48 года» Луи Блана, «История Коммуны» Корьези и Ланжоле и «Рабочий вопрос» Ланге.

В связи с этой же издательской деятельностью Чайковский 4 раза подвергался обыску и 2 раза аресту, а Натансон, старейший член кружка и один из его основоположников и вдохновителей, после ареста в ноября 71 г., в феврале следующего года был выслан в Архангельскую губернию.

Рядом с легальной издательской деятельностью кружком было положено начало и для издательской деятельности нелегальной, для чего была заведена небольшая типография в Женеве. Делами этой типографии ведал первоначально Александров, вынужденный эмигрировать за границу еще в 1870 г., а затем, когда кружок разошелся с ним,—Гольденберг. Здесь печатались кое-какие брошюры русских авторов и переводные, а вместе с тем было приступлено и к изданию сочинений Чернышевского, особенно чтимых чайковцами. Для перевозки же нелегальной литературы на северной границе имелись связи с контрабандистами, при помощи которых эта литература и доставлялась кружку. Границей ведала особая конспиративная комиссия в лице Сердюкова и Купреянова, а сношениями с заключенными в III отделении при посредстве подкупленного жандарма—Любовь Ив. Корнилова, которую много позднее заменила Перовская. Сношения эти, особенно в первый период деятельности кружка чайковцев, имели большое значение, давая возможность сговариваться о показаниях и тем самым благополучно разрешать дела заключенных.

Развертывая свою разностороннюю деятельность, кружок, естественно, нуждался и в солидных денежных средствах, требовавшихся

особенно на издательское дело. Это всегда был больной вопрос в кружке, приковывавший к себе внимание многих его членов. Но, благодаря обширным связям в радикально-либеральных кругах, сочувствовавших деятельности кружка, а отчасти и самим членам, из коих некоторые, как сестры Корниловы, принадлежали к зажиточным семьям, вопрос этот так или иначе разрешался, в общем, сравнительно благополучно. Издатели, как Поляков, отпускали свои издания кружку в кредит, а другая сочувствующая публика помогала деньгами, сестры же Корниловы все, что им удавалось получать от отца, совладельца фарфоровой фабрики, несли в кассу кружка; туда же поступило и денежное приданое, полученное при выходе их замуж. Не один Петербург, но и Москва в той или иной степени помогала в этом деле кружку, где орудовал в этом направлении Клячко, видный представитель московского отделения, располагавший значительными связями, а также и В. Батюшкова, тоже член московского отделения, самолично доставившая петербургскому кружку значительную денежную сумму.

На этой же денежной почве, не перестававшей занимать и волновать кружок, кажется, в 72 г. разыгрался неожиданный инцидент, приведший в разрыву с лицом, очень близко стоявшим к кружку. Лицо это, фамилию которого я не назову, увлеченное мыслью сразу разрешить все денежные затруднения кружка, без ведома последнего, приняло участие в какой-то организации по изготовлению и выпуску фальшивых бумажных денег, о чем, когда дело это уже, очевидно, зашло далеко, сообщило Чайковскому. Ошеломленный столь неожиданным известием о предприятии, идущем в разрез со всеми моральными принципами кружка, Чайковский в категорической форме заявил о неприемлемости такой денежной помощи. Рассказывая мне об этом инциденте, Чайковский больше всего удивлялся недомыслию человека, задумавшего поправлять денежные дела кружка, стоящего на страже народных интересов, путем вынимания этих денежных средств из народного кармана. История эта была закончена, так сказать, домашним образом, до сведения кружка в целом не доводилась, а лицо это с тех пор совершенно исчезло с кружкового горизонта. Знал ли еще кто-нибудь об этом казусном деле, мне не известно, но ни от кого больше ни тогда, ни после слышать о нем не приходилось. Не получила история эта огласки и в официальных сферах, надо думать, потому, что предприятие не было доведено до своего конца.

Ведя в больших размерах книжное дело с целью подготовки кадров революционных деятелей в народе и организуя эти нарождающиеся силы, чайковцы, естественно, должны были задумываться и над созданием свободного руководящего заграничного органа печати, долженствовавшего обслуживать вопросы теории и практики революционного дела. Уже со второй половины 71 г. вопрос этот нередко поднимался и подвергался обсуждению на Кабинетской

улице и с тех пор не сходил с поля зрения кружка. Всего охотнее чайковцы готовы были бы видеть во главе такого органа Чернышевского, но он был далеко и фактически недосягаем. Позднее по этому вопросу велись переговоры с Н. К. Михайловским и затем с Флеровским (Берви), но эти переговоры не привели, впрочем, ни к каким положительным результатам. Первый из них не захотел променять вполне определенного влиятельного положения, завоеванного им легальной литературной деятельностью, на нечто еще неизвестное и проблематичное, связанное притом с отрывом от питающих его непосредственных впечатлений русской жизни. И сам кружок не мог, конечно, не понимать всей основательности этих соображений, а потому и не мог настаивать на своем предложении, пока легальная литературная деятельность для Михайловского не была закрыта.

Ничего не вышло и из переговоров с Берви. Причин этой неудачи сейчас точно уж не помню, но припоминаю, что и сам кружок колебался возложить столь ответственное дело на Берви, человека хотя и во всех отношениях достойного и уважаемого, но большого оригинала, что не давало уверенности в том, что он сумеет об'единить около себя пишущую братию.

Отчасти эти же заботы о создании заграничного органа, для ведения которого требовались литературные силы, побуждали кружок, когда представлялась для этого возможность, принимать деятельное участие по устройству побегов и переправке за границу писателей, попавших в опалу и фактически лишенных уже возможности продолжать свою легальную литературную деятельность. Так, еще в 72 г. из Красного Яра, Астраханской губернии, при непосредственном участии чайковцев был вывезен и переправлен за границу автор «Отщепенцев» Соколов; в том же году то же было сделано Клеменцом по отношению нечаевца Тейльса, а в декабре 73 г. вывезен Купреяновым и переправлен за границу литератор Ткачев. Все эти побеги, артистически выполненные, не сопровождались никакими последствиями для их организаторов и участников, так как таковые обнаружены не были.

В этот первый период моей жизни в кружке мне чаще всего приходилось встречаться с обитателями квартиры на Кабинетской— Чайковским, Натансоном, Лопатиным, Купреяновым, а затем с сестрами Корниловыми, Перовской и Ободовской. С Сердюковым, Клеменцом и Лермонтовым встречи эти были много реже.

Натансон, прежде всего, поражал своей энергией, но не суетливой, а деловой. Человек большого ума и незаурядной работоспособности, много читавший, с натурой властной и по преимуществу рассудочной, он в то же время обладал и большими организаторскими способностями. Несомненно, в значительной части ему принадлежит честь организации первого ядра будущего кружка чайковцев,—ядра, которое уже успело умело и широко развернуть свою деятельность

и заслужить почтительное к себе отношение со стороны различных общественных групп, а особенно молодежи. Но он скоро был из'ят из обращения и потерян для нашего кружка, хотя духовная связь с ним и поддерживалась перепиской. Через много лет, в конце 80-х годов прошлого столетия, когда я снова встретился с ним в Иркутске, где он заканчивал свою десятилетнюю административную ссылку, а я наезжал туда из Забайкалья, Натансон, казалось, нимало не изменился: та же бодрость и неиссякаемая энергия, что и раньше, так же он является центром, вокруг которого группируются как политическая ссылка, так и все живые люди разных общественных положений г. Иркутска, а голова его полна планов революционной деятельности. Еще много позднее, в 1906 г., когда Россия пережила свою первую, но уже ущемленную революцию и когда 1-я Государственная Дума с ее многочисленными представителями от крестьянства вела безнадежную войну с правительством, я снова почти ежедневно встречаюсь с Натансоном в д. № 116 Невского проспекта— штаб-квартире трудовиков Государ. Думы. Здесь опять все тот же Натансон с его неистощимой энергией и увлечением, как свой и близкий человек, вместе со своими единомышленниками агитирует, совещается, организует и планирует предстоящие выступления и поведение крестьянских представителей в Думе. Революционная энергия Натансона не угасает до конца его дней.

Те же основные черты, что и у Натансона, были присущи и другому, не менее видному представителю кружка—Н. В. Чайковскому, с той лишь разницей, что последний был мягче и сердечнее, умел быстро сходиться с людьми и привлекать их к себе, в свою очередь искренно привязываясь к ним и сам. Те обширные связи в разных общественных кругах, которые уже были у Чайковского, давались ему легко и без всяких усилий с его стороны, чему немало способствовала и несомненная обаятельность его личности. Но эти же черты—искренняя привязанность к людям и к делу, с которыми так интимно был связан он сам,—думается мне, и были причиной той неожиданной для всех нас метаморфозы, которая произошла с ним, когда в 1874 г., после гибели близких ему людей и самого дела, он позволил увлечь себя Маликовым в богочеловечество. Его чувствительная душа не вынесла этого удара и заставила усомниться в тех путях, которыми он шел раньше. Но здравый смысл и тягостная жизнь в Америке скоро покончили с этим новым увлечением и вернули Чайковского к его старым богам. Я помню нашу первую встречу с ним в Москве в 1907 г., после 34-летнего перерыва, когда в стране уже свирепствовала реакция, а военно-полевые суды нещадно расправлялись с врагами старого порядка и когда Чайковскому вздумалось нелегально вернуться в Россию. Узнав о моем приезде в Москву, он отыскал меня при содействии Е. В. Падариной, и мы встретились с ним в квартире А. П. Чарушникова. Внешне он, конечно, сильно изменился, но был бодр и полон энергии

и веры. Помню, он целый вечер развивал мне свой план организации на Урале партизанской борьбы с оружием в руках и отстаивал возможность выполнения такового, ссылаясь на практику Лбова, сумевшего сделаться недосягаемым для властей в течение долгого времени. Горы и таежная местность, говорил он, благоприятствуют такому предприятию. Не разделяя его иллюзорных представлений, я, помню, пытался охладить его пыл, но Чайковский, видимо, оставался при своем, пока личная его поездка на Урал не убедила его в необоснованности его планов. Вскоре затем последовало его неудачное возвращение за границу, его арест, суд вместе с Брешковской и его оправдание, после чего он легализируется, остается в России и принимает деятельное участие в общественно-политической жизни страны, увлекаясь в то же время кооперацией, которой отдает немало своих сил. Уже летом 1917 г., в свою последнюю встречу с ним в Петрограде, когда страна кипела, раздираемая разными течениями, я, как-то возвращаясь с ним с одного многолюдного собрания, спросил его, какой прогноз он делает из всего происходящего в Росcиии на ближайшее будущее.

— Ну что ж,—ответил он, не задумываясь, — будет у нас буржуазная демократическая республика.

М. В. Купреянов, или попросту Михрютка, как его все любовно называли в кружке за некоторое сходство его во внешнем облике с молодым медвежонком, был необычайно умным и подающим большие надежды. Несмотря на свои 18 лет, он уже немало читал и читал основательно, добираясь до самой сути дела, благодаря чему, а также и свойствам своего недюжинного аналитического ума, он легко разбирался в самых сложных философских вопросах. Но основательность Купреянова, несмотря на его молодость, проявлялась не только в вопросах теории, но и в практической жизни. На Купреянова можно было положиться и быть уверенным, что всякое дело, взятое им на себя, будет выполнено им со всею тщательностью и предусмотрительностью. Он уже в это время входит в конспиративную группу кружка вместе с Сердюковым и Перовской и совместно с ними ведает транспортом по доставке из-за границы нелегальной литературы, а позднее ему же поручается закупка на Венской выставке и доставка в Россию типографии, а затем и вывоз Ткачева за границу, что и выполняется им безукоризненно.

В своих сношениях с рабочими Купреянов так же основателен и оригинален, как и во всем остальном. Если он брался раз'яснять что-нибудь рабочим или доказывать, то доводил дело всегда до конца, не оставляя никаких поводов для возражений. В довершение всего он был большим физиономистом и умел распознавать людей. Его большие лучистые глаза проникали как бы в самые таинственные глубины человеческой души и читали там то, чего не видели другие. И с отзывом Купреянова о людях всегда считались в кружке. К великому огорчению всех знавших и любивших

Купреянова, тюрьма, а затем и безвременная его смерть в 1878 г. не дали ему развернуть таящиеся в нем дарования.

К женской половине кружка мне много труднее было подходить из-за моей недостаточной привычки к женскому обществу. Но, как-никак, встречи эти постоянно происходили, и я постепенно осваивался и с ее представителями. Встречался я с ними в той же штаб-квартире, в гостеприимном и радушном доме Корниловых и у Ободовской, где, хотя и не часто, приходилось бывать, а у Корниловых иногда и обедать.

Дом Корниловых в своем роде был второй штаб-квартирой кружка, но неофициальной, где почти всегда можно было застать кого-либо из членов кружка или близких их знакомых и приятельниц. Это не был аристократический дом, подавляющий непривычного человека роскошью обстановки и великолепием, но все в нем все же свидетельствовало об обеспеченности и довольстве. Для нас, живущих на студенческих квартирах и питающихся кое-чем, это было уже из другого мира, мало доступного нам. Меня всегда немало удивляло, что после сытного и хорошо приготовленного корниловского обеда я ощущал волчий аппетит через какие-нибудь 3—4 часа, тогда как обычное и скудное студенческое питание такого эффекта не производило. Хозяйками в доме в это время были, повидимому, Любовь Ивановна и Александра Ивановна, члнеы нашего кружка, последняя, впрочем, в конце 71 г. уже выехала за границу учиться.

Л. И. Корнилова, впоследствии Сердюкова, была, при ее несомненном уме, живая и экспансивная девушка, отзывчивая и веселая, благодаря чему с ней всегда чувствовалось легко и свободно. Она быстро сходилась с людьми и невольно располагала их к себе. Младшая же сестра ее, Александра Ивановна, впоследствии Мороз, единственная из женщин кружка, оставшаяся еще в живых, по некоторым своим качествам была противоположностью своей сестре. Всегда сдержанная и серьезная, казалось, даже суровая, больше наблюдающая и слушающая, чем принимающая участие в разговоре, она была, видимо, с характером и более строга и прямолинейна в своих суждениях, чем ее сестра.

Дом Корниловых с его молодыми хозяйками играл немаловажную роль в жизни кружка. Там всегда находили временный приют, радушный прием и помощь все, кем-либо гонимые и преследуемые; отсюда же исходила как помощь, так и забота о заключенных. Но этим, разумеется, не ограничивалось их участие в жизни кружка, разнообразные предприятия которого требовали и более близкого участия с их стороны.

Большой приятельницей и другом Корниловых была Софья Львовна Перовская, кажется, самая юная из всего состава кружка. Тяжелая жизнь в ее аристократической семье и борьба за свою самостоятельность рано сделали ее взрослой и закалили ее характер. Не получив правильного школьного образования, Перовская

много работает над собой, много читает и учится, обнаруживая при этом богатые способности. Скромная, редко выступающая в большом обществе, большая ригористка в жизни и костюме, но всегда просто и чисто одетая, как и ее приятельницы Корниловы, она, требовательная к себе, была требовательна и к другим. Всякая неискренность и фальшь, особенно противоречие между словом и делом, выводили ее из себя и вызывали с ее стороны реплики, иногда и очень суровые. Но сдержанная и даже строгая на вид, она обладала нежной душой, была преданным и надежным другом, терпеливой и отличной сиделкой у постели больного, а порою, в компании близких, она умела звонко и заразительно смеяться. Рассказы же о том, что перед этим она блистала на аристократических балах, а теперь уже хозяйничала в III-м отделении, как у себя дома, приводимые для вящшего ее прославления, в чем она и не нуждается, конечно, ошибочны и не соответствуют действительности. В этот период своей жизни Перовская еще только формировалась, училась, принимая в то же время и активное участие в делах кружка, тщательно и умело выполняя и конспиративные поручения. Влиятельной роли в жизни кружка она в это время играть еще не могла; случилось это уже позднее, когда она сама выросла, возмужала, а вместе с этим поднялся и ее удельный вес.

С Анатолием Ивановичем Сердюковым и Феофаном Никандровичем Лермонтовым мне мало приходилось встречаться, и встречи эти были, большею частью, мимолетны. Оба они, несомненно, умные, но в остальном совершенно различные люди. Первый из них—сама искренность, живой, сердечный и деятельный, легко располагал к себе и возбуждал симпатии. Лермонтов же производил впечатление человека себе на уме и с большим самолюбием. Не нравилась мне и его кривая улыбка, нередко появлявшаяся на его лице при разговоре с собеседником. Эти свойства его натуры, возможно и незаурядной, плохо вязались с общим типом членов кружка и не могли не вызывать некоторого недружелюбного чувства к нему. Но, кажется, особенно не взлюбили Лермонтова наши женщины, а среди них наиболее Перовская. После разрыва с ним в 1872 г. из-за какого-то несогласованного и произвольного его поступка лишь одна А. Я. Ободовская сохранила с ним дружеские отношения.

IV.

Мой переезд на новую квартиру. Начало сношений с рабочими. Собрание у профессора Таганцева

Приблизительно в конце ноября 71 г. наша коммуна распалась: из прежних жильцов в ней остались лишь я и Л. Попов. В это же время неподалеку от нас поселился Синегуб с двумя медичками— Надеждой Купреяновой, сестрой М. В. Купреянова, и Марией Федосеевной Нагорской, которые и стали звать нас перебраться к ним. Занятая ими квартира из 4-х комнат позволяла уступить каждому из нас по отдельной комнате, что нас соблазняло, к тому же и публика была хорошая, а потому мы, недолго думая, перебрались туда.

Живя в этой новой коммуне, я продолжал усердно поддерживать связь с кружком, а вместе с тем и входил все больше и больше в круг его интересов. Занимало меня и самое дело, которому я не мог не сочувствовать, и люди, с которыми, по мере ближайшего знакомства, начала устанавливаться товарищеская близость. Но лишь одно обстоятельство приводило меня в некоторое недоумение. Кружок чайковцев, как и большинство русских революционных организаций, возникавших ранее, занимался также лишь подготовительною деятельностью для предстоящей в более или менее близком будущем работы в народных массах, подготовляя и организуя пока для этой работы лишь кадры деятелей из интеллигенции, самая же основная работа откладывалась на будущее. Такая постановка вопроса еще на гимназической скамье казалась мне ошибочной, в особенности для организаций, уже сформировавшихся и достаточно окрепших, каковой и был в действительности кружок чайковцев.

Дело в том, что судьба русских революционных организаций по своему печальному концу была тождественна: они гибли почти все еще в подготовительный период, не приступив к своей основной деятельности, а между тем социально-политическое освобождение мыслилось всеми лишь при сознательном и активном участии народных масс. При существующей же практике народные массы совсем не затрагивались, и дальше, если эта практика не изменится,

дело с народными массами будет стоять так же безнадежно, как и до сих пор, а, стало быть, будет безнадежно и самое дело освобождения.

Нечаевский процесс еще больше укрепил меня в мысли не откладывать работу в народе на будущее, а приступить к ней теперь же, не прекращая, разумеется, и другой организационной работы среди интеллигентских кругов. Эта последняя работа уже была налажена, тут имелись и традиции и действовать приходилось в среде родственной и хорошо известной, а потому, кроме лишь внешних препятствий, почти никаких иных затруднений для нее не было.

Совсем другое дело было с работой в народных массах. Здесь и внешних препятствий было много больше и при этом ни опыта, ни традиций, даже простого знакомства с народной средой, с ее психологией и бытом не было, кроме разве некоторого книжного. Поэтому и подойти к этой мало ведомой среде, к тому же настроенной недоверчиво ко всякому интеллигенту, как к барину, было много труднее, а еще труднее — установить с ней необходимые для дела простые и полные доверия отношения.

Все эти соображения и приводили к неизбежному выводу, что брешь в эту мало известную, но нужную область пробивать настоятельно необходимо. Необходимо это было и для самих революционных интеллигентских организаций, которые, варясь в собственном соку и не находя для себя подлинного дела, а лишь вечно только готовясь к нему, или погибали в тюрьмах, или же с годами растворялись в обывательской среде, забывая свои былые увлечения. В конечном же результате получалось какое-то топтание на одном месте: погибшие или распавшиеся организации заменялись новыми, а эти последние, в свою очередь,— еще более новыми и так без конца.

Укрепившись в мысли о необходимости теперь же, не откладывая в долгий ящик, приступить к работе в массах, а прежде всего в рабочей среде, как более близкой и доступной, я намеревался разрешить этот вопрос пока только лично для себя. Ставить же его на обсуждение кружка я не собирался, не зная, как этот последний отнесется к нему. Возможно, что я встретил бы те или другие серьезные возражения, на которые, не имея никакого практического опыта в этой новой области работы, мог бы ответить лишь только общими соображениями.

Решив так, я стал искать случая как-нибудь зацепиться за рабочую среду. Случай к этому скоро и неожиданно представился. На одном довольно многолюдном собрании в нашей коммуне, состоявшемся, если не ошибаюсь, после неудачных демонстративных поминок на могиле Добролюбова, откуда почти вся демонстрировавшая публика собралась у нас, чтобы выслушать приготовленную, но непроизнесенную речь, мы познакомились с студентом Грациановым, а через него несколько позднее с студентом

Ждановым. У Жданова был брат инженер, а оба они были владельцами химического завода, изготовляющего «Ждановскую жидкость», уничтожающую зловоние,—изобретение инженера Жданова. Вот этот-то студент Жданов и предложил нам—Синегубу, мне и Попову—принять участие в занятиях с его рабочими, культурный уровень которых он хотел поднять. Мы охотно приняли предложение и почти каждый вечер предпринимали путешествие из Рот на Петровский остров, что за Петербургской стороной, где был расположен ждановский завод. Здесь, кроме обучения грамоте и разным наукам, читались и кое-какие книги, а вместе с тем и происходили беседы на разные злободневные темы. Рабочая публика принимала нас хорошо и живо интересовалась нашими беседами. Но чем дальше шло время и чем откровеннее становились наши беседы, тем неловкость нашего положения становилась все очевиднее. Приглашенные самим владельцем завода для мирных, чисто культурного характера, занятий с рабочими, а не для пропаганды, разумеется, революционных идей, мы, не отказываясь от этой последней, тем самым как бы злоупотребляли оказанным нам доверием и становились в ложное и неприятное положение. Так как выхода из этого положения не было, то, кажется, уже в январе 72 г. мы с Поповым прекратили посещения ждановского завода и начали искать более независимых связей с рабочими, для чего стали посещать рабочие чайные Выборгской и Петербургской сторон. Синегуб же, а с ним и Стаховский, занятия с ждановскими рабочими продолжали до самого лета 72 года.

Посещая чайные, мы обычно старались попасть за рабочий столик, за которым знакомились с рабочей публикой, присматривались к ней, заводя на первых порах более или менее безобидные разговоры. Таким путем мы имели возможность наметить более толковую и симпатичную публику, знакомство с которой из чайных уже переносили в рабочие артели, часто очень многолюдные, где уже устанавливались более близкие и деловые отношения. Рабочие в большинстве случаев принимали «студентов» хорошо, охотно соглашались обучаться грамоте, если ее еще не знали, охотно шли на обучение и другим наукам, а еще более охотно слушали чтение или вели беседы на общественные темы. Это были все фабричные рабочие, правда, много менее культурные и развитые, чем заводские, но особенно ценные для нас тем, что они еще не потеряли связи с деревней, а потому в будущем, по достаточной подготовке их, могли быть пропагандистами не только в рабочей среде, но и в крестьянской, куда они ежегодно возвращались на летние работы и на праздники.

Первые наши шаги в рабочей среде, в особенности, когда самое трудное—заведение связей—уже миновало, не только не разочаровало нас, а наоборот, все больше и больше увлекало. Аудитория была восприимчивая и отзывчивая и охотно слушала нас,

а все остальное уже зависело лишь от нас самих, от нашего такта, уменья и преданности делу. В последнем недостатка, разумеется, не было, а такт и уменье постепенно приобретались опытом. С этих пор связь наша с Выборгским рабочим районом уже не только не прекращалась, а с течением времени углублялась и расширялась, приобретая в то же время и более организованную форму.

Здесь следует сказать, что одновременно с нами, но совершенно независимо от нас, такие же связи, но с заводскими рабочими, были заведены и А. И. Сердюковым, при посредстве студента Медицинской академии Низовкина. Это были уже квалифицированные рабочие, много более культурные и развитые, чем фабричные. Собирались они у Низовкина, где и велись занятия с ними по разным отраслям знания. Понятно, что Сердюкова не удовлетворяла лишь одна научная область, и он не преминул внести в свои сношения с рабочими общественно-революционный элемент.

Таким образом, брешь в неведомую нам рабочую среду—фабричную и заводскую—была пробита, и среда эта не оттолкнула и не разочаровала нас, а, наборот, увлекла, а немного позднее увлекла она и остальных чайковцев и близко стоящую около них молодежь.

Как я уже говорил, правительственная реакция не останавливалась в своем поступательном ходе, и естественного конца ей не предвиделось, благодаря чему русское общество все больше и больше настраивалось оппозиционно, а более молодая и нетерпеливая часть его—и революционно. Понятно, что при таком настроении те и другие пытались осмыслить создавшееся положение и найти из него выход. На этой почве и состоялось еще в декабре 71 года об'единенное и довольно многолюдное собрание у профессора Таганцева из представителей радикальной интеллигенции и всего наличного состава кружка чайковцев, находившихся в то время в Петербурге. Чья тут была инициатива—я в точности не знаю, но предполагаю, что исходила она не от последних. Цель этого собрания—побеседовать на злободневные темы и попытаться соединенными силами наметить ближайшие пути для выхода из тупика.

На собрании предполагалось заслушать предварительно реферат некоего Шевича, сенатского чиновника, «О сущности конституции» по Лассалю, который и должен был послужить ближайшим поводом для беседы на эту животрепещущую для России тему. Все чайковцы заранее были оповещены о предстоящем собрании и вечером, в назначенный день, небольшими группами, с разных концов Петербурга, двинулись на Васильевский остров, где жил тогда проф. Таганцев. По нашем приходе не особенно большая квартира Таганцева была уже полна народа. Там, кроме самого хозяина и референта Шевича, можно было видеть Н. К. Михайловского, В. И. Водовозова, известного педагога и общественного деятеля, Е. И. Утина, В. Д. Спасовича, В. П. Воронцова (В. В.) и многих других, которых я не знал или запамятовал. Из чай-

ковцев же припоминаю самого Чайковского, Клеменца, Волховского, Сердюкова, Купреянова, Лермонтова, Перовскую, Ободовскую, Любовь Корнилову и Шлейснер—жену Натансона. Самого же Натансона не было, так как он в это время уже сидел в III отделении.

На собрании, открытом под председательством Таганцева, было от 40 до 50 человек. Шевич прочел свой реферат, составленный исключительно по Лассалю без какой-либо экскурсии в область русской действительности. Сам по себе реферат Шевича не вызвал ни возражений по существу вопроса, ни даже каких-либо замечаний, так как, видимо, с основными положениями лассалевской речи о сущности конституции все были согласны. Этим роль референта и закончилась, и собрание уже само перевело вопрос о конституции на русскую почву, благодаря чему сразу же интерес собрания значительно повысился. Не помню, кто первый из участников собрания открыл прения по вопросу о конституции применительно к русским условиям, но хорошо помню, что выступали, главным образом, трое: чайковцы—Клеменец и Волховский—и близко стоявший к ним, но не входивший в состав кружка, В. П. Воронцов. Все они, не расходясь в основных положениях, в своих выступлениях лишь дополняли друг друга и углубляли вопрос.

В общих чертах сущность прений, как я уже писал в небольшой заметке об этом собрании, помещенной в «Каторге и Ссылке» (№ 2 за 1925 г., стр. 101), сводилась к следующему:

«Конституция, в особенности конституция подлинная,—дело хорошее, но сами собой конституции с неба не падают, а их добывают. Но кто же у нас будет бороться за конституцию? Наши привилегированные сословия—дворянство и буржуазия—слабы и бороться за конституцию не будут, а предпочтут защищать свои классовые интересы с заднего крыльца, что они с большим успехом и делают в настоящее время. С точки же зрения общенародных интересов классовая куцая конституция, каковую только и могли бы добыть эти классы, если бы даже и захотели, не была бы полезна, а послужила бы лишь к усиленной эксплоатации широких народных масс и их угнетению. Указывая на наше прошлое и, в частности, на наши земские соборы, созывавшиеся время от времени в старину, ораторы находили в этих последних подтверждение такого своего взгляда. Приводились факты, как, например, представители нашего третьего сословия добивались на этих соборах и для себя такого же права владения крепостными крестьянами, какими обладало дворянство».

«Таким образом,—писал я дальше,—для борьбы за конституцию наши высшие классы в целом признавались совершенно безнадежными».

Но «оставался еще один слой населения, действительно заинтересованный в политических свободах, это—наша интеллигенция,

но она тоже была слаба и сама по себе материально бессильна в борьбе с самодержавием; к тому же интеллигенция эта, в большинстве своем социалистически настроенная, не стала бы бороться за чистую конституцию».

«Этот анализ положения наших дел приводил к единственному и неизбежному выводу, что без серьезной материальной базы или, иначе говоря, без сознательного участия широких народных масс, выхода из тупика нет и не может быть. А чтобы создать эту базу и вовлечь в борьбу и наше многочисленное крестьянство, и наших рабочих, тогда еще немногочисленных, но более культурных и восприимчивых, чем крестьянство,—необходимо развернуть наше знамя, выставив на нем и социалистические требования, близкие и понятные для тех и других. Словом, интеллигенция должна об'единить свое дело с делом общенародным, поставив это последнее во главу угла и связав его с вопросом политическим».

Отсюда сам собою вытекал вопрос о необходимости организации народных масс в целях вовлечения их в активную борьбу с самодержавием, а вместе с тем и вопрос о пропаганде среди них.

Вышеуказанные общие выводы, к каким пришло собрание, ни с чьей стороны никаких возражений не встретили. Рассмотрение же организационных вопросов, при котором, несомненно, в первую же голову выплыл бы аграрный и рабочий вопросы, как базис для об'единения рабочих и крестьян, за поздним временем было отложено до следующего собрания, которое, по неизвестным мне причинам, так и не состоялось. Возможно, что при рассмотрении этих коренных вопросов уже не было бы того единодушия, какое было на этом первом собрании при рассмотрении вопросов общего характера.

Собрание у Таганцева и те выводы, к каким оно пришло, еще более укрепили во мне мысль о необходимости работы в народных массах и, в частности, в рабочей среде, не откладывая ее в долгий ящик. Обязывало, повидимому, к этому же и остальных чайковцев, принимавших столь активное участие в рассмотрении и предрешении этого вопроса на упомянутом собрании. Но кружок в целом пока этого вопроса не поднимал у себя, хотя принципиально он стоял на той же точке зрения, на какую стало собрание у Таганцева. Всегда осторожный и вдумчивый, он не спешил переходить с занятой им позиции на другую, еще мало ведомую и мало освещенную. К тому же организационные планы среди интеллигентских кругов не считались еще выполненными, а потому и разбивание своих небольших сил в такое время могло казаться преждевременным. Как-раз приблизительно в это время и несколько позднее некоторые из чайковцев заняты были даже мыслью о вовлечении в круг своих организационных планов земского элемента, для чего знакомились с земской литературой и заводили связи с земцами, а Кропоткин, вошедший в состав кружка весной 72 г., хотя

уже и анархически настроенный, предлагал даже свои услуги, если кружок того пожелает, заняться организацией придворных сфер, где у него были знакомства и связи, в целях конституционного переворота. Но эти планы, свидетельствовавшие лишь о поисках более коротких путей для выхода из политического тупика, в котором находилась страна, были скоро оставлены, как не имеющие под собою реальной почвы, и к ним уже не возвращались.

Вероятно, немалое влияние в этом отношении оказала и начавшаяся работа в рабочей среде, в которую постепенно втягивались и другие члены кружка. Рабочая среда, как я уже сказал, оказалась отзывчивою и для работы благодарною; ею невольно увлекались и незаметно для себя перемещали центр тяжести своего внимания с интеллигентских кругов на рабочие массы, что в то же время совпадало и с идеологическими представлениями.

То, о чем мечтали, к чему стремились и что в конечном итоге должно было, особенно в русских условиях, составлять главную задачу деятельности всякой революционной организации, оказалось совсем не трудным, была бы лишь для этого известная решимость.

V.

Вести из Вятки с призывом помочь выбраться из домашних тисков Чемодановой. Новые члены кружка: С. М. Кравчинский, П. А. Кропоткин и С. С. Синегуб. Несколько слов о Д. А. Клеменце. Моя поездка в Вятку, Орлов и обратно. Углубление работы среди рабочих, которая захватывает почти весь состав кружка и становится его главным делом.

Приблизительно в феврале 72 г. мною из Вятки получено было от Кувшинской письмо, в котором она сообщала о печальной участи одной из своих любимых воспитанниц епархиального училища, Ларисы Васильевны Чемодановой, дочери сельского священника. Блистательно окончив курс этого училища в 71 г. на 16-м году, но будучи уже основательно затронута новыми идеями, она поехала в свое село Уни, где отец ее священствовал, с радужной надеждой осенью же этого года поехать учиться дальше, чтобы затем посвятить свои силы на служение народу. Но дома эти мечтания умной и даровитой девушки были скоро и основательно разбиты: о поездке куда-либо учиться никто и слышать не хотел, а вместо поездки вольнодумную и зараженную вредными идеями девицу подвергли строгому режиму, сделав ее жизнь невыносимой. От отцовского деспотизма Лариса бежала, но на 80-й версте была поймана отцом и возвращена домой, после чего жизнь в семье сделалась для нее еще невыносимее. Ее окружили шпионами, прекратили всякие сношения с внешним миром, дозволив лишь видаться с дочерью местного дьякона, и в довершение всего собирались выдать замуж за нелюбимого человека—местного мирового судью Захарова, большого любителя выпить. Дело для нее стояло так: или свобода, хотя бы путем фиктивного брака, или смерть. Я знал эту девушку. Бывая у Кувшинской в епархиальном училище, я в числе других воспитанниц познакомился и с Ларочкой Чемодановой, невольно обращавшей на себя внимание. Красавица, но вместе с тем скромная и серьезная, с пытливым умом, усиленно работавшая над собой, уже твердо для себя решившая во что бы то ни стало выбиться на широкий жизненный простор, она обладала глубокой и сильной натурой, которая не сгибается, а лишь ломается. Попав в домашнюю

кабалу и потеряв надежду собственными силами выбраться из нее, она, несомненно, покончила бы все счеты с жизнью, если ей не будет помощи со стороны, о чем она через свою подругу, дьяконскую дочку, и извещала Кувшинскую. Вот об этом и писала мне последняя и убедительно просила помочь Ларисе хотя бы путем устройства фиктивного брака.

В то время каждым ценным человеком, в особенности из женской половины, хотя бы этот человек еще только подавал надежды, очень дорожили, дорожил ими и наш кружок, а потому в число своих задач он ставил как помощь политическим ссыльным по освобождению их из неволи, так и молодым людям, стремящимся вырваться из кабалы домашней. Поэтому сочувствие делу освобождения Чемодановой было полное, но весь вопрос был в том, как это сделать и кто возьмется за такую сложную и щекотливую миссию, как устройство фиктивного брака с девушкой, находящейся в заточении в глухой сельской местности под тщательным присмотром домашних, при этом уже подозрительно настороженных относительно возможности фиктивного брака, благодаря перехваченным ранее письмам Ларисы к Кувшинской.

Перебирая своих приятелей, я остановился на Синегубе, как на наиболее подходящем для такой роли человеке. Он был дворянин и сын помещика, значит хорошего происхождения и материально должен казаться совершенно обеспеченным, что было чрезвычайно важно для родителей; затем—в достаточной степени находчив и не трус, — качества, тоже необходимые, а, главное, его уменье быстро сходиться с людьми и располагать их к себе делали его незаменимым человеком для предназначенной роли. Дело же было, действительно, трудное и до крайности щекотливое, а проваливать его ни в каком случае не хотелось, да и стоило бы это жизни хорошего человека и многих неприятностей для другого.

Остановившись на Синегубе, я вместе с тем не хотел оказывать на него какого-либо давления, а потому, возвратившись домой по получении письма Кувшинской, ограничился лишь подробным изложением всех обстоятельств дела моим сожителям, в том числе и Синегубу. Последний, выслушав все, тотчас же сам предложил мне свои услуги, о чем я и уведомил Кувшинскую, а эта окольными путями довела до сведения Ларисы. Но Чемоданова почему-то долго молчала и лишь к осени того же 72 г. написала Кувшинской, что терпеть больше не может, и просила послать ей на выручку обещанного жениха. Жених, хотя уже и перестал, было, думать о своей неведомой невесте и своей освободительной миссии, тотчас же принялся с помощью своих друзей за приготовления к от'езду, каковой после подробного инструктирования и состоялся приблизительно во второй половине сентября. Миссия Синегуба, потребовавшая до 2-х месяцев времени, несмотря на целый ряд затруднений, предвидеть которые заранее было невозможно, была вы-

полнена им артистически. Подробно и красочно вся эта история фиктивного брака Синегуба и Чемодановой, обратившегося через год в самый тесный и завидный супружеский союз, описана самим Синегубом в его «Воспоминаниях чайковца» на страницах «Былого» (№ 8—1906 г.).

Весною 1872 г. кружок наш пополнился новыми членами— Кравчинским и затем Кропоткиным. Это были ценные приобретения для кружка.

Сергей Михайлович Кравчинский, артиллерийский офицер, некоторое время уже служил в батарее, но затем бросил военную службу и поступил в Петербургский лесной институт. Это был богато одаренный и увлекающийся молодой человек среднего роста, богатырски сложенный, с большою курчавой головой, с крупными чертами лица и со взглядом исподлобья. Весь его облик, дышащий умом и энергией, был оригинален. Он много и серьезно читал, владел несколькими языками и в кружок вошел уже определенно настроенным революционно, но на несколько романтический лад. Изучая историю Великой французской революции, он пришел к выводу о громадной роли личности в направлении и ходе этой революции и в ходе истории вообще, а потому естественно, что эту же точку зрения переносил и на русскую действительность, мечтая о героических подвигах. Попав в кружок, быстро сойдясь с многими из его членов и искренно привязавшись к ним, а вместе с тем и проникнувшись уважением к кружку в целом, он невольно для себя переносил и свою веру в собственные свои революционные силы на коллективные силы кружка, представлявшего уже тогда известную общественную величину. Но романтически настроенная натура Кравчинского никогда не могла уложиться в рамки правильной, систематической работы и постоянно рвалась к личным подвигам революционного характера, что не раз ему и приходилось приводить в исполнение впоследствии.

Другой вошедший в состав кружка—Петр Алексеевич Кропоткин—имел много общих черт с Кравчинским. Происходя из известной княжеской фамилии, корни которой обретаются в роде Рюриковичей, он воспитывался в Пажеском корпусе, по окончании курса которого ему открывалась широкая придворная карьера, но от последней он уклонился, предпочтя ей военную службу в Сибири, куда и отправился в 1862 г. Здесь он пробыл целых 5 лет то в Чите, то на Амуре, то в Иркутске, то предпринимая экспедиции в Манчжурию, предаваясь в то же время со всем пылом молодости общественной и научной работе. Будучи конституционалистом, но разочаровавшись в русской государственности, вступившей после польского восстания 1863 г. на путь откровенной реакции, Кропоткин, после восстания в 1866 г. ссыльных поляков на Кругобайкальской дороге опасаясь, что его, как военного, могут послать на какое-либо усмирение, бросает военную службу

и в следующем же году едет в Петербург, где отдается научной работе в качестве секретаря русского географического общества. Но несмотря на его увлечение наукой и известность благодаря его работам в ученом мире, Кропоткина, как живого и чуткого человека, повелительно влечет «в стан погибающих за великое дело любви»: он бросает и эту службу и в 1871 г. едет за границу, где знакомится с рабочим движением, примыкает к Юрской федерации и приобщается к анархическому мировоззрению. Возвратившись в 1872 г. в Россию, он, ищущий живого дела, весной этого же года примыкает к кружку чайковцев, искренно привязывается к нему и отдает ему все свои силы, как и Кравчинский, несмотря на разницу в теоретических воззрениях. Невысокий, коренастый, с огромной русой бородой, доходящей чуть не до пояса, с живым взглядом и выразительным умным лицом, Кропоткин, несмотря на то, что был старше многих из нас лет на 7—10, благодаря своей простоте и искренности сразу же завоевал наши общие симпатии. Демократ в душе и по привычкам, выработанным еще предыдущей жизнью, он быстро вошел в круг деловой жизни кружка, не внося в нашу тесно сплоченную семью ни малейшего диссонанса. Несмотря на то, что ни Кравчинский, ни Кропоткин организаторскими способностями не обладали и в жизни кружка руководящей роли не играли, они своим участием в нем вносили много оживления и содержательности. К тому же оба обладали литературными дарованиями, что при расширяющихся задачах кружка, в особенности в связи с рабочим делом, нуждавшимся в создании особой популярной литературы по общественным вопросам, представляло большую ценность.

Едва ли не больше всех других из состава нашего кружка к типу этих двух людей по свойствам своей натуры приближался Дмитрий Александрович Клеменц. Разносторонне образованный, с пытливым и острым умом, одинаково легко ориентирующийся в вопросах общественного характера и научных, смелый, находчивый и остроумный, крайне нервный и живой, не могущий и минуты спокойно посидеть на месте, он невольно вызывал к себе общее любовное и в то же время почтительное отношение. Его острого языка побаивались все, а вместе с тем и подтрунивали над ним самим за его анархическую беспорядочность в жизни. Эта безусловно оригинальная личность, оригинальная и во внешнем своем облике, плохо укладывалась в рамки кружковой деловой жизни и нередко вылезала из них, что, однако же, не нарушало установившихся с ним дружеских и приятельских отношений. Клеменца ценили и уважали и охотно прощали ему его маленькие погрешности, вытекающие из его широкой, увлекающейся и неуравновешенной натуры, формировавшейся на широком просторе приволжских степей. Рамки русского подполья всем им были тесны, и они не имели возможности в должной мере развернуть свои силы.

Приблизительно около этого же времени в состав нашего кружка вошел и С. С. Синегуб, о котором я уже говорил раньше. Это был тоже своеобразный тип, но совсем в другом роде, чем последние трое. Его уже давно и хорошо знали в кружке, ценили и любили, как искреннего и преданного делу человека и прекрасного работника, но до сих пор не решались вводить его в состав кружка по недостатку в нем, как казалось, надлежащей конспиративности.

К лету 1872 г., порядочно измотавшись за осень и зиму, часть нашей публики стала раз'езжаться. Уехала С. Л. Перовская в Самарскую губернию учительствовать на курсах по подготовке народных учителей в имении М. А. Тургеневой, а затем она, в качестве оспопрививательницы, бродила по окрестным селениям, знакомясь с жизнью и настроением крестьянства. Уехал Синегуб на юг к брату, а затем в Екатеринбург. Еще раньше, а именно осенью 1871 г., А. И. Корнилова выехала для изучения акушерства в Вену, где попутно знакомилась с рабочим движением. Поехал и я в Вятку, а затем в Орлов—к своим.

В Вятке ко времени моего приезда большинство вятского студенчества уже было на месте, а потому в городе царило оживление в связи со с'ездом молодежи, которой было что порассказать. Приехал, между прочим, и состоящий в деловых отношениях с чайковцами Овчинников из Казани; я и передал ему часть привезенной литературы, а он ознакомил меня с тем, что делается в Казани. Мои же старые знакомые все были на месте, были и Трощанский, и Кувшинская, с которой я всю эту зиму вел оживленную переписку. Кувшинская рассказала мне о последующей, после выхода из епархиального училища, судьбе своих воспитанниц, с большинством из которых она поддерживала переписку. Почти все они попали в родительскую кабалу, вырваться из которой можно было лишь при помощи экстраординарных мер. Но всего больше беспокоила ее Чемоданова, положение которой было отчаянное, а известий от нее никаких. В то время еще не было ничего известно, как она отнесется к готовности Синегуба разыграть роль ее жениха, и это очень беспокоило нас.

В это же лето отпределились и мои отношения к Кувшинской: прежняя наша дружба сменилась любовью, несмотря на мое твердое решение не связывать себя браком, могущим по своим последствиям, как я думал, послужить помехой свободно располагать своей судьбой. Но, зная Кувшинскую, ее взгляды и настроение, опасения эти поблекли и перестали устрашать меня.

Прожив в Вятке 2—3 недели и условившись с Кувшинской с'ехаться в августе в Казани, чтобы отсюда уже ехать вместе в Петербург, я выехал в Орлов к своим, а Кувшинская—в свою Кокшагу, Яранского уезда.

В Орлове я все нашел по-старому, материальные условия моих семейных были сносные, но настроение мое, несмотря на это, было

далеко не важное. Там, конечно, все были рады видеть меня целым и невредимым, но эта радость еще больше угнетала меня, так как я отчетливо сознавал, что для семьи я уже конченный человек и никаких надежд возлагать на меня не приходится. Все это отравляло радость пребывания моего среди близких. Мучило меня и сознание, что и сама катастрофа со мной, каковую рано или поздно я считал неизбежной, сама по себе, помимо всяких материальных соображений, причинит моим семейным много искреннего и глубокого горя, не умеряемого притом тождеством взглядов на мои гражданские обязанности. От матери, воспитанной в ветхозаветной среде, конечно, трудно было и ждать понимания, а потому я и не решался заговаривать с ней на эти темы, чтобы заранее не тревожить ее. И лишь мои подрастающие братья, в особенности, старший из них, с которым по возрасту у меня были более близкие отношения, могли до известной степени понять мои мотивы и не осуждать меня.

Недолго при создавшихся трудных обстоятельствах я пробыл в Орлове и скоро выехал в Вятку. Это была моя последняя встреча с родными, и лишь через 23 года я имел возможность снова увидеться с ними, но уже значительно поредевшими и постаревшими.

В Вятке я пробыл всего лишь несколько дней и опять на лошадях двинулся на Казань, где, как было условлено, встретился с Кувшинской, уже ожидавшей меня. В тот же день, взяв из экономии билеты 3 класса, мы выехали на пароходе в Нижний, но поднявшийся ночью холодный северный ветер в значительной степени отравил нам радость встречи и удовольствие самой поездки. Мы мерзли от холода и вынуждены были искать какого-нибудь прикрытия от все усиливающегося ветра и, наконец, нашли его между тюками под брезентом, где и провели утомительно длинную и беспокойную ночь.

В Москве опять остановка и поездка в Петровско-Разумовское, чтобы повидаться с нашими знакомыми, между прочим, и с Синцовыми [1], жившими этим летом недалеко от Разумовского.

По приезде в Петербург я сдал Кувшинскую Корниловым, которые устроили ее в женской коммуне, на Басковой ул., где в это время проживали Рязанцева, Палицына, Надя Купреянова и Олеся Охроменко, а я поселился в Ротах, недалеко от Технологического института и нашей штаб-квартиры, перебравшейся за лето со своего старого пепелища на Кабинетской улице. На этот раз на этой новой квартире жили лишь В. И. Корнилова, Чайковский и Купреянов, а несколько позднее временно поселилась тут же и О. А. Шлейснер. Поселившись поблизости от нее, я почти ежедневно бывал там и имел возможность ближе сойтись как с самим Чайковским, так и другими членами кружка, посещавшими эту квартиру. Вера

[1] М. М. Синцов—бывший председатель Вятской губ. зем. управы.

Ивановна Корнилова в это время была уже больна и редко выходила из своей комнаты, а когда выходила, большею частью лишь к обеду, то была молчалива и мало принимала участия в общих разговорах. Видимо, настроение у нее было неважное.

Осенью 1872 г. дела кружка шли в прежнем направлении, но с тою лишь разницею, что члены его все больше и больше уделяли внимания рабочему делу. Эта последняя деятельность кружка невольно сказывалась и на настроении студенческой молодежи, в особенности той части ее, которая соприкасалась с чайковцами. Невольно заражаемая тем увлечением новым делом, которое было у этих последних, молодежь охотно шла навстречу новому течению, принимая деятельное участие в занятиях с рабочими, организуясь с этой целью в самостоятельные подсобные кружки. Постепенно, благодаря приливу новых сил, деятельность в рабочей среде ширилась, захватывая новые рабочие районы. Но едва ли не главным центром деятельности среди рабочих была в это время Выборгская сторона, где в ноябре этого года специально для занятий с рабочими был нанят большой дом Байкова, в который перебралась вся женская коммуна из Баскова переулка в лице медичек: Кувшинской, Рязанцевой, Кочуровой, Купреяновой и только-что прибывшей вместе с Синегубом Ларисы Чемодановой, уже обвенчанной с ним. Эта женская компания поселилась в двух поместительных комнатах, отделенных от другой, много большей части дома парадными сенями. В этой второй половине, состоявшей из большого зала и трех жилых комнат, разместились студенты: Попов Леонид, Стаховский, Шамарин, Жуков и Красовский. Занятия школьного характера обычно происходили по отдельным комнатам, а в зале производились общие чтения, беседы или читались лекции по общественным вопросам. Ежедневно вечерами собирались сюда десятки фабричных рабочих—мужчин и женщин—и усердно занимались или слушали чтение или лекции. Здесь Кропоткин читал лекции об интернациональном движении рабочих Запада, а Клеменц знакомил рабочих с русской историей и, в частности, с народными движениями. До февраля следующего года весьма деятельное участие принимал в делах Выборгского района Синегуб, живший в это время вместе со мной на Выборгской же стороне, куда из Рот я переселился, чтобы быть ближе к месту моей главной деятельности в рабочей среде.

Вспоминая теперь эти ежедневные и многолюдные собрания рабочих в доме Байкова, тянувшиеся до лета 1873 года, невольно удивляешься, как многоокая полиция ничего не видела и ни разу не побеспокоила живущих в нем, хотя рабочие мало таились в своей среде об этих собраниях и почти ежедневно привлекали на них все новых и новых любителей просвещения. Очевидно, и для полиции, и для агентов политического сыска это тоже было совсем новое дело, о существовании которого они не подозревали, а по-

тому попрежнему все внимание свое направляли в другую сторону.

Благодаря такому уклону внимания со стороны надзирающих органов, работа в рабочей среде, при соблюдении лишь некоторой осторожности, происходила в течение 1872 и почти всего 1873 г.г. почти беспрепятственно. Это было, в особенности при начале сношений с рабочими, чрезвычайно важно, так как давало возможность работающей публике выработать соответствующие навыки в совершенно новом для нее деле, полюбить это дело, увлечься им, успеть подготовить из наиболее отзывчивых и способных рабочих преданных делу людей и установить с ними прочную идейную связь.

Выборгский район, как я уже говорил, был по преимуществу фабричным. Здесь работали выходцы из подмосковных губерний, не потерявшие еще связи с деревней. Обычно на большие праздники, и в особенности на время летних полевых работ, они раз'езжались по своим деревням для участия в этих работах. К осени они снова возвращались на фабрику и в свои артели, чтобы заработать малую толику для поддержки своего крестьянского хозяйства. Заработок ткачей был скудный, а работа длительна и утомительна, развлечений же никаких, кроме трактира или чайной. Культурный уровень массы фабричных, часто совсем неграмотных, был не высок и мало чем отличался от крестьянской массы. Но мы, мечтавшие воздействовать и на эту последнюю, как я уже говорил, особенно ценили фабричную среду, как не только ценную самое по себе, но и как естественного проводника в ближайшем же будущем революционных идей в крестьянских массах.

Однако, чтобы достигнуть таких результатов, нужно было предварительно проделать большую работу: неграмотных надо было обучить грамоте и сообщить им хотя бы самые элементарные сведения по разным отраслям знания, а затем уже чтением, беседамь и лекциями на темы общественного характера постепенно вводити в круг наших идей. Мы шли в народную среду, чтобы путем пропаганды приобщить ее к этим последним, а приходилось, прежде всего, брать на себя чисто черновую работу, которая должна бы быть сделана начальной школой, которой в то время среди крестьянского населения почти не было.

Все это, без сомнения, немало затрудняло нашу работу, которую к тому же приходилось делать тайком, усердно укрываясь от зоркого и подозрительного ока начальства. Но многоразличные препятствия, встречавшиеся на нашем пути, как бы они серьезны ни были, не казались нам страшными и непреодолимыми. Безграничная вера в идею и в ее жизненность покрывала все. К тому же мы были социалистами и отчетливо сознавали, что дело народа в конечном итоге должно находиться в его собственных руках, и освобождение его всецело будет зависеть от степени его сознательности, которой нужно было добиваться во что бы то ни стало.

Правда, наш социализм плохо усваивался реалистически настроенной полукрестьянской массой фабричных рабочих, которые с гораздо более живым интересом слушали нас, когда мы касались вопросов о земле, податях, административном произволе, беззастенчивой эксплоатации владельцев промышленных заведений, о нашем государственном строе, выгодном лишь для богатых и знатных. Подвергая критике наш государственный строй, построенный на бесправии и угнетении народа, мы всегда, конечно, указывали, что изменение этого строя в благоприятном для народа смысле всецело будет зависеть от самого народа, перед силой которого не устоит никакое правительство. Таким образом, силою вещей наша пропаганда вращалась в области социально-политических идей, в особенности же политических, без разрешения которых не представлялось возможности разрешить и вопросы социального характера.

Эту грандиозную задачу, в особенности в такой необ'ятной и малокультурной стране, как наша, мы не собирались разрешить в завтрашний же день. Мы отлично понимали, что дело это страшно большое и трудное и потребует много времени и тысяч жертв не одного поколения революционных деятелей, но сделать его было необходимо. И лишь временами, в минуты раздумья, когда со всею отчетливостью представлялась вся необ'ятность начатого дела, казалось безумием какой-то горсти людей, хотя и беззаветно преданных, мечтать перевернуть все вверх дном в огромной некультурной стране с прочно стоящей и хорошо организованной историческою властью, располагающей материальными силами и веками налаженной государственной организацией. Но сомнения эти были мимолетны и не имели влияния на прочность веры в жизненность нашей идеи, которая, как мы были убеждены, победит все лежащие на ее пути препятствия. Не будь этой веры, люди не шли бы с таким легким сердцем на явно безнадежное для них лично дело, не было бы и последующего движения, видоизменявшегося лишь в зависимости от времени и господствующих настроений.

В то время, о котором идет речь, как я уже говорил раньше, рабочий класс был малочислен и слаб и особых надежд для борьбы за освобождение сам по себе представлять не мог. Россия в начале 70-х годов была страной по преимуществу крестьянской, многомиллионные массы которой находились во всех отношениях в самом безотрадном положении, а потому они и не могли не привлекать к себе нашего преимущественного внимания, тем более, что массы эти в наших глазах представляли ту потенциальную, но пока еще не сознанную ими самими, революционную силу, при помощи которой только и возможна была победоносная борьба с угнетающим страну режимом. Но доступ в эту крестьянскую среду был бесконечно труден, а городской идейный интеллигент, как бы он ни был революционно настроен, этой среды совсем не знал или



Конец 1860-х г.г.



1873 г.

Анна Дмитриевна Кувшинская (Чарушина)



1870-ые г.г.



1860-ые г.г.

Николай Аполлонович
Чарушин

знал очень мало; подойти к ней, не возбуждая к себе подозрения или недоверия, сумел бы далеко не всякий. Вот почему в самый первый период движения внимание по преимуществу сосредоточивалось на рабочем классе, в особенности на его фабричной части, еще не потерявшей связи с деревней. Рабочая публика, притом все же более культурная, чем деревенская, была под боком, и подойти к ней, не ломая себя, было много легче. Среда эта была также угнетена и обездолена, а потому и отзывчива. У ней, правда, были и свои интересы, но эти интересы, как непосредственно входившие составною частью в круг наших идеологических представлений, были в то же время и нашими интересами. Подготовленные в достаточной степени, они, естественно, могли быть и лучшими пропагандистами освободительных идей в крестьянской среде, где они были своими людьми, не возбуждавшими ни у кого никакого подозрения. Расчет был правильный, в ближайшее же время рабочие и дали таких пропагандистов в крестьянской среде, которые в своих сообщениях с мест отнюдь не жаловались на холодное или недоверчивое отношение со стороны крестьян к их проповеди; наоборот, письма их и личные сообщения были полны веры в начатое ими дело.

К концу 1872 г. другим, после Выборгского района, крупным центром пропаганды среди рабочих был Васильевский остров, где, как уже сказано было выше, с самого начала сношений с рабочими работал член нашего кружка, студент-медик А. И. Сердюков,

Здесь налажены были правильные занятия по разным отраслям знания, но уже более повышенного типа, чем с фабричными, происходили чтения и беседы и читались лекции на общественные темы. В качестве лекторов здесь выступали: Чайковский, Кравчинский, Кропоткин, Клеменц и А. И. Корнилова. Собрания этих рабочих происходили, главным образом, в квартире студента-медика Низовкина, принимавшего непосредственное участие в занятиях с рабочими. Позднее, когда начался разгром, этот же Низовкин, не бывший членом кружка чайковцев, но сталкивавшийся со многими членами его и кое-что знавший о нем, явился, спасая свою шкуру, предателем и осведомителем следственной власти не только в отношении своих товарищей по работе, но и всего кружка в целом. Показания Низовкина, хотя и поверхностные и не всегда соответствующие действительности, все же дали возможность следственной власти из массы подсудимых (193-х) выделить в особую группу чайковцев численностью почти в 30 человек.

В других рабочих районах—за Лиговкой, Нарвской и Невской заставами—к концу того же года тоже уже шла работа, в которой принимали участие подсобные кружки молодежи, при участии кого-либо из чайковцев, а на Малой Охте, на заводе Торнтона, поселившись там, работал и Клеменц.

Уже в это время среди идейной интеллигентской публики под напором стремления к возможно полному слиянию с народом, в интересах создания лучших условий для пропаганды, делались первые шаги к переходу из интеллигентского состояния в положение простого рабочего. Так, Шлейснер, брат жены Натансона, а затем Дм. Рогачев, бывш. артиллерийский офицер, оба близко стоявшие к кружку чайковцев, одни из первых поступили простыми рабочими на заводы за Невской заставой. Оба были люди крепкого сложения и выносливые, а последний—настоящий богатырь, веселый и добродушный, а потому в новом своем положении они легко освоились и обжились.

Таким образом, к концу 1872 г. рабочее дело для чайковцев становится фактически важнейшим делом, им увлекаются, на нем сосредоточивается преимущественно их внимание. В составе кружка уже в это время почти не было никого, кто бы в той или иной степени не принимал активного участия в этом новом для него деле. Но все это делалось пока без специальной санкции кружка в целом, а как-то само собою, благодаря естественному уклону настроений именно в эту сторону. Откладывать дальше обсуждение назревшего вопроса становилось уже невозможным. Нужно было, наконец, санкционировать это дело и отвести ему определенное место в деятельности кружка, практически и без того уже занявшего в нем одно из самых видных мест.

VI.

Общее собрание членов кружка, на котором рабочее дело получает окончательную санкцию. Новые задачи кружка в связи с новыми задачами: выявление легальной, доступной для народа литературы, создание нелегальной и осведомление отделений кружка о новом направлении его деятельности. Моя поездка по отделениям по поручению кружка с осведомительными целями и для установления полной согласованности в задачах работы. Москва, Орел, Киев, Одесса, Херсон, Николаев, Харьков, Воронеж. Опять в Петербурге. Смерть В. И. Корниловой. Настроение молодежи. Тяга в народ. Журнал «Вперед». Покупка типографии.

В январе 1873 г. было созвано, наконец, общее собрание членов кружка, на котором, по приведении в известность уже сделанного в рабочей среде, это новое дело без возражений не только санкционируется, но ему отводится в задачах кружка самое почетное место. Прежние же задачи кружка, как книжное дело, пропагандистская и организационная деятельность среди интеллигенции и учащейся молодежи, не отбрасываются, а видоизменяются, в особенности же видоизменяется работа с молодежью, которая отныне должна призываться к непосредственной работе среди народа. Таким образом, лишь через год после памятного собрания у профессора Таганцева кружок чайковцев и принципиально, и фактически становится на точку зрения решений этого собрания.

В связи с новым направлением деятельности кружка само собой возникли и новые задачи. Прежде всего нужно было осведомить наши филиальные отделения в других городах о коренном изменении деятельности кружка и вместе с тем постараться путем личного воздействия и переговоров изменить в желательном направлении деятельность этих отделений. Миссию эту собрание возложило на меня.

Другим не менее важным вопросом, вытекающим из решения помянутого собрания, был вопрос о народной литературе, необходимой при работе среди народных масс. В то далекое время чего-либо подходящего в легальной литературе почти ничего не было, а если что и было, то было раскидано по разным повременным

изданиям, мало доступным для пользования. Нелегальной же литературы для народа и совсем не было. Поэтому пропагандисту в рабочей и крестьянской среде приходилось приступать к своему делу почти с пустыми руками, что, естественно, сильно тормозило его работу, лишая его возможности пользоваться таким важным вспомогательным средством, как хорошая и доступная для понимания книга. Поэтому само собой возникал вопрос о выявлении в первую голову уже имеющегося, но раскиданного по разным изданиям подходящего материала и издании такового, если он того заслуживал, а затем и о создании такой литературы, в особенности нелегального характера. В этих целях и было приступлено к ознакомлению с имеющимся материалом, а затем и к переговорам с авторами о разрешении издания наиболее ценного из него. Переговоры эти велись Чайковским и другими членами кружка; помню, и мне пришлось по этому поводу посетить Майкова и Михайлова-Шеллера и вести с ними соответствующие разговоры, но не могу припомнить, о каких произведениях шла у меня с ними речь. Обследование это и переговоры с авторами немного что дали, но все же кое-какие результаты были. Так, едва ли не первым изданием кружка в этой области было издание талантливого и пользовавшегося большим успехом среди рабочих рассказа Цебриковой «Дедушка Егор». Но отдельное издание даже таких сравнительно невинных произведений было сопряжено с великими трудностями, благодаря цензурным препятствиям. На петербургскую цензуру рассчитывать было трудно, а потому рассказ был отправлен в Киев на разрешение тамошней, более милостивой цензуры, где он и был издан. Уже этот опыт с легальным изданием книжек для народного чтения наглядно показал, что дело это, благодаря внешним препятствиям, сколько-нибудь успешно двинуть будет нельзя. Приходилось поэтому, главным образом, надежды возлагать на нелегальную литературу, которой еще не было и которую нужно было создать, для чего и призывались члены кружка, обладавшие тем или другим литературным дарованием.

В начале февраля, исполняя поручение кружка, я начал собираться к об'езду по отделениям. Предстояло совершить довольно большое путешествие в направлении к югу России, увидеть неведомые мне края и перезнакомиться со многими новыми для меня людьми. Все это не могло меня не занимать. Но еще много больше интересовала меня самая миссия, возложенная на меня, которой я не мог не придавать большого значения и успешность выполнения которой в значительной степени должна была зависеть от меня самого. Встречу ли я сочувствие новому направлению деятельности кружка, будет ли оно приемлемо для отделений, и, наконец, сумею ли я, в случае неподготовленности почвы, побудить их сделать соответствующий уклон в своей деятельности? Все эти вопросы не могли не волновать меня, хотя в то же время у меня

была уверенность в успехе дела, так как и идеологические основания у нас были одинаковы и более чем годовой опыт нашей работы в этом направлении давал красноречивые и убедительные факты, доказывавшие необходимость и своевременность такого уклона.

Около половины февраля, заручившись адресами и паспортом купеческого сына П. А. Шуравина, моего гимназического товарища, а теперь студента Медицинской академии, я выехал в Москву. Такая предосторожность была не лишней, так как за полтора года жизни в Петербурге свой паспорт я уже не мог считать вполне чистым, паспорт же Шуравина был совершенно свободен от этого недостатка.

В Москве я не раз бывал и прежде, приходилось наезжать туда и по делам кружка, кажется, все больше по денежным, а потому многие из членов московского отделения мне были уже знакомы, Клячко, игравший видную роль в московском кружке, в то время уже выбыл. Из-за какой-то романической и не особенно красивой истории он должен был покинуть Москву и выехать за границу— в Германию. Но там были еще Н. А. Армфельд, Цакни, Аносов, Алексеева, Т. Лебедева, Лев Тихомиров и др. Примыкали ли уже тогда к кружку Фроленко и Николай Морозов—я не знаю, но их, насколько припоминаю, я не видел. Льва же Тихомирова, студента Московского университета, я видел впервые и только теперь познакомился с ним. Видимо, он недавно вошел в состав кружка, но уже пользовался заметным влиянием в нем. Это был молодой человек небольшого роста, умный, спокойный и рассудительный, чуждый громких фраз и какого-либо позерства и в то же время, несомненно, настолько убежденный, что на него можно было положиться. Качества эти невольно привлекали, и я, в бытность мою в Москве, ежедневно бывал у него и едва ли не больше всего беседовал с ним. Кажется, в той же квартире, где жил Тихомиров, жили и долгушинцы Папин и Плотников, собиравшиеся тогда начинать свою революционную работу в деревне. Оба они были жизнерадостные, энергичные и симпатичные люди с тою лишь разницей, что Папин был краснощекий, русского типа молодец, богатырски сложенный, напоминавший внешним своим видом Рогачева, а Плотников—худой и бледный, не отличавшийся хорошим здоровьем человек.

Московский кружок того времени еще не успел развернуть свою деятельность в том размере и с тою интенсивностью, как это было у его петербургского собрата, хотя условия для работы были почти однородные с петербургскими. Первопрестольная столица того времени была также интеллектуальным центром, имела не одно высшее учебное заведение и не менее развитую фабрично-заводскую промышленность, чем Петербург. Но, несмотря на это, в области конспиративной деятельности здесь еще почти все внимание фак-

тически сосредоточивалось на интеллигентских кругах и, в частности, на учащейся молодежи, о работе же среди рабочих, не говоря уже о крестьянстве, лишь шли разговоры. Правда, и здесь новую позицию петербургского кружка вполне одобряли, сочувствовали ей и не выставляли против нее ни одного принципиального возражения. Готовность была полная, но все дело было лишь в том, как начать и где зацепиться. На эти темы больше всего приходилось беседовать с Тихомировым и Аносовым, горячо относившимися к новому направлению деятельности. Кажется, этому последнему вскоре же и удалось завязать соответствующие связи с фабричными рабочими и, таким образом, положить начало фактическому переходу к деятельности в этой новой для них области.

В Москве я зажился и пробыл долее, чем рассчитывал. Из моего более близкого знакомства с членами московского кружка я вынес впечатление, что, несмотря на то, что все они были безусловно отличные люди, искренние и преданные делу народа, но им недоставало чего-то важного и необходимого: не было спаянности и инициативности, присущих петербургскому кружку, благодаря чему в московском отделении было мало жизни и воодушевления. Об'яснялось это в значительной степени, может быть, тем, что состав московского кружка гораздо чаще обновлялся, там меньше было деловой преемственности и почти не было лиц с прочно установившейся революционной репутацией и с необходимыми для дела организаторскими талантами. Из более старых членов кружка там была едва ли не одна Н. А. Армфельд, генеральская дочка, умная, образованная и остроумная, но она руководящей и об'единяющей роли играть не могла. Другой, не менее важной причиной указанного выше недостатка было, возможно, и то, что москвичи еще не прикоснулись к народным массам и не получили от них того животворящего импульса, благодаря которому так оживилась деятельность петербургского кружка. И лишь через год, когда идея сближения с народом сделалась господствующей и повелительной, когда в Москву, между прочим, перебрались Клеменц, Кравчинский, Кропоткин и Шишко и стали с'езжаться с разных концов России молодые люди, чтобы отсюда двинуться в народ, одни—с целью ознакомления и сближения с ним, другие же—с верою в готовность его к открытому выступлению, подпольная Москва представляла собою совсем другую картину: она кипела и жила интенсивною жизнью.

Из Москвы я направился в Орел, где мне дан был адрес Александра Капитоновича Маликова, у которого я и остановился. Орел того времени был обыкновенным провинциальным городком, хотя и довольно значительным, но лишенным промышленного значения. Даже железная дорога с ее мастерскими проходила верстах в 5 от города. Но на Орел я и не возлагал особенных надежд. Сам Мали-

ков, имевший уже политическое прошлое, привлекавшийся по Каракозовскому делу и живший в Орле в качестве административно высланного, был человеком уже не первой молодости, лет 33—35. В высокой степени симпатичный, умный и образованный, умевший убедительно говорить, он, без сомнения, должен был производить большое впечатление на ту учащуюся молодежь, с которой ему приходилось иметь дело. В то время Маликов, повидимому, еще не был увлечен идеей богочеловечества и далек был от приятия толстовского непротивления злу, по крайней мере в беседах со мною он никакого признака чего-либо подобного не обнаруживал.

Коллегой его по работе в том же направлении и тоже среди учащейся молодежи был Оболенский, около которого группировался большой кружок учащихся в средних учебных заведениях. Оболенский тоже был человек уже не первой молодости, живой и подвижный и, видимо, увлекавшийся своим делом. В Орле в это же время проживал в качестве поднадзорного еще третий интересный человек с большим политическим прошлым, побывавший уже на каторге, а именно П. Г. Зайчневский, с которым мне, к сожалению, не пришлось увидеться. Будучи по своим убеждениям якобинцем, он, повидимому, мало имел общего с Маликовым и Оболенским и вел в сношениях с молодежью свою собственную и особую линию. В 80-х годах Зайчневский снова был выслан в Сибирь и жил в Иркутске до вторичного его возвращения в Россию.

Местные условия жизни г. Орла, лишенного промышленного значения, мало благоприятствовали для постановки рабочего дела, а потому, а также и в виду ограниченности сил, мне не пришлось убеждать и настаивать на необходимости положить начало этому новому делу, против которого принципиально никто не возражал.

Пробыв в Орле два или три дня, я выехал в Киев. Большой уже и тогда и живописный город, с большим историческим прошлым, окаймляемый чудной рекой, Киев своим внешним видом производил чарующее впечатление. К тому же в конце февраля здесь была уже весна и признаков зимы не оставалось и следа. В Киеве мне даны были адреса двух лиц, уже давно состоявших в тесном деловом общении с петербургским кружком,—Рашевского и Эмме, оканчивавших уже курс медицинского факультета, Лопатина же, члена петербургского кружка чайковцев, перебравшегося из Петербурга в Киев, чтобы окончить свое медицинское образование, на что он, оставаясь в Петербурге, как поднадзорный, не рассчитывал,—я уже не застал. Окончив киевский медицинский факультет, он, повидимому, от политической жизни отошел, перебрался сначала на Северный Кавказ военным врачом, а затем и в Закавказье, где в 1906 году, уже в генеральских чинах, умер, завещав Вятскому губернскому земству на нужды народного

образования половину своего состояния, выразившуюся в сумме 15.000 руб.[1].

В Киеве я остановился у Эмме, но он и Рашевский заняты были подготовкой к предстоящим экзаменам, а потому мне пришлось иметь дело, главным образом, с молодой компанией в лице Аксельрода, братьев Левенталь, Лурье, сестрами Каминер и др., состоявшими также в киевском отделении кружка чайковцев. Компания этих молодых людей, где старшим и наиболее влиятельным был Аксельрод (лет 23—24), была живая и симпатичная. Все они были тогда народниками, и лишь в 80-х годах Аксельрод, эмигрировавший в 1874 г. за границу, становится на социал-демократическую позицию и делается видным членом партии с.-д., с которой связывается на всю остальную жизнь.

В то время Киев, хотя и большой город, имевший до 75 тыс. жителей, промышленным городом еще не был. Поэтому, несмотря на все сочувствие новым задачам в деятельности петербургского кружка, проведение их в жизнь в Киеве было затруднительно. Строя в этих целях разные планы, я помню, на первых порах за неимением другого подходящего материала остановились на одной довольно многолюдной плотничьей артели, состоявшей из жителей деревни, с руководителем которой познакомили и меня.

Общественная жизнь в городе была слаба. Разноплеменное население его, состоявшее из великороссов, малороссов, поляков и евреев, каждое жило своими интересами, что непосредственно отражалось и на университетской молодежи. В то время из подпольных организаций общерусского значения, кроме чайковцев, в Киеве имелась еще так-называемая «киевская коммуна», получившая широкую известность благодаря тем легендарным слухам, которые повсеместно сплетались около нее. Мне хотелось познакомиться с обитателями этой коммуны, и я, кажется, с Аксельродом отправился туда, но, к сожалению, кроме голых стен, никого в ней не нашел. Так знакомство это и не состоялось. Из публики, не входившей в состав кружка, но близко стоявшей к нему, я помню особенно некоего Трахтмана, большого и умного диалектика и поклонника Лассаля, с которым мне пришлось вести во время наших прогулок длительные беседы. Что с ним сталось потом— я не знаю, но облик этого, несомненно, даровитого человека, напоминавшего и своим внешним видом, манерою держаться и свой-

[1] Вторая половина наследства предназначалась двум братьям и сестре, а выполнителем воли покойного назначался брат Н. К.—Александр К. Лопатин, которому и выданы были наследственные капиталы и имущество. Но так как завещание подписано было лишь одним завещателем и юридической силы не имело, то Ал. Кон. воспользовался этим обстоятельством и не пожелал выделить назначенную часть Вятскому земству, которое, несмотря на возникшую по этому поводу переписку, так ничего и не получило из лопатинского наследства.

ствами своего ума самого Лассаля, врезался в мою память. Помню, я очень жалел, что он уклонился в то время от вступления в состав кружка.

Пребывание мое в Киеве несколько затянулось, и мне пора было двигаться дальше. Ближайшим же пунктом в моем маршруте была Одесса, куда я и направился.

Этот южный кусок железнодорожного пути от Киева до Одессы пролегал по мало населенной степной местности, столь отличной от природы севера. И спутники мои в дороге по 3 классу были уже не те, что на севере: малороссы с их мягким и певучим говором, евреи и затем уже только великороссы. Эта разноязычная толпа много и охотно говорила с южной экспансивностью. В воздухе стоял непрерывный гомон, а вместе с тем он пропитан был острым запахом чеснока, который я с трудом переносил.

Красавица Одесса имела облик вполне европейского города, но страшно пыльного какою-то мелкой известковой пылью, от которой не знаешь, куда деваться. Этот южный приморский город, с населением доходившим до 200 тысяч жителей, по-американски быстро рос и развивался и был центром торгово-промышленной деятельности всего юга России. Ведя обширную хлебную и иную торговлю с заграницей, он, естественно, привлекал в свои гавани многочисленные иностранные суда разных национальностей, которыми всегда был переполнен Одесский порт. Жизнь кипела, а панорама, открывающаяся с высокого городского берега на порт и на безбрежное море, была захватывающая. Впечатление от города портила лишь несносная пыль и скудная растительность, не находящая себе надлежащей пищи в известковой почве.

Остановившись в номерах, я тотчас же отправился отыскивать Ф. В. Волховского, с которым уже был знаком по Петербургу. В это время он уже служил в Одесской городской думе, был близок к одесскому либеральному городскому голове Новосельскому, который его очень ценил, и имел большие связи в либеральных кругах. Жил он в небольшой квартирке вместе с своей женой, Марией Осиповной, бывшей Антоновой, игравшей видную роль в московских студенческих делах и так же, как и сам Волховский, привлекавшейся по Нечаевскому делу. Она была больна и не могла показаться, был болен и сам Волховский—результат длительного заключения их обоих по Нечаевскому делу. Но Волховский, несмотря на свое слабое здоровье, был необыкновенно живуч. Кажется, вот-вот человек рассыплется, а затем глядишь—он снова бодр, деятелен и мило остроумен. Имея за плечами всего 30 лет жизни, он был уже сед и имел немалое политическое прошлое. В 1868 г., будучи студентом Московского университета, Волховский за участие в покупке дешевых книг для распространения среди народных масс арестуется и содержится в заключении, без пред'явления какого-либо обвинения, целых 7 месяцев. В 1869 г., когда он слу-

жил в московском книжном магазине Черкесова, он, после обыска, снова арестуется по Нечаевскому делу и содержится до суда в заключении свыше 2 лет, сначала в московских тюрьмах, а затем в Петропавловской крепости, где и теряет свое здоровье. Волховский был далеко не заурядным и не шаблонным человеком. В высокой степени симпатичный, мягкий и доступный, с большой эрудицией и организаторскими способностями, прекрасно владеющий пером и словом и в то же время всегда деятельный и искренне преданный делу народа, он не мог не иметь влияния на лиц, с которыми соприкасался. И, действительно, в Одессе, благодаря, главным образом, Волховскому, имелся один из самых многолюдных и организованных нелегальных кружков, не только деятельно работавший среди интеллигентских кругов, но и среди рабочих. Одесский кружок по серьезности и деловитости всего больше напоминал мне петербургский, и из его состава в ближайшие же годы вышло немало лиц, зарекоменодвавших себя на революционном поприще. Тут, кроме самого Волховского и его жены, были в числе других С. Л. Чудновский, Желтоновский, Ланганс, Андрей Франжоли, Костюрин, Дическуло и Желябов, вошедший в состав кружка в том же году, но несколько позднее.

Я подробно ознакомил Волховского с тем, что делается в петербургском и других кружках, с которыми я успел ознакомиться за время моей поездки, с фактической переменой нашего фронта и с мотивами, вызвавшими эту перемену, а также и с задачами, которые имела моя поездка. Но убеждать Волховского и его товарищей в чем-либо мне не пришлось. Они уже не только идеологически, но и фактически стояли на той же точке зрения, что и мы в Петербурге, и уже деятельно работали как в интеллигентских кругах, так и в рабочих. Этому последнему обстоятельству в значительной степени помогало наличие довольно развитой в Одессе фабрично-заводской промышленности, а также многочисленных рабочих артелей различных специальностей. В свою очередь и Волховский познакомил меня с тем, что сделано и делается у них в Одессе, а в один из последующих дней состоялось общее собрание членов кружка, на котором присутствовал и я. Собрание человек в 90, на котором были и рабочие, произвело на меня своею деловитостью самое благоприятное впечатление. Сообщения же мои о работе в других местах, которыми я мог поделиться, видимо, значительно подняли дух и настроение от сознания, что они не одни, что в том же направлении идет оживленная работа, если не повсеместно, то во многих пунктах.

Прожил я в Одессе несколько дней, которые почти все целиком ушли на более близкое ознакомление с членами кружка и разные деловые разговоры. Между прочим, в это время становился злободневным вопрос о заграничном органе «Вперед», который собирался издавать П. Л. Лавров. Выхода журнала все ждали с большим

нетерпением. Петербургские чайковцы, давно мечтавшие о заграничном органе, связывались с ним и принимали участие в обсуждении программы журнала, при чем первая его земско-конституционная программа, появившаяся в литографированном виде в России в начале 1873 г., не встретила одобрения. Расчеты на земский элемент и вообще на буржуазные классы в борьбе за освобождение в это время уже окончательно миновали, и вера в них была утрачена. Идеологически на сцену повелительно выступали народные массы, а первые удачные опыты работы среди рабочих лишь подогревали эту веру. И теперь все живые и революционно настроенные силы молодой России в этом большом деле могли базироваться лишь на этих массах. В соответствии с таким направлением мысли требовалось и изменение программы журнала, каковое и было сделано.

Естественно, что с изданием журнала возникал вопрос и о его транспортировке. Близость Одессы к границе, связь с которой без особенного труда возможно было установить, делала ее в этом смысле весьма важным пунктом для доставки из-за границы нелегальной литературы, если не для всей России, то, по крайней мере, для юга России. И, действительно, уже к концу лета этого же года члену одесского кружка Чудновскому, проживавшему эту зиму в Вене, где он слушал лекции на медицинском факультете, при посредстве его львовских друзей удалось наладить это транспортное дело.

Покончив все дела в Одессе, я направился дальше—в Херсон, где, по рассказам одесситов, имелся живой и довольно многолюдный кружок молодежи, руководимый Андр. Афанасьев. Франжоли, адрес которого я и получил. Путь предстоял морем, по которому мне еще никогда не приходилось плавать. Запасшись, по совету друзей, лимоном на случай морской болезни, я, взяв билет 3 класса, двинулся в путь. Море было довольно спокойно, качка была невелика и не отражалась на мне, хотя кое-кто из пассажиров и не мог ее выносить. Все время пути, пока мы плыли по открытому морю, я не сходил с палубы, любуясь захватывающей картиной безбрежности спокойно и мирно-рокочущего моря.

Но вот мы уже в гирле Днепра, которое так же безбрежно, как и море. Но по мере продвижения вверх по реке начинают попадаться отдельные островки—местопребывание прежней «Запорожской Сечи», прославившейся своими былыми подвигами, воспетыми малорусскими бардами. Я вглядываюсь в эти плоские оазисы земли, расположенные на широком водном просторе, пытаясь найти какие-нибудь следы прошлой кипучей жизни, но тщетно: там все тихо и пустынно, все вымерло, и ничто не напоминало об этом прошлом. Невольно какое-то грустное чувство закрадывается в душу от этого резкого контраста между прошлым и настоящим. Но долго это чувство не держит меня в своей власти.

Близость цели путешествия уже дает себя знать. Показываются, наконец, берега многоводной исторической реки, а еще дальше— и самый Херсон, где мне предстоит высадиться.

Город Херсон того времени—сравнительно небольшой, обычного типа губернский городок, расположенный на берегу Днепра, на песчаной местности, а потому и изрядно пыльный. По указанному адресу я без труда отыскал А. Франжоли, местного уроженца, проживавшего теперь в Херсоне в качестве ссыльного, высланного на родину из Петербурга за студенческие беспорядки в 1872 г., где он с 1871 г. состоял студентом Технологического института. Небольшого роста, умный, необыкновенно живой и сердечный, он с первой же встречи расположил к себе. Ближайшее же знакомство с ним лишь подтвердило мои первые впечатления, полученные от этой, в полном смысле слова, обаятельной личности, преданной до самозабвения делу народа, как показала и вся его дальнейшая, сравнительно недолгая жизнь. Он умер в 1883 г. в Женеве, куда ему удалось приехать уже совершенно больным после бурной десятилетней революционной жизни в России, сопряженной, как обычно, с высылками, тюремным заключением, побегами и судом. Дерзкий прыжок его из уборной вагона на полном ходу поезда, когда его везли с юга на предстоящий «процесс 193-х», губительно сказался на его здоровье и привел его к преждевременной могиле.

Франжоли познакомил меня с своими товарищами по кружку, в составе которого в то время был, между прочим, Александр Осипович Лукашевич, еще совсем молодой человек, последующая судьба которого так же богата проявлениями революционной деятельности: и хождение в народ с чайковцами в 1874 г., описанное потом им самим, и работа на московских фабриках совместно с кружком кавказцев, а затем два суда (процесс «50-ти» и «193-х»), и ссылка в Восточную Сибирь на поселение, где он за укрывательство бежавших из Иркутской тюрьмы политических арестантов, пересылавшихся на Кару,—Березнюка, Волошенко и Попко— снова судится и приговаривается к 7 годам каторжных работ. Здесь на Каре и была моя последняя встреча с Лукашевичем: я уже отсиживал последние месяцы своего каторжанского срока, а он в 1881 г. только еще начинал его отбывать. Предыдущая его жизнь, полная превратностей и испытаний, мало сказалась на нем: он попрежнему был бодр, здоров и деятелен.

Не могу не остановиться, хотя бегло, еще на одном херсонце, деятельном и влиятельном члене херсонского кружка, Мартыне Рудольфовиче Лангансе, тоже учившемся в Херсонской гимназии, а затем поступившем в Петербургский Технологический институт, откуда он, по слабости своего здоровья, должен был возвратиться к себе на родину, в Херсон. Он много читал, хорошо был знаком с социалистической литературой и, как чуткий и от-

зывчивый человек, не мог не питать влечения ко всем обиженным судьбой и угнетенным. Перебравшись затем в Одессу, он и здесь становится одним из видных и влиятельных членов кружка Волховского, ведет энергичную пропаганду среди рабочих. Когда волна движения в народ прокатилась по всей России, она увлекла и его. Ланганс в качестве простого рабочего работает и ведет пропаганду сначала в Черниговской губернии, затем в Екатеринославской и Херсонской, и само собой, в конечном итоге, арестовывается и больше 3-х лет сидит в тюрьме, ожидая «процесса 193-х», по которому оправдывается. Затем снова семимесячное заключение, высылка в Пруссию, как иностранного подданного, и нелегальное возвращение в Россию, где он так же, как и Франжоли, примыкает к «Народной Воле».В 1881 г. он снова арестовывается в Киеве, а в 1882 г. становится участником «процесса 20-ти», по которому присуждается к бессрочной каторге. Заключенный в Алексеевский равелин, Ланганс, уже с сильно подорванным здоровьем, не выдерживает этой новой пытки и в 1884 г. погибает от чахотки.

Молодая компания херсонцев, к которой примыкали и другие лица, указать которых с точностью я не могу, состояла в постоянных и близких сношениях с одесским кружком и вела деятельную работу среди местной учащейся молодежи, не забывая и рабочую среду, насколько это позволяло отсутствие в городе крупной промышленности. О том, что связи эти были не только с херсонскими рабочими, но, полагаю, и с рабочими близлежащего к Херсону г. Николаева, где находились военно-морские верфи и крупные мастерские, свидетельствует и то, что туда меня возили, чтобы познакомиться с тамошними работниками. Но поездка эта не была удачна: мы не нашли кого было нужно, а потому пришлось ограничиться лишь внешним осмотром города и некоторых общественных учреждений и снова вернуться в Херсон.

В Херсоне, как и в Одессе, тоже ознакомив друг друга в достаточной степени с положением дела, мне делать больше было нечего. Ни убеждать, ни склонять к чему-то для них новому мне не приходилось, так как идеология и практика, насколько это позволяли местные условия, были у херсонской публики аналогичны с нашей.

Распростившись со своими новыми друзьями, оставившими во мне самое лучшее впечатление, я тем же путем, сначала вниз по Днепру, а затем морем, выехал снова в Одессу, чтобы оттуда, после кратковременного свидания кое с кем из одесситов, направиться в Харьков. Маршрут этот был предусмотрен еще в Питере.

С Харькова, куда я, наконец, приехал, начались мои неудачи и маленькие злоключения. В моем распоряжении были лишь две фамилии, но без их адресов. Это—Синегуб, кузен нашего петербургского Синегуба, и Лизогуб. Я должен был разыскать их и через них связаться с харьковским кружком, в состав которого

они входили. Остановившись в каких-то захудалых номерах, я тотчас же принялся за поиски этих лиц, но никаких сведений ни от кого, к кому я ни обращался, получить не мог; направился в университет, но и там те же результаты. Настроение, благодаря моим незадачам, было неважное, к тому же и погода стояла чисто осенняя, а в кармане—совершенная пустота. Даже заплатить за номер было нечем, не говоря уже о покупке билета на дальнейший проезд. При таких обстоятельствах оставаться в большом и совершенно незнакомом мне городе, без гроша денег, чтобы продолжать свои розыски, было рискованно, и я решил бежать. У меня были старинные серебряные часы—подарок дяди, которые я решил продать или заложить. Сделка состоялась, проезд до Москвы был обеспечен, но заплатить за номер все же было нечем, нечего было и продать больше. Что было делать и как быть? Раздумывать долго было нельзя. И вот, поздним вечером, захватив с собою свой маленький саквояжик с бельем, я покинул номера, не рассчитавшись с хозяином.

Так постыдно закончился для меня мой деловой визит в одну из столиц юга России, которая, кстати сказать, своим внешним видом мне не понравилась. Приходилось поскорее пробираться в Москву, так как без денег никакое дальнейшее уклонение с прямого пути было уже невозможно. Но по дороге в Москву я решил еще заехать в Воронеж, где в это время проживали супруги Ефименко, свидание с которыми входило в план моей поездки.

Сам Ефименко был в архангельской ссылке, где женился, и после ссылки поселился в Воронеже и занимал там вместе с женой маленькую и очень скромную квартирку, которая вся была завалена древними актами и рукописями, вывезенными, очевидно, из Архангельской губернии. Оба они были еще молодые, милые и сердечные люди, но, видимо, серьезно увлеченные чисто научной работой по разработке богатого архивного материала, добытого, несомненно, немалым трудом. Они и меня пытались заинтересовать своим драгоценным для них материалом, показывали некоторые, наиболее достойные внимания документы, стараясь раз'яснить мне их значение. Но жизнь в этом большом губернском городе они вели, повидимому, довольно уединенную, и основные интересы их были другие, чем те, которые занимали нас. Поэтому, за неимением других адресатов с более подходящим для меня настроением, мне делать было нечего, и я, проведя с симпатичными Ефименко день, выехал в Москву.

В Москве опять остановка. Нужно было поделиться впечатлениями, вынесенными из поездки, и осведомить о том, что делалось и делается в посещенных мною пунктах. Здесь я опять чаще всего бывал у Тихомирова, который при ближайшем знакомстве с ним все больше и больше мне нравился и привлекал к себе. Узнав же, что он не лишен литературных дарований и, кажется, уже кое-

что пописывал, я стал убеждать его перебраться в Петербург, где на очереди стояла большая задача—создание народной нелегальной литературы. Настоятельность этой задачи была очевидна и вне всякого спора, а вынесенные мною впечатления от провинции, где повсеместно раздавались жалобы на отсутствие подходящей литературы, нужной при сношениях как с рабочими, так и с крестьянами, только усиливала эту настоятельность. Петербург же для литературной работы был более подходящим пунктом, чем Москва. Как-никак, там был центр революционной деятельности, была налицо наиболее прочно установившаяся и влиятельная организация с значительными и планомерными связями в рабочей среде, и, наконец, там была в составе организации группа лиц, могущих принять участие в разрешении этой назревшей проблемы. Все это говорило за мое предложение, и Тихомиров против доводов моих не возражал, видимо, убеждаясь ими.

Здесь же, в Москве, в этот мой приезд я впервые встретился у Тихомирова с артиллерийским офицером, товарищем и другом Кравчинского, Л. Э. Шишко. Выпущенный в 1871 г. из Михайловского артиллерийского училища с чином офицера, он тотчас же подает в отставку и поступает в Технологический институт, где вместе с Кравчинским участвует в кружках саморазвития. Но и институт его не удовлетворяет. Захваченный господствовавшим тогда течением, он стремится стать ближе к народу и пытается поступить в народные учителя и в то же время жаждет связаться с какой-нибудь нелегальной организацией для работы в народе. Как-раз в это время, когда я с ним познакомился, он уже подумывал примкнуть к долгушинцам, собиравшимся начать свою деятельность в народной среде. С ними он часто видался, симпатизировал им. Скромный, даже как-будто застенчивый, что, может быть, обусловливалось его небольшим заиканием, с симпатичным и выразительным лицом, он невольно располагал к себе. Тогда, конечно, нельзя было еще и думать, что в его лице я скоро обрету себе усердного товарища по работе среди петербургских рабочих, верного и преданного друга, с которым придется делить длительное тюремное заключение и карийскую каторгу. Это был чистый, с упорным характером и с пытливым умом человек. Почти потерявший за время сибирской жизни зрение и не имевший возможности продолжать свое саморазвитие самостоятельно, он все же настойчиво продолжал свои занятия при помощи своих друзей. В 1889 г. ему удается бежать из Томска, где он в это время жил, и пробраться за границу, в Париж, где он, главным образом, отдается литературной работе, служащей продолжением его прежней практической деятельности.

Кажется, в Москве же, после наших разговоров о скудости литературы для народа, Шишко передал мне свое небольшое произведение «Чтой-то, братцы», изданное затем кружком чайковцев

нелегальным изданием и имевшее успех в рабочих кругах. Связаться с долгушинцами он так и не успел. Вызванный Кравчинским в Петербург вскоре же после наших встреч с ним в Москве, он едет туда, вступает в кружок чайковцев и связывает с ними свою дальнейшую судьбу.

Москва—последний этап на моем возвратном пути, а с ней и конец возложенной на меня миссии. Подводя итоги всему виденному и слышанному почти за полуторамесячный период моего блуждания по градам российским, я возвращался в Петербург не с чувством разочарования, а наоборот. Почти везде, где мне пришлось быть, я находил в большем или меньшем числе чудесных людей, родственных по духу и стремлениям, исполненных веры и готовности отдать себя на дело народа. Основная же задача моей поездки—ознакомление отделений с происшедшим в деятельности петербургского кружка уклоном в сторону непосредственной работы среди народных масс—мною была выполнена, и это новое направление всюду было встречено полным сочувствием и одобрением. Очевидно, вопрос уже сам по себе назрел, и убеждать в целесообразности этого уклона в работе и на местах почти нигде не приходилось. Мало того, течение революционной мысли, приблизительно общее для всей России, толкало на этот путь, и там, где условия складывались более или менее благоприятно, люди сами, помимо всякого влияния извне, переходили к работе в рабочей среде, собираясь в то же время развернуть ее в ближайшем будущем и в крестьянской. Для всех работа среди рабочего класса, там, где он имелся, была первым этапом, а вторым этапом, много более трудным и доступным, была работа в крестьянстве. Это сознавалось всеми работниками, выступавшими на революционный путь как в столицах, так и в провинции. Эта же однородность идеологии и устремлений, в свою очередь, поднимала дух и укрепляла веру той горсти людей, которые взялись за необ'ятное и, казалось бы, совершенно непосильное для них дело.

Я вернулся в Петербург с значительно укрепленной верой и окрыленный надеждою на дружную работу в одном направлении не только в центрах, но и в провинции, где имелись живые люди. Своими впечатлениями, вынесенными из поездки, само собой, я поделился с своими петербургскими товарищами, не без чувства удовлетворения и радости воспринявшими их.

В Петербурге, за время моего отсутствия, произошли кое-какие в жизни кружка события, частью очень печальные. Так, одна из трех сестер Корниловых, старейших членов кружка чайковцев, а именно, старшая из них, Вера Ивановна, неожиданно умерла. Хотя она и болела перед этим, но никто не ждал столь печального исхода болезни. Грустное событие это немало отравило радость свидания. Я мало знал В. И., почти никогда мне не приходилось беседовать с ней, хотя я довольно часто встречался с ней, оста-

ваясь обедать в штаб-квартире кружка в Ротах, хозяйкой которой она состояла. Но она была членом кружка, и этого уже было довольно, чтобы почувствовать скорбь по утрате товарища.

Из других перемен, но не трагического характера, укажу на от'езд Синегуба с своей фиктивной женой, жаждавшего непосредственной работы в крестьянстве, в Тверскую губернию, где он и жена устроились народными учителями в селе Губин-Угол, Корчевского уезда. Оставили также работу в доме Байкова и Леонид Попов, выехавший в Торжок, Тверской губернии, учительствовать, и Кувшинская, в виду предстоящих экзаменов в медицинской академии, а вместе с этим раз'ездом была ликвидирована и самая квартира для собрания рабочих в д. Байкова.

Кувшинская, выехав из дома Байкова, поселилась на Выборгской же стороне, на Саратовской улице. Нужно было и мне где-нибудь устраиваться. С институтом фактически я уже покончил и, воспользовавшись свободной комнатой в квартире, где жила Кувшинская, я переехал туда же, чтобы быть ближе к выборгским рабочим, с которыми я тотчас же по приезде возобновил сношения.

Кружковая работа шла в прежнем направлении, с явным уклоном в сторону рабочего дела, которое неизменно развивалось, тем более, что общее настроение, особенно в студенческих кругах, благоприятствовало этому.

Мысль о работе в народе от слов переходила к делу. На студенческих собраниях занимали собравшихся не столько общие вопросы, которые для многих уже были решены, сколько вопросы чисто практического характера. Почти все стремились двинуться в самую гущу народную, но как это сделать, как лучше подойти к этому, для многих неведомому народу, в каком виде и положении, чтобы не возбудить его подозрения к себе? По этим животрепещущим вопросам давались разные ответы, но большинство склонялось к более радикальному решению: в народ, чтобы заслужить его доверие и не возбуждать никаких подозрений ни в нем самом, ни в подозрительном начальстве, нужно являться в образе рабочего человека и притом знающего какое-нибудь ремесло, нужное для крестьянина. Уже тогда, весной 1873 г., такое решение было весьма популярно, и мысль об изучении какого-нибудь ремесла становилась повелительной. И вскоре, через каких-нибудь 3—4 месяца, Петербург,—да и один ли Петербург?—покрывается организованными мастерскими, где молодежь обучается то сапожному, то столярному или слесарному ремеслам.

Занимали и волновали в это время членов кружка и вопросы иного порядка, стоявшие на очереди и вносившие немало оживления в его жизнь. Вопрос о заграничном лавровском органе «Вперед», выход которого уже был не за горами, был вопросом злободневным. Все этот журнал с нетерпением ждали: одни—с полной верой в его руководящее значение, другие—с некоторым сомнением

в этом последнем. Но как-никак, фирма была вполне солидная, пользовавшаяся большим престижем и уважением в широких кругах русского общества, а потому и эти сомнения мало влияли на решение связаться с этим органом и быть его деятельными представителями в России по его доставке и распространению.

Другим, не менее важным вопросом был вопрос о собственной нелегальной типографии в России, которая давала бы возможность быстро и своевременно откликаться на текущие события. Общественное настроение все нарастало, а молодежь уже в значительных массах своих рвалась к живому делу. В такое время иметь возможность своевременно откликаться на текущие события и по возможности направлять нарастающее движение в одно русло было очень важно. Заграничная же печать полностью этой роли выполнить не могла уже по одному тому, что доступ ее в Россию был значительно затруднен, и попадала она к нам с большим запозданием.

Летом того же 1873 г. мысль о типографии отчасти и была осуществлена. Для закупки типографского станка и других типографских принадлежностей в Вену, где была всемирная промышленная выставка, был командирован М. В. Купреянов. Он не только закупил на выставке, что было нужно, но и благополучно переправил закупленное в разобранном виде под видом технических приспособлений для водолечебницы доктора Веймара, в доме которого они затем и хранились. Но воспользоваться этой типографией кружку чайковцев так и не пришлось, использовали ее уже много позднее. Тому же Купреянову одновременно было поручено побывать в Швейцарии и окончательно договориться и связаться с Лавровым и его журналом «Вперед», что им и было исполнено.

VII.

Вступление Шишко в кружок и начало его работы на Выборгской стороне. Уход рабочих Крылова и Абакумова и некоторых других на пропагандистскую работу в деревне. От'езд туда же Кравчинского и Клеменца в качестве простых рабочих. Мое намерение на лето поехать в Крым. Несколько замечаний по поводу «Воспоминаний о П. Л. Лаврове» Кропоткина, где он говорит о кружке чайковцев.

Вскоре по моем возвращении в Петербург к нам на Саратовскую улицу явился Шишко, уже не только как знакомый, а как член нашего кружка, только-что принятый в него и откомандированный для работы на Выборгской стороне, где, за от'ездом многих работников, чувствовался в них недостаток. Я и Кувшинская были очень рады этому подкреплению, тем более, что Шишко нам обоим очень понравился, и мы скоро сделались с ним большими друзьями. Шишко в первое время лишь присматривался к нашей работе, а затем вскоре же принял в ней и активное участие. В это время из фабричных рабочих, с которыми по преимуществу имелось дело на Выборгской стороне, были уже выделены наиболее подготовленные и искренно преданные делу рабочие, которые обычно и собирались у нас на Саратовской улице, а сношения с остальными рабочими попрежнему производились в рабочих артельных помещениях или других квартирах. С первыми уже велись вполне откровенные беседы и более правильные и серьезные занятия, а с последними шла чисто подготовительная работа. В народное восстание в ближайшем будущем, а тем более победоносное, как уже говорилось раньше, мы не верили и не тешили себя иллюзиями на этот счет. Эту же точку зрения мы старались укрепить в умах рабочих и этим предостеречь их от тех неизбежных разочарований, которые им жизнь преподнесла бы на первых же шагах их практической деятельности при иной точке зрения на вопрос о времени наступления русской революции. Но рабочая публика, уверовавшая в освободительные идеи и горячо отдавшаяся им, всего труднее проникалась мыслью о необходимости столь длинного пути для достижения их заветных целей. Они

горели нетерпением и плохо мирились с такой длительной процедурой чисто подготовительной работы. Несомненно, недостаток образования и известной широты понимания условий русской жизни в значительной степени способствовали такому настроению, бороться с которым было трудно уж теперь; а что же будет дальше, когда будут захвачены в движение более широкие массы, может быть, еще менее подготовленные, чем эти первые пионеры рабочего движения?

Естественно, что при таком положении дела, кроме общих организационных задач, уже стоящих на очереди, в постановку начатой работы должны были быть внесены какие-то коррективы, поставлены какие-то промежуточные цели, которые могли бы об'единять людей в борьбе за их достижение. В городах для рабочего класса эти промежуточные цели легко намечались, на что указывал нам и европейский опыт. Борьба за ближайшее улучшение положения рабочего, за увеличение его заработной платы, за сокращение продолжительности труда и проч. были именно такими целями, которые, помимо возможных непосредственных достижений, полезных для рабочего, могли бы в то же время служить могучим средством для массового вовлечения рабочих в борьбу и их об'единения. Сталкиваясь в этой борьбе с представителями интересов капитала, рабочие в то же время неизбежно столкнулись бы и с государственной властью, открыто поддерживавшей этот капитал, благодаря чему они уже в массах своих на конкретных примерах учились бы и политической грамоте и постепенно уясняли бы себе, что без побед над этой последней невозможна будет и решительная победа над угнетающим их капиталом. Таким образом, мысль об организации стачечного движения сама собой напрашивалась и намечалась, но встречала и принципиальные возражения. Впрочем, осуществление ее, за неимением достаточно подготовленного материала, пока не представляло и возможности.

Много труднее было наметить что-нибудь подобное для деревни, но пока в этом не было и особенной надобности, так как и самой работы в деревне еще почти не было.

Как-никак, а наши лучшие рабочие из крестьян, как, например, Крылов, Абакумов и некоторые другие, рвались к более живому делу, чем то, что им давала фабричная среда. Натуры страстные и глубоко уверовавшие в освободительные идеи, они, видимо, не находили достаточного отклика на их призывы в рабочей среде и в то же время верили, что они гораздо большую отзывчивость найдут в среде крестьянской. Первым из этих рабочих двинулся Крылов. Прельщенный ролью Шовеля, героя «Истории одного крестьянина», Крылов в качестве офени, с коробом за плечами, наполненным книжками для народа, отправился странствовать, сначала по ближайшим к Петербургу селениям, а затем перебрался

в свою родную Тверскую губернию, где продолжал начатое дело. Но не долга была жизнь этого выдающегося, симпатичного и искренно преданного делу человека, верившего, что народ, веками угнетаемый, познав правду, поднимется на своих угнетателей. Арестованный в 1875 г. в одной из приволжских губерний, он в 1876 г. погиб в Тверской тюрьме.

Пример, показанный Крыловым, оказался заразительным,—за ним потянулись и другие рабочие.

Но тяга в деревню, где в конечном итоге должна была быть наша основная работа, которую пока мы оставляли на ближайшее будущее, все больше и больше начала сказываться не только на рабочих, но и на более экспансивных членах нашего кружка. Синегуб с женой уже работали там, но, правда, еще в звании народного учителя, а летом этого же 1873 г. Кравчинский, а затем и Клеменц двинулись туда же, но уже в опрощенном виде, в образе простых рабочих. Это, без сомнения, были одни из первых пионеров движения в народ, сделавшегося вскоре общим лозунгом русской революционной молодежи, реально осуществленным лишь весной и летом 1874 г. Из кружка чайковцев еще ранее уходили на работу среди крестьянства наши женщины—Ободовская и Перовская, которые еще в 1872 г. учительствовали в с. Эдимнове, Тверской губернии, а летом того же года Перовская работала на Волге. Будучи правоверной и убежденной народницей, у которой слово никогда не расходилось с делом, Перовская не могла не стремиться в эту, мало ведомую ей, но влекущую ее к себе среду, думаю, даже не столько с целями пропаганды, сколько за тем, чтобы познать этот народ, приспособиться к нему и установить с ним добрые отношения, что ей и удавалось. Несмотря на свою молодость (ей было тогда не больше 18 лет), рассудительная не по летам, спокойная и всегда простая и приветливая, она без труда завоевывала симпатии и доверие деревенского люда, с которым приходила в соприкосновение.

Таким образом, летом 1873 г. изрядная часть нашей публики должна была выехать из Петербурга по различным поводам: Кравчинский и Клеменц, чтобы окунуться «в безбрежное народное море» и испробовать и там свои силы, Чайковский—«по епархии», Кропоткин—для продажи своего имения в целях пополнения кружковой кассы, которой предстояли значительные расходы по покупке типографии и других неотложных надобностей, Купреянов—за границу для закупки на Венской всемирной выставке типографского станка и для установления связи с Лавровым и его органом «Вперед».

Я тоже собирался на юг, в Крым, чтобы починить свое расшатанное нервной жизнью здоровье и подзаняться, что почти совсем не удавалось делать в условиях петербургской жизни, а кстати и снова побывать в некоторых из тех пунктов, где я уже был

в феврале и марте этого года. Я ждал только письма от Васюкова (впоследствии литератора), моего товарища по институту, который и соблазнил меня Крымом и который уже выехал туда к своим приятелям, крымским помещикам Зотовым, обещая мне со стороны последних вполне радушный прием и гостеприимство. Несмотря на заверения Васюкова, я все же не решился воспользоваться его приглашением, не получив уведомления, что я не буду лишним и непрошенным гостем. Вскоре это письмо с приглашением было получено, и я в начале июня выехал в Крым.

Этим летом, еще, видимо, до раз'езда членов кружка, состоялось кружковое собрание, на котором мне за моим от'ездом уже не пришлось быть. Но об этом собрании, как об очень важном и бурном, говорит Кропоткин в своих неоконченных и бегло написанных за несколько недель до его смерти «Воспоминаниях о П. Л. Лаврове», помещенных в сборнике «Памяти П. Л. Лаврова» (стр. 436—439), ошибочно относя это собрание к маю или июню 1872, а не 1873 г. Я позволю себе несколько остановиться на этих «Воспоминаниях» П. А.

На этом собрании, по словам Кропоткина, «поднялись горячие споры о том, к которому из предполагавшихся журналов присоединиться»—к бакунистам или лавристам. Прения эти были вызваны, по его словам, тем, что нашему кружку, как «наиболее влиятельному и многочисленному в России», «было сделано предложение присоединиться к журналу лавристов».

«Мы в кружке,—говорит Кропоткин,—давно обсуждали, с которым из двух лагерей вступить в сношения, и, наконец, решили послать в Цюрих своего делегата, чтобы познакомиться с тем и другим течением. Наш делегат должен был повидать как Лаврова, так и «бакунистов»—Росса (Сажина) и Соколова, и привести нам обстоятельный отчет об основных положениях и программах обоих лагерей. Делегатом был избран Клеменц, который занимал среднюю позицию между обоими направлениями».

«Это было,—продолжает далее Кропоткин,—в мае или июне 1872 г. У меня еще оставался мой заграничный паспорт, и я его вручил Клеменцу. Но когда наш кружок собрался на следующее наше совещание, то мы узнали, что в Цюрих поехал не Клеменц, а Купреянов,—человек определенно умеренного направления. С Бакуниным и бакунистами Купреянов даже не повидался, а прямо заключил договор с Лавровым, в силу которого журнал Лаврова «Вперед» должен был получаться и распространяться нашим кружком».

Выше я сказал, что собрания кружка чайковцев, о которых говорит Кропоткин в приведенных мною цитатах, ошибочно отнесены им к лету 1872 г., а не к лету 1873 г., как это следовало бы. Дело в том, что летом 1872 г. Купреянов в Цюрих не ездил, договариваться с Лавровым не мог, так как Лаврова там в это время

даже и не было, да и не о чем было договариваться, так как журнал «Вперед» был в то время только в проекте и первая программа его, кстати сказать, забракованная, появилась в России лишь в начале 1873 г. Поэтому летом 1872 г. никаких «горячих споров» о заграничных журналах и не могло быть. В то время,—когда еще сам Кропоткин, как он рассказывает в другом месте, предлагал кружку, если он того пожелает, посвятить свои силы делу организации придворных сфер, где у него были связи, с целью конституционного переворота,—нас занимали другие вопросы.

Не доверяя своей памяти и тем соображениям, которые привели меня к заключению об ошибочности даты, указанной Кропоткиным, я обратился по этому вопросу за раз'яснениями к Александре Ивановне Мороз (б. Корниловой), как к единственному, кроме меня, оставшемуся еще в живых и пребывающему в России члену кружка чайковцев; она, в свою очередь наведя справки у В. Н. Фигнер и М. П. Сажина (Росса), ответила мне в письме от 10/IV—25 г. следующее:

«В августе 1872 г., когда в Швейцарии арестовали Нечаева, В. Н. (Фигнер) жила в Цюрихе до окончания семестра, и Лаврова тогда в Цюрихе не было. В это же время я приезжала на неделю в Цюрих из Вены, где кончила курс акушерства, чтобы повидаться с Александровым перед моим возвращением в Россию. *О журнале «Вперед» еще никаких разговоров не было и никаких переговоров не велось.* Наконец, М. П. Сажин сказал мне, что он первый вел переговоры с Лавровым в ноябре 1872 г., следовательно, Купреянов был там в 1873 году».

Вышеприведенный отрывок из воспоминаний Кропоткина возбуждает не меньшее недоумение и по существу вопроса. Читая его, пожалуй, можно подумать, что в кружке, кроме Кропоткина, была целая группа лиц, анархически настроенная, чем и об'ясняются те «*горячие споры*», которые произошли по вопросу об установлении связей с лавровским или бакунинским журналом. На самом же деле этого не могло быть, так как последователей бакунинского течения у нас, кроме самого Кропоткина, не было. Даже самое учение Бакунина в половине 1873 г. и даже позднее нам было мало известно, а насколько оно было известно, в особенности со стороны его бунтарского характера и призыва к немедленному народному восстанию, то оно встречало у нас определенно отрицательное отношение, так как в близкую революцию или народное восстание мы не верили.

Та же Александра Ивановна Мороз, запрошенная мною и по этому вопросу, в том же письме ответила мне:

«Были ли между чайковцами анархисты, кроме П. А. (Кропоткина)? Думаю, что нет. Мы называли себя радикалами, считали себя социалистами-революционерами, об анархии имели самое смутное понятие, и многие не успели даже прочесть до своего ареста

произведений Бакунина. По воспоминанию В. Н. (Фигнер), я говорила ей, что Войнаральский однажды просил Чайковского снабдить его фосфором «для поджигания сена в помещичьих усадьбах», но получил решительный отказ. Затем весьма характерно, что Клеменц окрестил бунтарей—последователей Бакунина—«*вспышкопускателями*», и это ироническое прозвище получило широкое употребление».

Ссылка Кропоткина на то, что «бунтовское и народническое направление бакунистов было нам хорошо известно через кружок лермонтовцев», ничего не говорит или даже говорит совершенно обратное. Ни сам Лермонтов, ни его кружок, состоявший преимущественно из очень юных и неустойчивых людей, как, например, его правая рука—Рабинович, не пользовались у нас каким-либо престижем и уже по одному этому не могли быть среди наших членов проводниками бакунинского направления. Правда, сам Лермонтов, как умный и способный человек, примкнул после выхода из нашего кружка к бакунистам, мог быть проводником бакунинского направления где угодно, особенно среди молодежи, но только не в кружке чайковцев, где моральный авторитет его был подорван.

К сожалению, никто из писавших о кружке чайковцев, кроме П. А. Кропоткина, не обмолвился об этих собраниях 1873 г., не писал ничего о них и Л. Шишко, который это лето оставался в Петербурге и, конечно, должен был бы быть на этих собраниях и в своих воспоминаниях так или иначе о них отозваться. Между тем, этот момент в жизни кружка, несомненно, имел важное значение при определении физиономии кружка в ту пору, которая из беглого рассказа Кропоткина могла представляться, особенно для постороннего человека, несоответствующей действительности.

На самом же деле до лета 1873 г. вопрос о связи с лавровским «Вперед» для нашего кружка был делом решенным, несмотря на не совсем однородные отношения к этому ожидаемому журналу. О связи же с бакунинским органом и с бакунинцами вообще никто и не заикался, несмотря на наше в высокой степени почтительное отношение к величавой личности самого Бакунина, окруженного ореолом неустанного борца за великое дело освобождения народов. Когда же настало время окончательно установить, в виду близости выхода «Вперед», деловую связь с ним, то естественно, что Кропоткин, как сторонник анархического течения, должен был выступить с предложением установить связь не с лавристами, а с бакунинцами, а отсюда и те «*горячие споры*», о которых говорит Кропоткин, в особенности, если принять во внимание, что сам-то Кропоткин—живой и страстный—без сомнения, горячо отстаивал свое предложение, встречая и не менее горячие возражения. Весьма возможно, что возражения эти были по преимуществу со стороны того же Купреянова, любившего поспорить и погово-

рить по принципиальным вопросам с присущей ему спокойной рассудительностью и логикой, что, может быть, и дало повод Кропоткину охарактеризовать его, как человека «определенно умеренного направления». Но эта умеренность Купреянова была едва ли большей, чем у остальных чайковцев, так же, как и он, не веривших в близость революции.

Недоумение же Кропоткина, почему за границу послан не выбранный Клеменц, а Купреянов, может быть, всего скорее можно об'яснить тем, что нашему делегату, кроме переговоров, предстояла и другая серьезная задача—покупка типографии, которую лучше мог выполнить именно Купреянов, на обстоятельность которого можно было вполне положиться. Что же касается невыполненного Купреяновым задания, возложенного на делегата, а именно: ознакомление на месте с обоими течениями путем переговоров с представителями их, то Купреянов, зная хорошо настроение всего состава кружка, и не счел необходимым повидаться с бакунистами, с которыми все равно деловой связи состояться не могло. При этих обстоятельствах иных результатов не могло бы быть и при поездке Клеменца: «*бунтарство*» бакунистов, не приемлемое для нас, не позволило бы и ему связаться с ними.

VIII.

Моя поездка в Крым. Первые впечатления от Крыма. Ортолан. Братья Зотовы. Моя жизнь в Ортолане, а затем в Судаке. От'езд из Крыма в Одессу. Мои встречи в Одессе с С. А. Чудновским и А. И. Желябовым. Несколько замечаний к воспоминаниям Чудновского о моем пребывании в Одессе. Возвращение в Петербург с короткими остановками в Киеве и Москве.

Перед своей поездкой в Крым я передал все ведение дела по Выборгскому району Шишко и Перовской, переселившимся для удобства сношения с рабочими на Выборгскую сторону. Помогал им и Купреянов, когда был в Петербурге. Помощь последнего была тем более необходима, что этим летом не могла принимать участия в занятиях с рабочими и Кувшинская, также работавшая до сего времени в этом районе.

Маршрут, данный мне для поездки в крымское имение Зотовых, куда я направлялся, был: Одесса, Евпатория, Симферополь, Карасу-Базар и затем Ортолан, конечный пункт моего путешествия. Опять, следовательно, предстоял переезд морем, на этот раз уже более значительный, чем февральский или мартовский в Херсон и обратно в Одессу, но я выдержал его неожиданно для себя с честью, хотя море было далеко не спокойное и многие из пассажиров страдали морской болезнью. В Евпатории мы были лишь на другой день и перебирались в город уже на лодках, так как недостаточная глубина моря около города не позволяла пароходу подойти к берегу. Небольшой городок этот, расположенный на плоском, низменном и песчаном берегу, лишенный растительности, производил унылое впечатление и совершенно не соответствовал моему представлению о Крыме. Дорога от Евпатории до Симферополя, которую надо было проделать на лошадях, пролегала по такой же песчаной низменности, пустынной и голой, что окончательно убивало мои прежние представления о Крыме. И лишь около самого Симферополя местность заметно меняется и оживляется зеленым покровом. Самый Симферополь, весь утонувший в фруктовых садах, но не бьющий в глаза эффектными постройками, производит впечатление тихого и симпатичного провин-

циального городка. В нем я не задерживаюсь и опять же на лошадях еду дальше, в Карасу-Базар—исторический городок, прежнюю ханскую ставку,—населенный по преимуществу татарами, армянами, греками и евреями. Это заштатный город Симферопольского у., сохранивший свой облик чисто восточного города с кривыми и узкими улицами, обилием мечетей, постоялых дворов и кофеен. Возница подвез меня к одному из постоялых дворов, где я после нудной дороги в летнюю жаркую пору немного отдохнул и подкрепился из восточной кухни и затем, после беглого осмотра интересного города, поспешил дальше, чтобы прибыть в Ѳртолан—имение Зотовых—еще засветло. От Карасу-Базара начинается уже горная часть Крыма, пересекаемая долинами и уже богатая растительностью и заселенная. Забыв усталость, я любуюсь сменяющейся панорамой гор и долин и необычайной для северянина растительностью юга. Но вот и Ортолан—конец моего путешествия. Встречают меня приветливо и дружески, как бы давно знакомого человека. Хозяева—два брата Зотовы, Захар и Алексей, культурные люди, побывавшие в Петровской земледельческой академии, еще молодые, но мало похожие друг на друга. Захар—крепко сбитый блондин, небольшого роста, деятельный, живой и веселого нрава человек; Алексей, рослый брюнет, с копной густых волос на голове и окладистой бородой, был писаный красавец, чего совсем нельзя было сказать о Захаре. Чрезвычайно симпатичный и добродушный Алексей не отличался практичностью, был с ленцой и со склонностью к мечтательности. Нередко любуясь этим богатырем-красавцем, невольно располагавшим к себе, я представлял его себе верхом на коне во главе восставшего народа, где одна его красочная и внушительная фигура могла бы воодушевить толпу. Тихая обеспеченная жизнь его не удовлетворяла, и позднее, когда началась сербская война, он добровольцем пошел туда, потерял там здоровье и скоро по возвращении на родину погиб.

У Зотовых были и молоденькие сестры, к которым часто наезжали в гости их приятельницы, благодаря чему в небольшом помещичьем доме, окруженном фруктовым садом, жизнь протекала шумно и весело. Часто устраивались прогулки и семейные пикники, в которых деятельное участие принимал и мой товарищ по институту Васюков, чувствовавший себя здесь, как дома. Мое же самочувствие в этом гостеприимном доме было не из важных. Прожив уже два года в Петербурге исключительно в среде людей, вся жизнь которых была посвящена интересам совсем другого порядка, я как-то плохо подходил к этим новым для меня людям и не мог без усилий для себя войти в их жизнь. Кроме того, я и ехал сюда, чтобы подзаняться, для чего приходилось с книгой в руках уединяться где-нибудь в укромном уголку сада. Получалась как-будто преднамеренная с моей стороны отчужденность,

которая была тягостна для меня, особенно в виду того, что со стороны хозяев я встречал лишь одну предупредительность и радушие. Особенно это чувствовалось в первое время; потом эти острые углы несколько сгладились, и мы в большей или меньшей степени приспособились друг к другу.

Из ортоланской жизни я помню одно маленькое приключение, совсем сконфузившее меня. Как-то с Васюковым мы решили осмотреть красивые окрестности Ортолана и верхом отправились с этой целью в довольно длинное путешествие. День выдался чудный—солнечный и тихий. До сего времени я никогда не ездил верхом, и мне по этому случаю дали самую смирную лошадь. Получив надлежащие инструкции, как надо держать себя верхом на лошади, мы рысью двинулись в путь. Но скоро, чтобы дать отдых своим лошадям, поехали шагом. Я залюбовался открывшимся живописным видом местности и опустил повода. Кругом стояла полуденная тишина, все как-будто замерло под действием жгучих солнечных лучей, влияние которых, несомненно, сказалось и на наших лошадях. Вот в это-то время я совершенно неожиданно для самого себя громко чихнул, моя полусонная лошадь от испуга шарахнулась в сторону и пустилась опрометью бежать уже без седока на противоположную сторону долины, по которой мы ехали. Я же оказался распростертым на пыльной дороге, очки мои, которые я тогда носил, слетели и оказались далеко от меня. Подбежавший Васюков помог мне встать и оправиться. К счастью, мое падение оказалось удачным, и никаких повреждений, кроме конфуза, я не получил. Рассказав своему товарищу, как все это произошло, я вместе с ним тотчас же пустился за убежавшей лошадью; поймав ее, мы уже не решились продолжать наш путь, а пешечком, ведя своих лошадей в поводу, направились к дому. Так постыдно окончился мой первый дебют верховой езды, повторить который я уже не решался. И лишь в Сибири, много лет спустя, мне пришлось по необходимости снова сесть на верховую лошадь и, не сходя с нее, проделать 70 в. пути по глухой тайге. Крымский опыт пошел мне на пользу, путь этот я совершил вполне благополучно и с тех пор уже не боялся верховой езды, к которой нередко приходилось прибегать.

После довольно продолжительного пребывания в Ортолане, нас повезли к морю, в Судак, где находилось небольшое имение матери Зотовых. Путь лежал по гористой и чрезвычайно живописной местности, представлявшей для меня—жителя равнин—особенный интерес. По пути мы заезжали в какой-то монастырь, название которого я уже не помню, расположенный почти на самой вершине высокой горы, и чтобы добраться до него, приходилось одолеть длинный, довольно крутой и извилистый под'ем. Но зато какая чудная и живописная картина открывалась зрителю, достигшему монастырской высоты!

К вечеру того же дня мы были уже в Судаке, расположенном в устье довольно большой долины, упирающейся в море и окруженной с трех сторон цепью гор. Нижняя часть долины, более широкая, была занята виноградниками, разбитыми на небольшие участки, а среди них размещались жилые и нежилые постройки владельцев их. Вся эта часть долины тонула в зелени садов и ласкала глаз. У самого моря, с правой стороны долины, высилась совершенно отдельным шпицем крутая гора, на самой вершине которой находились остатки генуэзской крепости, испещренной надписями туристов. С задней же стороны этой горы расположился поселок немецких выходцев. Верхняя часть долины, примыкающая к цепи гор, была совершенно пустынна и служила лишь пристанищем для разной перистой дичи, за которой мы потом нередко охотились.

Несомненно, самое лучшее в этом благословенном уголке было море, которое прямо тянуло к себе. Часами я просиживал на его песчаном берегу, любуясь его беспредельностью и зеркальной поверхностью в тихую погоду, а в бурю — его сердитыми и гневными волнами, неустанно рокочущими и забегавшими далеко на поверхность земли. Купанье в этом море, а еще больше—одинокое катанье на небольшой парусной лодке доставляли истинное наслаждение. Море здесь пустынно, и лишь изредка увидишь где-нибудь на горизонте парусное судно, а еще реже—какой-нибудь пароход, никогда не заглядывающий в самый Судак.

Жизнь в Судаке протекала тихо и была свободна от того веселья и шума, которыми изобиловал Ортолан. Хозяева были так же гостеприимны и радушны, как и там, но вполне предоставляли устраивать свою жизнь по собственному усмотрению, благодаря чему самочувствие мое было здесь много лучше. Весь день в твоем распоряжении, делай, что хочешь, претензий же к тебе никто и никаких не пред'являл. Так прожил я в Судаке около месяца, отдавая свое время на чтение, охоту на перепелов в верхней части долины, на купанье и прочее, а когда уже в августе поспел виноград, я отдал должную дань и ему, обычно располагаясь для этого прямо под виноградным кустом. Отношения мои с хозяевами дома установились добрые, а Алексей Зотов, который тоже жил с нами в имении матери, мне все больше и больше нравился своею простотой, непритязательностью и деликатностью. Для своих охотничьих прогулок я обыкновенно пользовался его ружьем, но стрелок я был неважный, а потому редко возвращался с добычею, что давало повод подтрунивать надо мною.

В одно из таких блужданий моих с ружьем я был немало напуган необычным для меня зрелищем: прямо на меня, извиваясь, неслась большая змея; я уже схватился за ружье, готовясь спустить курок, как она почти у самых моих ног так же быстро, как и двигалась перед этим, исчезла в находящейся в двух шагах от меня

норе. Немало времени я простоял перед этой норой со взведенными курками, ожидая нападения; но такового не последовало.

Прожив в Крыму уже около двух месяцев в прекрасных условиях, я заметно поправился и окреп. Пора было уже двигаться до дому, т.-е. в Петербург, откуда письма напоминали мне об иной жизни и иных интересах, с которыми я так сжился и так разобщился за эти два месяца. Сердечно простившись с нашими радушными и гостеприимными хозяевами, мы (я и Васюков) не без сожаления покидали этот благодатный уголок, чтобы двинуться в Феодосию, а уже оттуда морем снова в Одессу.

Феодосия, расположенная в юго-восточной части Крыма, была маленьким портовым городом, с естественно защищенной гаванью и прекрасным местом для купаний. В ожидании парохода мы осматривали город, на что потребовалось немного времени, и многократно и уже в последние разы наслаждались купаньем в южном море. Но вот, наконец, и пароход; билеты 3 класса взяты, и мы при тихой погоде пускаемся на этот раз в самое длинное и самое интересное морское плавание: пароход держится вблизи берега южного Крыма, который мы имеем возможность осматривать, и мы любуемся его прославленными красотами. Маленькая остановка в Ялте, а затем более продолжительная в Севастополе, позволившая нам бегло осмотреть город, откуда мы уже прямым путем направляемся в Одессу открытым морем. Погода в этой последней части нашего пути неожиданно нам изменяет. К вечеру поднимается ветер, а вслед за тем постепенно разыгрывается буря, и наш небольшой пароходик с трудом борется с ней, то вскакивая на гребни волн, то опускаясь между ними. Большинство пассажиров уже изнемогают от морской болезни, я еще держусь сравнительно бодро и не покидаю, пока есть возможность, палубы, любуясь бушующим грозным морем, пытающимся поглотить наше утлое суденышко. К ночи буря свирепеет еще больше, оставаться на палубе становится уже не безопасно, так как волны начинают заливать и ее. Волей-неволей приходится спуститься в трюм, где пассажирам 3 класса отведены отдельные клетки, расположенные амфитеатром в два или три яруса. Но, боже, что за картина, достойная Дантовского ада, представилась моим глазам, когда я очутился в трюме! Из всех пассажирских клеток, битком набитых, высосывались измученные лица, непрерывно отдающие дань морской болезни, всюду стоны и плач! Воздух отвратительный, дышать почти нечем. Помощи же ниоткуда никакой, да и чем тут поможешь? При таких обстоятельствах я уже не решаюсь залезать в свою клетку, боясь, что немедленно же буду испачкан верхними пассажирами. Приходилось остаток ночи провести без сна, держась по возможности подальше от злополучных пассажирских конур. К моему немалому удивлению я

и на этот раз не подвергся общей участи: меня время от времени лишь немного подташнивало, но и только.

К утру, по мере приближения к Одессе, ветер заметно стал ослабевать, и море понемногу успокаивалось. Трюм открыли, и мы, кто мог это сделать, стали вылезать из нашей зловонной тюрьмы, чтобы отдышаться на чистом воздухе. Вдали показались уже и смутные очертания Одессы, а немного спустя она уже вырисовывалась во всей своей красе. Но вот, наконец, и пристань, к которой мы медленно пробираемся среди множества судов. С чувством несказанной радости после проведенной тяжелой ночи мы ступаем на твердую землю, чтобы с пристани раз'ехаться в разные стороны.

Остановившись в номерах, я спешу к Волховскому, который на этот раз бодр, весел и мило остроумен; от него я узнаю, что из-за границы недавно вернулся его старый приятель и ближайший его сотрудник по организации одесского кружка, Соломон Лазаревич Чудновский, слушавший курс медицины в Венском университете, от которого я могу узнать много интересных новостей. Вызванный в Одессу своими друзьями, чтобы принять участие в развертывающейся деятельности кружка, он бросил университет и возвратился в Одессу, предварительно при помощи своих львовских друзей наладив транспортировку нелегальной литературы на южной границе и оказав содействие Купреянову по отправке купленной последним типографской машины в Россию. Чудновский входил в состав одесского кружка Волховского и был его правой рукой. Уравновешенный и рассудительный, много читавший, умевший пользоваться своими знаниями, в то же время чуткий и сердечный,—он не мог не играть видной роли в одесской организации, новому направлению которой он вполне сочувствовал. Я быстро сошелся с ним и проводил немало времени в его обществе, слушая его рассказы о заграничной жизни и тамошнем рабочем движении. Много он говорил мне о своей встрече за границей с Купреяновым, который произвел на него обаятельное впечатление и своим внешним видом, и своим глубоким аналитическим умом, легко и свободно разбиравшимся, несмотря на свою молодость, в самых сложных философских и экономических вопросах. Довольно длительное мое пребывание в Одессе все уходило на взаимный обмен мнениями с членами кружка и взаимное ознакомление с положением дел как в самой Одессе, так и в других пунктах, о которых я имел возможность сообщить. Благодаря более обстоятельному знакомству с одесской организацией, я имел возможность составить себе довольно полное и весьма выгодное представление об одесской организации, одной из самых многолюдных, хорошо организованных и составленных из идейных и преданных народному делу людей. В значительной степени всему этому организация была обязана выдающимся организаторским

способностям Волховского и его обаятельной и незаурядной личности. У кружка, благодаря Волховскому, были обширные связи в обществе, которыми он умело пользовался, были не менее обширные связи с учащейся молодежью, из которой умело же и непрерывно пополнялась организация, и, наконец, установлены были и значительные связи с рабочим людом, как фабрично-заводским, так и состоящим в разных производственных артелях, где велась систематическая работа. Это последнее дело—сравнительно еще новое, но оно с каждым днем развивалось и притягивало к себе новые силы.

Что же касается до взаимоотношений между одесской группой и петербургскими чайковцами, то здесь ничего лучшего нельзя было и желать: была полная согласованность в заданиях, в идеологии и в отношении моральных требований к личному составу организации.

В этот же свой приезд я впервые познакомился с А. И. Желябовым, только-что вернувшимся в Одессу, где популярность его среди молодежи, приобретенная еще за время его студенчества, была велика. Встретился я с ним случайно, на приморском бульваре, где он очевидно прогуливался с одним из братьев Зотовых, с которым я не был знаком. Меня познакомили, и мы разговорились. Высокий, стройный блондин, с небольшой окладистой бородкой с выразительным и симпатичным лицом великорусского типа, Желябов при первом же знакомстве невольно располагал к себе. В то время он еще не состоял в кружке Волховского, от вступления в который его удерживали соображения о судьбе семьи старика отца (крестьянина), которую он искренно любил и которую материально поддерживал, и затем сомнения в сравнительной полезности нелегальной работы, которая служила всегда поводом для усиления реакции, а вместе с тем и создавала новые препятствия для легальной деятельности на пользу народа.

Зная хорошо Желябова еще по прежней его деятельности в Одессе среди молодежи и высоко ценя его за личные качества и его агитаторские способности, члены кружка усиленно старались завербовать его и помочь ему изжить его колебания. Через какой-нибудь месяц по моем от'езде, после тяжелой внутренней борьбы, Желябов, наконец, окончательно разрешает все свои сомнения и отдает себя в полное распоряжение кружка, направление деятельности которого им вполне и безоговорочно принимается. И с тех пор вся последующая, сравнительно недолгая, но красочная жизнь его посвящается всецело делу народа.

Говоря о своем последнем посещении Одессы, когда я впервые познакомился с Чудновским, я считаю вполне уместным сделать небольшие поправки и пояснения к воспоминаниям последнего, относящимся к этому посещению [1].

[1] См. Исторический сборник «Наша страна». 1907 г. «Отрывки из воспоминаний 1872—73 г.г.» С. А. Чудновского, стр. 354 и 355.

В этих своих воспоминаниях Чудновский, между прочим, говорит: «Связи между чайковцами и нашим кружком поддерживались и укреплялись не одной лишь перепиской, но и личными поездками чайковцев». «За короткое время (4—5 мес.), которое мне суждено было пробыть на работе кружка, до моего из'ятия из его среды, в Одессе, например, побывали как сам основатель кружка, Николай Васильевич Чайковский, так и специальный, так сказать, «ревизор»—Николай Аполлонович Чарушин».

Делая далее чрезвычайно лестную характеристику нас обоих, Чудновский продолжает:

Н. В. Чайковский «оставался у нас самое короткое время, имея целью лишь личное ознакомление с членами кружка. Совещание его длилось с нами много часов под ряд, в течение которых Н. В. развивал profession de foi чайковцев, знакомил нас с их ближайшими задачами и целями и характером их работы, интересуясь взаимно и нашим взглядом на положение вещей, и нашей работой с нашими чаяниями и надеждами».

«Более продолжительно было пребывание в Одессе Н. А. Чарушина, выработавшего, так сказать, договорные пункты наших союзнических отношений, способы наших взаимных сношений, районы деятельности, способы доставки литературы и т. д.».

«Чарушин,—пишет он далее,—как помнится, приехал к нам из Крыма уже после продолжительного странствования по России, так что его рассказы и сообщения, основанные на личных наблюдениях и личных знакомствах, имели для нас большое и поучительное значение. Результаты и выводы его поездки подействовали на нас ободряющим образом, так как они наглядно убеждали нас в том, что мы далеко не так одиноки, как мы раньше думали, как и в том, что оппозиционно-революционная деятельность в России делает быстрые успехи, проникая в самые отдаленные и глухие ее углы».

Прежде всего, по поводу приведенных выше выписок я должен заметить, что это мое посещение Одессы, о котором говорит Чудновский, было уже по счету четвертое (в 1873 г.), первым же оно могло быть лишь для самого Чудновского, которого в предыдущие мои посещения в Одессе еще не было. Уже в первый мой приезд туда в конце февраля или начале марта, как я уже писал выше, все основные вопросы, согласно данному мне поручению, были выяснены и обсуждены, и мы пришли к полному и единодушному соглашению. Последующие же мои посещения имели целью лишь ближе ознакомиться с лицами, входящими в состав организации, прочнее закрепить нашу связь и обсудить и договориться по некоторым частным вопросам, что по тем или иным причинам не могло быть сделано ранее. Приезжал же я в Одессу, конечно, не как *«специальный ревизор»*, каковой миссии я на себя не брал и никто таковой на меня не возлагал и не мог возлагать уже по той

простой причине, что отношения провинциальных отделений к петербургскому кружку были не подчиненные, а равноправные и автономные, основанные лишь на совершенно добровольной духовной связи, порвать которую каждое отделение имело полную возможность и право, если бы почему-либо наши дороги стали расходиться.

Переходя далее к характеристике моих политических воззрений, Чудновский на следующей странице (355-й) тех же воспоминаний, к моему немалому удивлению, пишет:

«При первом знакомстве Чарушин поражен был резким различием в его и моих политических воззрениях. В то время, как его симпатии тогда были, *кажется*, целиком на стороне анархизма и анархистов, я категорически заявил себя «государственником»,— человеком, не признающим возможности дальнейшего прогресса человечества, как такового, иначе, как в форме того или иного государственного строя. Склоняясь всеми своими душевными и сердечными симпатиями к социализму, резко враждебно относясь к существующему у нас в России политическому и социально-экономическому строю, я, тем не менее, не находил возможным отрешиться от государственности вообще и всяких государственных форм»... «Н. А. Чарушин, как и многие другие, как и некоторые члены нашего одесского кружка (хотя отнюдь не большинство его), признавали такой взгляд ересью и просто поражались им. Но, к счастью для общего дела, это нисколько, однако, не мешало нашему взаимному уважению и сближению. Я, как и все члены нашего кружка, расстался с Чарушиным в самых дружеских отношениях, и дружба эта впоследствии, как во время «процесса 193-х», так и в Сибири, когда взгляды наши значительно сблизились, еще более окрепла, оставаясь таковой и поныне».

И не один Чудновский, но и некоторые другие в своих воспоминаниях, как, напр., Старик (Ковалик), тоже указывают на меня, как на одного из наиболее ярко выраженных анархистов в кружке чайковцев. На самом же деле анархистом я никогда не был. Меня уже давно занимает вопрос, чем я подал повод для таких неправильных заключений? И единственное об'яснение я нахожу лишь в моем отношении к самому Бакунину, личность которого, с его огромным революционным прошлым, импонировала мне, как она импонировала и многим другим, не разделявшим его взглядов. Мне нравились и его сильные речи, которые доводилось читать, сказанные простым и доступным для масс языком. Все это возбуждало во мне искренние симпатии и уважение к Бакунину, чего я ни от кого не скрывал.

Сравнивая Бакунина и Лаврова, я, несмотря на все мое уважение к последнему, как мыслителю, ученому и человеку, отдавал предпочтение первому, полагая, что роль политического вождя для Лаврова, человека кабинетного и не знающего жизни, будет

не совсем по плечу, в особенности в такой трудный момент жизни России, какой начинался для нее.

Возможно, что именно это мое отношение послужило поводом к невольной ошибке в определении моих политических взглядов и симпатий.

Ошибаясь, как я полагаю, в определении моей политической физиономии того далекого времени, Чудновский совершенно прав, когда говорит, что я расстался с ним, как с другими одесситами, при наличии самых дружеских отношений, решительно ничем не омрачаемых. Он также справедливо замечает далее, что дружба эта с годами только укреплялась, но забыл отметить, что он, живя после суда в Западной Сибири среди многочисленной политической ссылки, был самым деятельным нашим корреспондентом, когда мы, отрезанные от мира, жили на Каре. Его письма, всегда итересные и обстоятельные, знакомившие нас с судьбой наших товарищей, поселенных на далеком западе Сибири, читались всегда с живым интересом и связывали нас с миром живых людей, за что мы были несказанно ему признательны.

Распростившись с своими одесскими друзьями, я, наконец, покинул Одессу, а с ней вместе и море, и юг, и двинулся на север. В Киеве лишь небольшая остановка, чтобы повидаться с членами местного кружка и обменяться с ними впечатлениями и сведениями, которыми мы могли поделиться друг с другом. То же было и в Москве, где, между прочим, я снова виделся с Тихомировым и продолжал настаивать на его переезде в Петербург, куда он в скором времени, действительно, и перебрался.

IX.

Снова в Петербурге. Чайковцы все в сборе. Решение составить мотивированную записку (программу) о тех выводах, к каким кружок пришел в результате своей деятельности. Мой переход на нелегальное положение. Усиленная деятельность чайковцев в рабочей среде. Брожение среди молодежи. Подготовка похода в народ. Лавровский журнал «Вперед». Отношение к нему чайковцев. Бакунисты и «вспышкопускатели». Их влияние на молодежь.

Целых два месяца я был далеко от Петербурга и от близких мне людей, поэтому понятна та радость, какую я испытывал по возвращении. Петербург же, несмотря на многие отрицательные его стороны, я искренно полюбил. Как-никак, здесь был центр умственной жизни страны, отсюда исходили все идейные течения, распространявшиеся затем по всей стране, здесь же, прежде всего, ковались и все смелые замыслы освободительной борьбы, которая так сильно захватила и нас.

Наша публика была уже вся в сборе, все вернулись—кто из-за границы, кто из недр России, следовательно, рассказать и обменяться сведениями и мнениями было о чем.

Отыскав квартиру Кувшинской, проживавшей попрежнему на Выборгской стороне, и получив от нее необходимые предварительные сведения о всех и обо всем, что меня интересовало, мы направились в нашу штаб-квартиру, которая на этот раз уже была на Петербургской стороне, на берегу Невки, и помещалась в отдельном деревянном и довольно поместительном флигеле. Не помню, в тот же ли день или в один из ближайших, здесь собрались и все члены нашего кружка, возбужденные и радостные, освеженные разнообразными впечатлениями за летние месяцы. У каждого, не только из уезжавших, но и у остававшихся, было что порассказать. Но не один обмен мнениями происходил на этом собрании, а строились также и планы на ближайший сезон, который по всем признакам ожидался очень оживленным. Подогреваемые личными впечатлениями, вынесенными из поездок, а также и успехом в работе остававшихся в Петербурге, мы бодро и полные веры смотрели на ближайшее будущее. Оппозиционное настроение русского об-

щества заметно росло, учащаяся молодежь бурлила, и лозунг «на работу в народ» во имя его освобождения становился господствующим. А дальше, и уже скоро, должны были выступить новые возбудители и толкачи в виде лавровского журнала «Вперед» и другой заграничной литературы бакунинского и других направлений.

Но нас более всего занимало углубление и дальнейшее расширение деятельности среди рабочих, так сочувственно встреченной и повсеместно в провинции. Правильная и систематическая работа на Выборгской стороне и на Васильевском острове не прекращалась, и летом, за Невской заставой, поселившись там, уже развивал усиленно свою деятельность Синегуб с женой, возвратившийся из своего Губина-Угла, Тверской губернии, а с ними и Стаховский и другие. Нужно было захватить и другие рабочие районы, как те, где уже работа начиналась, так и те, где ее еще не было. При господствующем настроении студенческой молодежи, если бы даже собственных сил для этого нехватило, сделать это было нетрудно: всегда нашлись бы группы, а то и целые кружки молодежи, близкие чайковцам, которые взялись бы выполнить такую работу.

В связи с этим делом, естественно, возникал вопрос о народной литературе, как легальной, так и нелегальной. Из первой уже кое-что было подобрано, а отчасти и переиздано, а второй почти совсем еще не было. К этому времени имелись, кажется, уже в напечатанном виде лишь сборник революционных стихотворений и «Чтой-то, братцы» Л. Шишко, да написанная Тихомировым «Сказка о 4-х братьях». Печаталась или была уже напечатана также переделка «Истории одного французского крестьянина» Эркмана-Шатриана, не помню, кем сделанная. Вот, кажется, и все, чем мы располагали из нелегальной литературы для народа. Багаж, можно сказать, микроскопический, но уже важно было то, что начало положено. Необходимо было этот литературный багаж во что бы то ни стало пополнить, к чему и побуждались члены нашего кружка, обладающие литературными дарованиями. На Тихомирова было возложено написать о Пугачевском бунте, на Кравчинского—по экономическим вопросам. Первый свою работу еще до своего ареста в ноябре сделал, которую Кропоткин потом снабдил анархическим концом. Кравчинский же уже позднее написал ряд брошюрок, из которых некоторые имели широкое распространение.

Не помню тогда же или несколько позднее, был поднят вопрос о необходимости в письменном виде зафиксировать нечто в роде программы нашего кружка, физиономия которого в его практической деятельности уже в достаточной степени определилась. Это важно было и для нас самих и для наших отделений, а еще больше для широких кругов молодежи, воодушевляемой теми же освободительными идеями, что и мы, но еще не обладавшей

тем опытом, какой имелся уже у нас, благодаря двухлетней работе в рабочей среде и отчасти в крестьянской. Программа эта или, скорей, об'яснительная записка о тех выводах, к каким мы пришли в своей практической деятельности, должна была быть обстоятельно мотивирована. Здесь надлежало выяснить этические и идейные основы нашей организации, тип ее, наше отношение к различным слоям населения и, в частности, к западно-европейскому рабочему движению и к нашим русским зарубежным партиям. До сих пор у кружка не было не только какой-нибудь писанной программы, но не было даже и намека на нее.

Все это и должно было найти отражение в предполагаемой записке. Работу по написанию последней взял на себя П. А. Кропоткин.

По приезде моем в Петербург я уже не искал себе квартиры, так как доходившие до меня слухи указывали, что III отделение интересуется мною. Не имея никакого желания попадать в его руки в столь интересное время, я решил перейти на нелегальное положение. В первое время я обычно ночевал в нашей штаб-квартире, а потом кочевал по квартирам своих приятелей и знакомых. Скитаясь по целым дням в различных частях города по разным делам, я на ночевку обыкновенно приходил к тому или иному товарищу, квартира которого была всего ближе от места, где застигала меня ночь.

Однажды, ночуя в нашей штаб-квартире, я был встревожен необычайным шумом, производимым множеством экипажей, в'езжавших во двор нашего дома, обычно всегда тихий и спокойный. Уверенный в том, что это нагрянули жандармы, я, лежа в постели, стал ждать властного стука в двери нашего флигеля, но такового все не было. Удивленный и заинтересованный этим таинственным шумом на дворе, я встал и увидел, подойдя к окну, десятка два экипажей и столько же кучеров, но ни одного жандарма. Не находя другого об'яснения, я решил, что пока обыск происходил в главном доме, за которым, возможно, последует и во флигеле. Всю ночь я провел в ожидании жандармов, и только уже утром выяснилось, что не жандармы, а свадебный пир был причиной напрасной тревоги.

Осмотревшись немного, я снова стал держаться около Выборгской стороны и возобновил свои сношения с рабочими, связь с которыми в мое отсутствие поддерживалась Шишко, Перовской, Купреяновым и Кувшинской. Перовская в скором времени затем перебралась за Невскую заставу и помогала в работе Синегубу, связи которого с рабочими сильно расширялись. Туда же несколько позднее перебрался и Л. Тихомиров, поселившись вместе с Синегубами.

Среди выборгских рабочих, как я уже говорил раньше, была выделена группа лиц, наиболее подготовленных и искренно про-

никнутых нашими идеями. С ними и занятия и беседы происходили отдельно, большею частью в квартире Кувшинской, которая сама, а также и Шишко—наш общий друг и приятель—принимали в них участие. Этой группе, из которой некоторые с агитационными и пропагандистскими целями уже ушли в деревню, я и отдавал большую часть вечерних часов, когда рабочие освобождались от своих дневных занятий.

Но рядом с таким индивидуальным воздействием на избранных не прекращалась и работа массового характера в общежитиях рабочих, где занятия и беседы, само собой, носили уже несколько другой характер. Но и здесь, несмотря на нашу сдержанность, в виду слишком разнокалиберного состава артельщиков, нередко возникали оживленные беседы, и публика, путем перекрестных вопросов, докапывалась до корня вещей. Особенно эти наши посещения артелей часто вызывали в нас горькое чувство. Приходилось зорко следить за собой и опасаться нескромного полицейского ока или даже кого-нибудь из состава самой рабочей артели, кому речи наши могли почему-либо не понравиться. Донос в участок—и делу конец! Этот воровской способ сношений, эти постоянные опасения, как бы не провалить и все дело и людей, причастных к нему, невольно взоры наши направляли на Запад, заставляя ценить блага политической свободы. Там люди могли свободно собираться, открыто и безбоязненно проводить свои взгляды и создавать мощные рабочие и иные общественные организации, не опасаясь, что за это последует суровая и беспощадная кара. Я помню, как часто, возвращаясь после какой-нибудь удачной беседы в артели, мы невольно сравнивали наш маленький успех с тем, какой мог бы получиться в иных политических условиях, когда на сцену могли бы выступить заслуженные народные вожди, талантливые и сильные! Но увы! Для нас пока это были лишь «бессмысленные мечтания», и мы силою обстоятельств могли лишь, как кроты, ощупью подрывать тот фундамент, на котором покоился ненавистный нам государственный строй, твердо веря, однако, что и эта кротовая работа, в конце-концов, все же, хотя и не скоро, приведет к желанному концу!

В других районах так же шла работа индивидуального и массового характера, как и на Выборгской стороне, в которую все больше и больше вовлекались как отдельные лица, так и целые кружки молодежи. Работа увлекала, а молодежь рвалась именно к такому делу, чему немало способствовало и общее настроение. К зиме 1873 г. я не знаю, был ли в Петербурге какой-нибудь район, где бы не велась аналогичная работа при непосредственном участии кого-либо из чайковцев или без них. Так, помимо Выборгской стороны, Невской заставы, Васильевского острова, где прочно и уже давно засели чайковцы, на Лиговке из числа последних работала А. И. Корнилова, за Московской заставой—

Леонид Попов, на Обводном канале—кружок молодежи, которому помогал кто-нибудь из нашего кружка.

Попрежнему несколько обособленный характер носила работа на Васильевском острове, где приходилось иметь дело с заводскими рабочими. Там продолжались оживленные занятия по разным отраслям знания, и читались лекции на общественные и иные темы. Здесь, как я уже отмечал выше, сосредоточивалась рабочая аристократия, состоящая из квалифицированных рабочих, нередко свысока относившихся к фабричной «шпане». Многие из нас именно за это последнее и не долюбливали васильеостровских аристократов, которые, казалось нам, несмотря на всю их сравнительно высокую культуру и степень развития, не отдадутся беззаветно народному делу. Но опасения эти, по крайней мере в отношении многих из них, не оправдались.

Так медленно, но последовательно развивалось и росло рабочее дело не только в Петербурге, но и во многих промышленных провинциальных городах. В осень же и зиму 1873 г. оно заметно усиливается. Почти все чайковцы заняты им по преимуществу, отодвинув на второй план все другие дела. Молодежь тоже устремляется туда же и усиливает интенсивность работы.

По мере же развития нашей работы, осторожность стала ослабевать, да и трудно было ее соблюдать по характеру самого дела. Волей-неволей конспирацию приходилось пускать по боку и полагаться больше на счастье, удачу и «божью волю». Все равно, думали мы, шила в мешке не утаишь, и рано или поздно какая-нибудь нелепая случайность, предвидеть которую и невозможно, откроет глаза удивленному и перепуганному начальству на эту новую и наиболее опасную для него крамолу, так постыдно проморганную им. Поэтому каждый из нас старался возможно полнее использовать то время, какое ему еще осталось, не думая о завтрашнем дне, когда, может быть, потянут его к ответу. По всем этим соображениям публика систематически наглела, забывая о необходимых предосторожностях. Едва ли не больше всего это забвение имело место за Невской заставой, в районе Синегуба и К°. Район этот первый и подвергся разгрому уже в ноябре 1873 г., тогда как в других работа беспрепятственно продолжалась еще целых 4—5 месяцев.

В этот последний и наиболее оживленный период организованной деятельности чайковцев в рабочей среде само собой должны были выступить на очередь различные организационные планы.

Прежде всего, отдельные группы рабочих, имевшиеся уже в каждом рабочем районе и составленные из достаточно подготовленных и преданных делу людей, надлежало об'единить в единое целое на федеративных началах с общей союзной кассой и библиотекой. На обязанности такого об'единения должны были лежать общая планировка текущей работы, выделение из своей

среды пропагандистов на местные фабрики и заводы, еще не затронутые пропагандой, и посылка таковых же в провинцию как в городские поселения, так и в деревни.

Вместе с этим так же естественно, по мере развития дела, возникал и вопрос о конкретизации рабочего движения на ближайшее время. Общая пропаганда освободительных идей некоторым из нас уже до очевидности казалась недостаточною. Распропагандированная рабочая публика, не имея под рукою на ближайшее время никакой конкретной задачи, посильной для данного момента, горя нетерпением, устремлялась к совершению тех или иных эксцессов бунтарского характера или к попыткам осуществления конечной цели движения, что неизбежно привело бы лишь к ненужным жертвам, разочарованию и даже к дискредитации самого движения. С каждым днем это бунтарское устремление рабочих заметно вырастало и захватывало даже наиболее сознательных рабочих. Одна словесность уже не удовлетворяла, им нужно было и действие, а его-то и не было. И для удовлетворения этой назревающей потребности в рабочих массах сама собой напрашивалась мысль о борьбе за улучшение своего правового и материального положения. Мысль о стачках, таким образом, становилась все более и более не только популярной, но и повелительной, встречая сочувствие и среди самих рабочих, хотя в нашей среде были и принципиальные противники стачечного движения, как якобы отвлекающего от основных задач и разменивающего их на мелочи.

Рядом с этими организационными планами, естественно, должна была возникать и мысль о с'езде представителей наших отделений и тех рабочих ячеек, какие в том или другом месте уже имелись. Но, к сожалению, начавшийся в скором времени разгром чайковцев помешал осуществлению всех этих возникающих заданий и планов, еше окончательно не успевших оформиться.

Если не ошибаюсь, в октябре 1873 г. появился, наконец, в Петербурге давно ожидаемый журнал Лаврова «Вперед», первая книжка которого, кстати сказать, весьма почтенных размеров, наподобие заправских русских журналов, изобиловала статьями общего характера и обзорами текущих событий, и, в частности, обзором рабочего движения на Западе, написанным Смирновым. Книжки журнала брались с бою и прочитывались поодиночке и целыми группами. Понятно, что журнал, получивший широкое распространение, не мог не вызвать огромной сенсации в обществе, и особенно среди учащейся молодежи, для которой, главным образом, он и предназначался. Здесь совершенно свободным и откровенным языком, не прибегая к помощи езоповского, трактовались именно те вопросы, которые наиболее волновали эту последнюю. Журнал давал и много фактического материала, особенно по заграничному рабочему движению, писать о котором у нас

в России не дозволялось. Весьма естественно, что содержание журнала давало богатый материал для оживленных бесед и жарких споров по тем или иным вопросам, толкая мысль молодежи в известном направлении.

Само собой, что и в среде чайковцев журнал вызвал много толков и разговоров. Ценя его будирующее значение самого по себе и как осведомителя о запретных для нас западно-европейских течениях, я, полагаю, не ошибусь, если скажу, что он далеко не дал нам того удовлетворения, на какое, может быть, некоторые рассчитывали. Статьи общего и руководящего характера в значительной своей части страдали излишней теоретичностью и недостатком практической деловитости, лишающей возможности людям лучше разобраться в сложных условиях русской революционной деятельности, что для руководящего органа было крупным недостатком. Очевидно, для кабинетного ученого, далеко стоящего от жизни, каким на самом деле и был уважаемый Петр Лаврович, дело, за которое он взялся, было не совсем для него. Его же пропаганда и опять пропаганда, к которой должна была сводиться вся революционная деятельность в подготовительный период, якобы в геометрической прогрессии увеличивающая число прозелитов-революционеров, вызывала невольную улыбку на устах лиц, хотя немного знакомых с жизнью. Кому же было неизвестно, что, в особенности в русских условиях, сегодняшний яркий революционер завтра становится заурядным обывателем, что это—самое обычное явление, аннулирующее все арифметические выкладки!

Но едва ли не больше всего вызывала нарекание проповедь Лаврова о необходимости «всестороннего развития личности» и основательной научной подготовки, прежде чем выступить на общественно-революционную арену. Проповедь эта, если ее признать правильной и следовать ей, неизбежно должна была привести почти каждого, уже вступившего на ту или иную общественную или революционную работу, к отказу от нее из-за недостаточной теоретической подготовки. Многие ли из общественных деятелей, а тем более из деятелей революционного лагеря, с полной искренностью могли бы сказать себе, что они требуемой Лавровым степени развития достигли и что у них нет пробелов в познании тех или иных научных дисциплин, а потому они с полным правом могут приступить и к ответственной революционной работе? В особенности из этого последнего лагеря немного нашлось бы вполне готовых по рецепту Лаврова, а потому, следуя тому же рецепту, надлежало бы бросить свою работу и на многие годы засесть за книжку. К чему же тогда и самый революционный журнал, на кого он рассчитан, если вся молодая и наиболее чуткая и отзывчивая Россия должна прочно и основательно углубиться в науку?

Такой односторонний взгляд журнала в корне подрывал все начавшее развиваться революционное настроение, и с ним чай-

ковцы не могли примириться. Ценя науку и знание и пополняя пробелы в них, когда для этого представлялась какая-нибудь возможность, они в то же время не в меньшей степени ценили и развитие в личности общественных инстинктов, воспитываемых и укрепляемых только практикой и именно в молодых годах, когда чувства еще свежи, когда всякая несправедливость остро чувствуется и когда человек легче всего отдается во власть охватившей его идеи, не заботясь о личном своем благополучии. Понятно, поэтому, что этот вопрос не мог остаться без возражений, каковые и были сделаны в открытом письме Чайковского в редакцию «Вперед».

Но, несмотря на все эти несогласия и недоразумения, вызываемые содержанием журнала, разрыва между ним и чайковцами не последовало, и журнал продолжал перевозиться из-за границы и распространяться в России. Чайковцы вполне справедливо полагали, что польза его, как революционного толкача, несомненна и что ошибки его, каковы бы они ни были, будут корректированы самой жизнью. К тому же чайковцы нетерпимостью в вопросах теоретического порядка никогда не отличались, для них в этот начальный и подготовительный период важнее всего было создание известного уклона настроения и воли к действию, чему в общем журнал, несомненно, содействовал.

Осень и зима 1873 г., как я уже говорил выше, отличались совершенно необычным оживлением молодежи повсеместно в России, но особенно это оживление было велико в самом Петербурге. Почти ежедневно в том или другом конце города происходили многолюдные собрания, на которых в переполненных помещениях шли дебаты на злободневные темы. Темы же эти были в общем одного и того же характера. Всюду говорилось о народе, его страданиях, его прогрессирующей нищете и систематическом угнетении, о том, что такое положение не может более длиться, что пора, наконец, открыть народу глаза на причины этого зла и тем заставить его выйти из бездейственного состояния. Говорилось далее, что обязанности в этом великом и неотложном деле, прежде всего, лежат на интеллигенции, познавшей эти причины благодаря лишь тому, что этот народ веками, за счет своего благополучия, воспитывал ее и давал ей возможность приобщиться к знанию и культуре, что этот неоплатный долг народу пора, наконец, оплачивать, отдав свои силы на его освобождение; для выполнения этой основной задачи углубляться в науку совсем незачем, что знаний для предстоящего дела у интеллигентской молодежи вполне достаточно, поэтому пусть она бросает университеты и идет в народ для выплаты ему накопившегося веками своего долга.

Одновременно с такими речами нередко раздавались и другие, более решительные и воинственные. Говорилось, что не длитель-

ная словесная пропаганда нужна народу, а призыв к действию, хотя бы к частичным выступлениям и бунтам, которые лучше всякой пропаганды революционизируют народные массы и подготовят их к общему выступлению.

Наконец, были и такие, которые горячо утверждали, что народ наш нечему учить, что скорее у него следует учиться, что он совсем готов для выступления, и поэтому стоит только «зажечь спичку», как всенародный пожар будет готов! «Вспышкопускатели», как иронически окрестил их Клеменц, имели также немало последователей, особенно среди зеленой и нетерпеливой молодежи, горящей искренним желанием поскорее перейти из царства зла и всяческой несправедливости в царство правды и добра.

Были, впрочем, среди собирающихся в народ и такие, которые никакими особенными целями не задавались, а хотели лишь непосредственно ознакомиться с ним, с его настроением и бытом и испробовать свои силы и свою пригодность для службы этому народу в новых, упрощенных и непривычных для них условиях жизни.

В это оживленное и бурное время Петербург был покрыт многочисленными кружками молодежи, об'единяемыми одним общим лозунгом «в народ!», но вкладывавшими в этот лозунг разное содержание. Наиболее же влиятельными из этих кружков были кружки бакунинского направления—Лермонтова, Ковалика, Каблица и др. Умные и энергичные люди эти, особенно же бывший земец и мировой судья Ковалик, вели деятельную агитацию среди молодежи и имели немалый успех у ней. За ними был и авторитет Бакунина, пользовавшегося широкой популярностью среди молодежи, подкупавшего ее своим богатым революционным прошлым, а, может быть, еще больше своей верой в назревшую русскую революцию, которой он заражал и других, в особенности тех, кто был совсем незнаком с действительным настроением народных масс. Неудивительно, что они верили на слово и горели нетерпением пойти к этому народу, чтобы зажечь ту спичку, которой только недоставало для начала общего возмущения.

Готовясь к крестовому походу с разными целями и заданиями, молодежь почти единодушно сходилась в одном: в народ надо итти не в образе интеллигента, которого, как барина, народ слушать не будет и отнесется к нему недоверчиво или даже враждебно; необходимо, поэтому, всякому, направляющемуся туда, отрешиться от культурных привычек и культурного облика и предстать перед народом в образе простого человека, всего лучше знающего какое-нибудь ремесло, полезное и нужное для народа. В этих видах, как я говорил выше, в разных пунктах города устраивались различные мастерские, где молодежь усердно изучала то или другое ремесло, смотря по личной склонности или степени целесообразности для намеченной цели того или другого из них.

В эту зиму молодой Петербург кипел в буквальном смысле слова и жил интенсивною жизнью, подогреваемый великими ожиданиями. Всех охватила нетерпеливая жажда отрешиться от старого мира и раствориться в народной стихии, во имя ее освобождения. Люди безгранично верили в свою великую миссию, и оспаривать эту веру было бесполезно. Это был в своем роде чисто религиозный экстаз, где рассудку и трезвой мысли уже не было места. И это общее возбуждение непрерывно нарастало вплоть до весны 1874 г., когда почти из всех городов и весей начался настоящий, поистине крестовый поход в российскую деревню, где вскоре же суровая русская действительность предстала перед нашими крестоносцами во всей своей беспощадности и быстро понизила высокую температуру, приводя многих и многих из них в тюремные застенки и к разочарованию даже в самом народе! И это был совершенно естественный финал, как результат непомерно иллюзорных представлений о народных массах, совершенно не подготовленных к восприятию тех идей, с которыми шли к ним, а также и неопытности самих пропагандистов, в большинстве не знавших этого народа и не умевших подойти к нему.

Как же относились чайковцы к этому идейному увлечению, охватившему молодежь в зиму 1873 года?

Они, конечно, знали о нем, ощущали его, может быть, даже некоторые из них, наиболее впечатлительные и романтически настроенные, до известной степени и заражались им, но в общем, обладая уже некоторым опытом, они не могли разделять тех преувеличенных представлений о народных массах и их настроении, какие внушались молодежи и так легко и доверчиво воспринимались ею. Чайковцы попрежнему продолжали свою налаженную работу, мало отклоняясь в сторону. Их, конечно, не мог не радовать этот массовый и деятельный уклон в известном направлении, свидетельствовавший о быстром росте революционного настроения, становившегося чисто стихийным явлением. Но, с другой стороны, эта же стихийность и полное несоответствие между заданиями, чаяниями и надеждами и русской действительностью внушали невольные опасения за результаты этого движения. Стихия в общем шла мимо чайковцев, овладеть ею и направить в надлежащее русло они были уже не в состоянии...

X.

Записка Кропоткина (проект программы) и обсуждение ее. Разгром организации чайковцев за Невской заставой. Арест Синегуба, Тихомирова, Стаховского и Борисевича, а с ними и многих рабочих. Пополнение кружка новыми членами. Мой случайный арест. Последующие аресты сестер Корниловых, а затем Сердюкова, Купреянова, Кувшинской, Гауэнштейна, Кропоткина и мн. других, а с ними и разгром Выборгского и Василеостровского рабочих районов. Состав петербургского кружка чайковцев за время его существования.. Несколько заключительных слов.

Приблизительно к началу ноября 1873 г. составление порученной Кропоткину записки о ближайших задачах революционной деятельности и тех практических выводах, к каким кружок пришел после двухлетней работы в рабочей среде, было закончено, и члены кружка были созваны заслушать и обсудить ее. Чтение этой обширной записки, имеющей, несомненно, историческое значение и прекрасно освещающей общее настроение целой эпохи начинающегося в России революционного движения, длилось несколько вечеров, прерываясь оживленными и жаркими прениями. Записка написана с обычным для П. А. талантом и с подробной и исчерпывающей мотивировкой каждого положения, которое автор пожелал отметить, что в значительной степени облегчало и самое обсуждение ее.

Записка Кропоткина подразделялась на две неравные части. Первая, вступительная и много меньшая по своим размерам, говорит об *идеале будущего строя*; здесь автор в общих чертах обосновывает не как платформу для ближайшего времени, а как отдаленный идеал, справедливое устройство общества на началах безгосударственного общежития (анархия), каковой идеал, по мнению автора, и следует иметь в виду, как путеводную нить в практической деятельности всякому революционеру. Сам Кропоткин отчетливо отмечает, что его анархический строй есть лишь отдаленный идеал, когда в самом же начале своей записки говорит, «*что в идеале мы можем выразить наши надежды, стремления, цели, независимо от практических ограничений, независимо от*

степени осуществления, которой мы достигнем, а эта степень осуществления определится чисто внешними причинами».

Еще определеннее эта мысль выражена им, когда он переходит к изложению программы практической деятельности и когда говорит: «мы сказали уже, что, по нашему убеждению, осуществление этого идеала должно свершиться путем социальной революции. При этом мы вовсе не ласкаем себя надеждами, что с первою же революциею идеал осуществится во всей полноте: мы убеждены даже, что для осуществления равенства, какое мы себе рисуем, потребуется еще много лет, много частных, может быть, даже общих взрывов» [1].

Автор записки, как убежденный анархист, приступая к изложению программы практической революционной деятельности, как вывода из проделанной уже в русских условиях работы, не мог, конечно, не коснуться анархического идеала, в основе своей, как говорит Кропоткин, тождественного для социалистов «самых разнообразных оттенков», «если взять их (идеалы) в самой общей форме», так как «различия между их идеалами скорее происходят не от коренных различий в идеале, а оттого, что одни сосредоточивают все свое внимание на таком идеале, который может, по их мнению, осуществиться в ближайшем будущем, другие—на идеале, более отдаленном».

Эта вводная часть записки, трактующая о золотых снах человечества, воплощение которых в жизнь относится в бесконечно далекое будущее, мало занимала нас, и я не помню, чтобы она вызвала какие-нибудь споры или подвергалась какому-нибудь обсуждению. При желании, конечно, эта часть записки могла дать материал для бесконечных, но бесплодных споров, не имеющих никакого практического значения, чем заниматься ни у кого не было никакого желания.

Главное же и самое ценное содержание записки сосредоточивалось, конечно, во второй и наиболее значительной по об'ему части—практической. Здесь автор шаг за шагом, со всею обстоятельностью и подробной мотивировкой по целому ряду самых жизненных вопросов, излагает уже не собственные или книжные измышления, а те выводы по этим вопросам, к которым пришел кружок чайковцев за время своего существования в процессе своей организационной работы в интеллигентской, рабочей и отчасти крестьянской среде. И нужно отдать справедливость автору, что эта часть выполнена им с знанием дела, с возможной об'ективностью и, может быть, лишь в редких случаях с некоторым уклоном в сторону своих личных настроений.

[1] Настоящие выписки, как и последующие, делаю из записки Кропоткина «Должны ли мы заниматься рассмотрением идеала будущего строя?», помещенной в сборнике «Памяти Петра Алексеевича Кропоткина». Петроград—Москва. 1922 г.

Начинаясь с отрицания введения в революционную организацию «подчинения личности, порабощения многих одному или нескольким лицам, неравенства во взаимных отношениях членов одной и той же организации, взаимного обмана и насилия для достижения своих целей», что и было положено в основу организации чайковцев, записка устанавливает далее, как нечто непреложное, «что никакая революция невозможна, если потребность в ней не чувствуется в самом народе», а потому и вызвать ее усилиями горсти людей, «как бы энергичны и талантливы они ни были»,—дело совершенно безнадежное.

Переходя далее к выяснению настроения народных масс—крестьян и рабочих,—автор записки приходит к выводу, что «глухое недовольство существует», что вместе с систематическим разорением этих масс «недовольство растет», «что надежды на то, что тем или иным способом помещиков уравняют в земле, податях и натуральных повинностях с крестьянами, продолжают жить среди народа, что надежда на то, что это уравнение произойдет сверху, мало-по-малу утрачивается, что боготворение царя в некоторых местах заметно подрывается» и т. д. Словом, недовольство как в области экономической, так и государственной всюду, не говоря уже об интеллигентских кругах, систематически прогрессирует, что «приводит к несомненному убеждению, что приступить к организации революционной партии вполне своевременно и что задачи этой партии облегчаются всюду встречаемым ею содействием».

Установив, таким образом, законность и своевременность возникновения революционной партии в России, в записке далее подробно и последовательно, предусматривая могущие быть возражения, развивается в целом ряде мотивированных положений план деятельности такой организации в подготовительный период в области пропаганды устной, фактической, литературный и организационной, направленной по преимуществу на рабочие и крестьянские массы, как основные факторы будущей русской революции.

Я не последую за автором и не буду излагать хотя бы в самых кратких чертах эту самую интересную и содержательную часть записки, что завело бы меня слишком далеко, а отсылаю к самой записке каждого, кто заинтересовался бы господствующим настроением того далекого времени, на самой заре революционного движения, и, в частности, настроением и планами самого кружка чайковцев, выразителем мнений которого эта записка по преимуществу служит. Я скажу только, что, перечитывая внимательно эту часть записки и восстановляя в своей памяти это далекое прошлое, я не нашел ничего, против чего можно было бы возразить, кроме разве некоторых небольших уклонений в ней, что изображение нашего настроения, наших мыслей, планов, чаяний и надежд сделано в общем, и даже в частностях, вполне правильно и

с исчерпывающей полнотой. И будущий историк знаменательной эпохи начала 70-х годов и кружка чайковцев не может, конечно, пройти мимо записки Кропоткина.

Но не считая возможным следовать за автором записки в его дальнейшем изложении, я все же позволю себе остановиться на ее заключительной части, где он говорит о нашем отношении к Интернационалу, к русским заграничным партиям и их органам печати, и сделать из нее некоторые выписки.

«Вести речь о том,—говорит Кропоткин,—примкнуть к Интернационалу или нет, не в принципах, а на деле, мы считаем теперь невозможным. Пока у нас нет сколько-нибудь сильной организации среди крестьянства и рабочих, всякие наши отношения были бы не деловые, а только личные, но о таких отношениях едва ли стоит рассуждать». «Мы можем сказать только, что вследствие громадной разницы строя мышления нашего народа, его склада представлений, его стремлений с этими свойствами западноевропейских рабочих, вследствие розни языка, наконец, вследствие нашей экономической изолированности, мы не думаем, чтобы в сколько-нибудь близком будущем наши отношения могли бы быть сколько-нибудь тесные и живые иначе, как между отдельными личностями»...

«Поэтому мы только ограничимся заявлением, что в принципах» «мы вполне сходимся с отраслью федералистов Интернационала и отрицаем государственные принципы другой». «Что касается до наших русских заграничных партий, то, сходясь в принципах с русскими представителями федералистического отделения Интернационала, мы совершенно отстраняемся от всякого вмешательства в раздоры наших партий, так как они приняли, наконец, личный характер и так как, живя здесь, не можем иметь никакого точного понятия о характере этих раздоров. Относительно их повременных изданий мы должны сказать, что ни одно из них не можем признать органом нашей партии».

И далее: «Мы *намерены здесь развиваться самобытно*, вне всяких руководств заграничных партий, так как полагаем, что никогда эмиграция не может быть точным выразителем потребностей своего народа иначе, как в самых общих чертах, ибо необходимое для сего условие есть пребывание среди русского крестьянства и городских рабочих»...

Эта заключительная часть записки Кропоткина, из которой мы привели довольно пространные выписки, в общем так же совершенно правильно излагает наше отношение к заграничным партиям. Но несомненный суб'ективизм он вносит, когда пишет, «что в принципах мы вполне сходимся с отраслью федералистов Интернационала и отрицаем государственные принципы другой». Такое безоговорочное заявление дает известное право на заключение, что мы не только разделяем федералистический принцип

в международной организации, дающий нам право на самобытное развитие, о котором говорится в той же заключительной части записки, но разделяем и по существу взгляды федералистических отраслей Интернационала. Мы, действительно, были сторонниками федералистического принципа в будущем, доступном нашему представлению строе, а пока проводили его в собственной организации, но это совсем не значит еще, что мы были в то же время и приверженцами свойственного федералистической отрасли Интернационала анархического течения, с которым в то время были очень мало знакомы и уже по одному этому не могли состоять в качестве его адептов. Отчасти, хотя и косвенно, подтверждается это и в самой записке заявлением, что ни одно из повременных заграничных изданий, а стало быть и анархического направления, «не можем признать органом нашей партии».

Как я уже говорил выше, чтение и обсуждение записки заняло несколько вечеров, при чем почти каждый пункт ее подвергался всестороннему рассмотрению. Теперь, более чем через 50 лет, конечно, трудно восстановить то, что говорилось на этих собраниях, какие поправки вносились, какие упущения указывались. Как и всегда, так и на этих собраниях, ни протоколов, ни каких-либо записей из соображений, чисто конспиративных, не велось, а потому не осталось и никаких вещественных следов от этих собраний. Но почти с уверенностью можно сказать, что найденная при обыске у Кропоткина, написанная уже позднее, но, к сожалению, незаконченная «программа революционной пропаганды», служащая дополнением и развитием положений его записки, до некоторой степени восполняет лишь те упущения, которые обнаружились при ее обсуждении.

Немногие положения этой «программы», за исключением разве 1-го пункта, опять-таки не есть измышление самого П. А., а лишь воспроизведение тех мнений и выводов, к каким пришел кружок чайковцев. В ней всего четыре положения: о предварительной теоретической подготовке революционера, прежде чем приступить к практической деятельности пропагандиста, и полного отрешения его от старого мира; о характере самой пропаганды среди неразвитой части крестьянства и рабочих, которую, как значится в программе, надо начинать не с «общественных идей о социализме», не доступных их пониманию и не трогающих их, а с вопросов чисто местного значения, близких и понятных каждому, и, наконец, о непрактичности и вредоносности задевания религиозных верований и личности царя, при чем советуется обрушиваться «всею тяжестью на правительство и господ,—слова, которые на всей Руси каждому известны» и к которым уже издавна установилось вполне определенное отрицательное отношение. «Вредного в таком неупоминании о царе,—пишет Кропоткин,—нет ровно ничего. Слети только правительство и господа, и царь сам...».

Все эти вопросы были обойдены в записке, а последние три, может быть, и преднамеренно, хотя в кружке к этим выводам опытным путем приходили почти все, кому доводилось иметь дело с малосознательной рабочей и крестьянской массой. Кропоткин же, когда писал свою записку, этого опыта еще не имел, ему не приходилось сталкиваться с массовым фабричным людом, а потому возможно, что он вполне сознательно обходил эти вопросы, не желая их трактовать в таком компромиссном виде, с явным отступлением от теоретической прямолинейности. Но в самое последнее время, месяца за четыре, за пять до своего ареста, ему пришлось столкнуться с фабричными рабочими Выборгской стороны, где он вместе с другими посещал их общежития, населенные малосознательными людьми, и где мог самолично убедиться в правильности тех выводов, к каким уже пришли ранее другие. И в своей программе он уже с искренним убеждением трактует эти вопросы в компромиссном духе, ссылаясь на свой собственный опыт, а в вопросе о приступе к пропаганде — с вопросов местного значения, а не общих—и на заграничный опыт.

Говоря о записке Кропоткина и его программе революционной пропаганды, имеющих целью отобразить с возможной полнотой взгляды и настроения кружка, к которому он сам принадлежал, нельзя не остановиться еще на одном вопросе, который трактуется Кропоткиным несколько односторонне, что при обсуждении записки не могло не быть отмеченным.

Исходя из того основного положения, что главная работа всякой революционной организации должна сосредоточиваться в крестьянских и рабочих массах, а отнюдь не в интеллигентских кругах, как представляющих сравнительно малоценный материал, Кропоткин несколько перегибает палку и, как мне кажется, не совсем верно воспроизводит на этот вопрос точку зрения кружка. По Кропоткину выходит, что всякий убежденный революционер, если его убеждение покоится на прочных, а не на легковесных основаниях, должен, когда он почувствует себя достаточно теоретически подготовленным, «разорвать свой дворянский паспорт окончательно, навсегда, сделаться крестьянином, мастеровым, фабричным и—пропагандировать». В такой категорической форме вопрос этот никогда не трактовался в кружке. Здесь все отлично понимали, что, несмотря на искреннюю убежденность, не всякий по многоразличным причинам на такую работу и отрешение от всех культурных привычек может быть способен, а потому и толкать такого человека в несвойственную ему область было бы бесплодной затратой сил и в своем роде насилием. Кроме того, так же отчетливо сознавалось, что для той же основной работы требуется еще целый ряд настоятельно нужных вспомогательных работ, которые тесно связаны с городом и с сохранением облика интеллигентного человека, на что также необходимо выделение

соответствующих сил из всякой революционной организации. Дела организационного характера, литературные, по пополнению кадра интеллигентных работников и, наконец, денежные и некоторые другие,—все это дела чрезвычайно важные и нужные, без которых ни одна мало-мальски серьезная организация не может обойтись, а, стало быть, не может и не выделять для выполнения их необходимых и, может быть, и весьма ценных сил.

Вот те раз'яснения и небольшие поправки к записке Кропоткина, которые, мне кажется, необходимо было сделать, чтобы лик кружка, отображаемый этим историческим документом, получил более правильное и соответствующее действительности освещение.

Но если в деловой части записки Кропоткин добросовестно старался изобразить взгляды кружка и его настроение, далеко еще не воинственное, то в прениях иногда все же прорывалось его анархически-боевое настроение.

Я помню, как во время обсуждения его записки П. А. предлагал и горячо защищал идею организации боевых крестьянских дружин для открытых вооруженных выступлений, чтобы они своей кровью лучше запечатлели в уме и сердце народа эти проявления народного протеста и таким путем постепенно революционизировали массы. Но предложение это, как несвоевременное, не встретило ни поддержки, ни сочувствия. Позднее, в начале 1874 г., когда уже начался разгром чайковцев и их рабочих организаций, Кропоткин, остававшийся еще на свободе, снова возвращался к этому вопросу и сетовал на то, что в свое время его не послушали, а теперь лучшие силы кружка погибают бесплодно, когда они могли бы погибнуть более ярко, оставив после себя несомненный след в истории революционного движения.

Была ли эта записка-программа революционной деятельности по обсуждении ее принята кружком?

В своих воспоминаниях Шишко говорит, что она была принята и переписывалась для рассылки ее по отделениям. Но я не могу согласиться с этим и думаю, что Шишко, утверждая это, ошибается уже по одному тому, что одним петербургским кружком, без участия филиальных отделений, она и не могла быть принята. Запрошенная мною по этому поводу Александра Ивановна Мороз (б. Корнилова) держится того же мнения. В ответ на запрос она писала: «Я не считала ее (записку) принятой. По воспоминанию В. Н. (Фигнер), я говорила ей, до опубликования программы в настоящее время, что она была только прочитана, но не голосована. Это обстоятельство подтверждается тем, что проект программы найден в единственном экземпляре и не носит следов никаких дополнений и поправок».

Но эти дополнения и поправки, если не считать «программы революционной пропаганды», так и не удалось сделать П. А—чу.

Начавшиеся вскоре после обсуждения ее аресты, усилившаяся личная загруженность самого Кропоткина по текущей работе и общее, все возрастающее возбуждение в революционных кругах, несомненно, помешали этому, благодаря чему записка, предназначавшаяся для опубликования, осталась недоделанной и окончательно непринятой кружком.

Конец 1873 г. был началом разгрома чайковцев и их рабочих организаций. В ночь с 10 на 11 ноября целый отряд жандармских и полицейских чинов нагрянул на квартиру Синегуба за Невской заставой и после произведенного обыска арестовал Стаховского, Борисевича, сотрудников Синегуба по работе за Невской заставой, а также Тихомирова, работавшего с ним же, но в самое последнее время вынужденного скрываться из-за оговоров по прежней его жизни в Москве и случайно ночевавшего в эту ночь у Синегуба. Сам же Синегуб почему-то пока арестован не был, а лишь обязан подпиской на следующий же день явиться в III отделение, хотя в корзине для бросовых бумаг и были найдены кое-какие компрометирующие его документы. Синегуб уже ждал этого обыска, будучи дней за 10 предупрежден о нем жандармским наездом на квартиру его брата, жившего в Петербурге и ошибочно принятого за Сергея Синегуба. Благодаря этой случайности, Синегуб тщательно очистил свою квартиру от всего нелегального, но корзина, как он думал, с оберточной бумагой, которую он не осмотрел, его подвела. Явившегося на другой день в III отделение Синегуба, конечно, арестовали тоже. В ту же ночь были произведены обыски и у многих синегубовских рабочих, а также и их аресты. Несколько позднее была арестована и жена Синегуба, Лариса Васильевна, скоро затем освобожденная.

Таким образом, один из самых деятельных и живых рабочих районов Петербурга погиб вместе с его работниками, а организация чайковцев понесла значительный и весьма чувствительный урон, лишившись нескольких деятельных и ценных своих членов. Правда, некоторое время спустя многие из арестованных, не оговоренные или слабо оговоренные рабочими, были освобождены из заключения; предназначался к освобождению и Тихомиров, о чем уже состоялось постановление прокурора судебной палаты, но незакончившееся еще следствие по московским оговорам воспрепятствовало этому. В конечном итоге по делу о пропаганде за Невской заставой остались в заключении лишь Синегуб, Стаховский и Тихомиров, дело которых было выделено в особую группу и назначалось к разбору в мае или июне 1874 г. Но последующие многочисленные аресты, быстро следовавшие одни за другими и устанавливавшие некоторую взаимную связь, если не фактическую, то идейную, помешали этому скорому процессу, и дело Синегуба и К° само собой влилось в общее дело о революционной пропаганде в 37 губерниях («процесс 193-х»), рас-

смотрения которого пришлось ожидать в одиночном заключении целых 4 года!

Этот погром за Невской заставой, как бы он ни был чувствителен, не ослабил энергии оставшихся на свободе. Дело с рабочими продолжалось во всех других районах, но, кажется, особенно интенсивно оно в это время велось на Выборгской стороне. Здесь кроме меня, Шишко и Кувшинской, постоянных работников этого района, находом стали принимать участие Кропоткин, Клеменц, Купреянов, Гауэнштейн, Левашев и некоторые другие, почти ежедневно вечерами посещавшие то или другое рабочее общежитие или особо содержимую квартиру. Обычно, идя на занятия, они предварительно по пути заходили в квартиру Кувшинской, жившей на Выборгской стороне, и здесь оставляли свою верхнюю городскую одежду и одевались в полушубки, хранившиеся у нее, а затем уже в преображенном виде шли дальше. Перед лицом обитателей рабочего общежития Кропоткин фигурировал в качестве Бородина, А. Д. Кувшинская—под именем Марьи Андреевны. В этих рабочих артелях велась по преимуществу массовая пропаганда и, конечно, без всякого отбора слушателей, что и побуждало к соблюдению некоторых конспиративных приемов в роде перемены фамилий и переодевания. Дело здесь приходилось иметь с малокультурными фабричными рабочими, с которыми Кропоткин вплотную столкнулся впервые, и здесь же он опытным путем, несомненно, и пришел к убеждению, что при массовой пропаганде в малосознательной среде не следует распоясываться, задевать царя и религию, а самую пропаганду следует конкретизировать на близких и доступных пониманию слушателей житейских вопросах.

Рядом с этой массовой пропагандой продолжалась параллельно работа и с выделенными рабочими, составлявшими особый кружок. При этом кружке для надобностей его было положено начало особой кассе, в фонд которой на первое время было отпущено кружком чайковцев 500 р.

Что касается до планов создания об'единенной организации с представителями от всех выделенных рабочих кружков, вопрос о чем уже стоял на очереди, то с этим делом, в виду арестов за Невской заставой, пришлось приостановиться и выждать, чем в конце-концов они завершатся. При наличии некоторой связи рабочих из-за Невской заставы с рабочими других районов, можно было ожидать, что разгром, начатый в одном пункте, распространится и на другие, а потому и момент для об'единения был признан неподходящим и несвоевременным. И, действительно, опасения эти, правда, не скоро, а месяца через 4, оправдались, когда в марте 1874 г. начался разгром Выборгского района, Василеостровского и некоторых других, когда были арестованы Кропоткин, Купреянов, Сердюков, Кувшинская, Гауэнштейн и многие другие, в том

числе и рабочие разных районов. Еще ранее, а именно в декабре 1873 г., был арестован в Торжке Леонид Попов, а 5 января 1874 г.— Александра Ивановна Корнилова и Перовская, пришедшая помочь Корниловой в составлении шифрованного письма Купреянову, выехавшему за границу.

Однако, большинство этих арестов было еще впереди, и чайковцы не слагали оружия и жили пока во-всю, заботясь и о будущем, и о пополнении своего несколько ущемленного состава. С этою целью в этот последний период жизни кружка, в целях его пополнения, были введены в него несколько новых лиц, уже давно близко стоявших к кружку, а именно: Н. И. Драго, Зубок-Мокиевский, В. Л. Перовский, брат Софьи Львовны Перовской, и Эндауров, а мне было поручено по этому же поводу вести переговоры с нечаевцем, Владимиром Ивановичем Ковалевским (впоследствии товарищ министра финансов).

Ковалевский жил в Петербурге, был дружен со многими близкими к чайковцам лицами и пользовался прекрасной репутацией. Лично Ковалевского я не знал, а потому было условлено, что вечером 4 января 1874 г. я встречусь в квартире Кувшинской с Л. Шапиро, приятелем Ковалевского и в то же время близким к кружку чайковцев, чуть ли не на другой же день уезжающим куда-то на Волгу в качестве врача (он только-что окончил курс Медицинской академии). Шапиро должен был дать мне все необходимые сведения о Ковалевском для предстоящих переговоров и снабдить рекомендательной запиской.

В назначенное время свидание состоялось, и мы пробеседовали до поздней ночи. Перед уходом он написал коротенькую рекомендательную записку за полной своею подписью, где значилось: «Податель сего, Чарушин, общий друг мой, Иоганна (Гауэнштейна.—*Н. Ч.*) и Чайковского».

Время было позднее, около часа ночи, пора было и мне отправляться на ночлег. Ближайшей квартирой, где я мог переночевать, была квартира студента-медика Богомолова, симпатичного и серьезного юноши. Квартира эта находилась на Петербургской стороне, на берегу Большой Невки, где, между прочим, помещалась слесарная мастерская для лиц, собирающихся в народ. Но прежде, чем распрощаться с Кувшинской и двинуться в место моего ночлега, я из предосторожности вырезал фамилию Шапиро из его записки, оставив лишь его инициалы. То же сделал и с бывшими при мне, только-что полученными письмами рабочих из Тверской губернии, куда они отправились с целями пропаганды. В одном из этих писем, кажется Абакумова, сообщалось, что «*нас восемь человек нераздельных, которые имеют понятие*», при чем неосторожно указывались и фамилии. Фамилии эти были мною вырезаны.

Кроме этих документов, при мне имелись кое-какие брошюры заграничного издания и «Государственность и анархия» Бакунина,

которую я незадолго перед этим достал и не успел еще прочесть, рассчитывая это сделать у Богомолова.

Ночь была ясная и морозная, а улицы совершенно безлюдные. Подходя к квартире Богомолова, я увидел в ней полное освещение и обрадовался: значит, еще не спят! Калитка была приотворена, ни на дворе, ни на улице ни души, кроме дворника, огребавшего снег с уличных тротуаров и мельком посмотревшего на меня. Ничего не подозревая, я прошел через пустынный двор, поднялся во 2-й этах и, отворив незапертую дверь, тотчас очутился в об'ятиях дюжего жандарма, караулившего входную дверь, и понял, но уже слишком поздно, что я так глупо попался в западню. Само собой, что и остальные жандармы, которых было немало, набросились на меня, раздели и извлекли все содержимое из моих карманов, в том числе и паспорт купеческого сына П. А. Шуравина, студента Медицинской академии, именем которого я и назвался [1].

Оставленный на некоторое время в покое, я стал соображать, не причинят ли найденные у меня вещественные улики кому-нибудь серьезной неприятности? За письма рабочих я был совершенно спокоен, так как ни авторов их, ни фамилий лиц, упоминаемых в письмах, в них уже не было. Беспокоила меня несколько записка Шапиро. Я опасался, что по инициалам подписи доберутся и до ее автора. Хотя содержание записки и было невинное, но жандармы, несомненно, усмотрят в ней некий таинственный смысл и будут добираться до автора. Но когда один из жандармских чинов, добравшись, наконец, до этой записки, неожиданно для меня уверенным тоном воскликнул: «А, Леонид Шишко! зна-

[1] Л. Э. Шишко в своей статье «Сергей Михайлович Кравчинский и кружок чайковцев» (т. IV, стр. 158) говорит, что мой арест, а затем и арест Купреянова и Кропоткина, был устроен «при помощи двух рабочих-шпионов, уже действовавших в этом смысле в Москве, при выслеживании долгушинского кружка». «Они,—пишет Шишко,—очень ловко устроили арест Чарушина, нисколько не скомпрометировав этим себя, так что после Чарушина с ними без малейшего колебания стал продолжать те же сношения Купреянов», а после его ареста и Кропоткин, «при чем один из шпионов участвовал вместе с сыщиком в задержании его (Кропоткина.—*Н. Ч.*) на Невском проспекте». Несомненно, Шишко ошибается, об'ясняя мой арест участием в нем рабочих-шпионов. Свой арест я устроил себе сам, без участия каких-либо третьих лиц. Кроме Кувшинской и Шапиро, с которыми я расстался уже ночью, никто не мог знать, где я буду ночевать эту ночь, не знал этого и я сам, пока не пришла пора уходить. Поэтому невозможно допускать и мысли, что кто-то устроил мне западню, тем более, что жандармы уже были в квартире Богомолова, когда я пришел туда, а не приехали после моего прихода. Думаю также, что последующие аресты Купреянова, Кропоткина и Кувшинской в марте были произведены при непосредственном участии наших же рабочих, не устоявших перед угрозами жандармов и купивших свою безнаказанность ценою выдачи и предательства. Рабочие-шпионы тут не при чем. Если бы таковые были на самом деле, то им ничего не стоило бы устроить наши аресты много раньше и без особенных хлопот.

чит, он здесь!», я успокоился и не стал разуверять его, что это совсем не он, так как повредить Шишко, находящемуся уже на нелегальном положении и пребывающему в данное время в Москве, записка эта никоим образом не могла. К тому же ему и легко было доказать, что автор записки не он, для чего стоило только сравнить характерный крупный почерк записки с ничего общего не имеющим почерком самого Шишко. Нелегальные же книги и брошюры, и притом все в одном экземпляре, мало беспокоили меня. Тут была лишь моя личная ответственность да и ответственность небольшая.

Но паспорт Шуравина? Это было уже много хуже. Конечно, я укажу, что захватил его совершенно случайно, без согласия Шуравина, и не укажу его адреса. Но все равно они найдут его и без меня, справившись лишь в адресном столе, и сделают обыск. А что он даст? Может быть, найдут нелегальщину, за которой неизбежно последует и арест? Мысль эта беспокоила меня, и я уже ругал себя, что не назвался своей собственной фамилией, но в то же время и не решался этого сделать, надеясь, что мне удастся как-нибудь проманежить жандармов, и обыска в эту ночь они у Шуравина не успеют сделать. На другой же день, узнав о моем аресте, приберутся, и тогда обыск будет не страшен.

По составлении протокола нас за неимением извозчиков повели, а не повезли, в разные стороны: Богомолова—прямо в III отделение, а меня—на квартиру Шуравина, указанную мною в первой же пришедшей мне на ум улице, а затем по другому адресу. По третьему адресу меня уже не повели, очевидно поняв, что я их преднамеренно обманываю. Отсюда меня повели уже прямо к Цепному мосту, где на углу находилось и знаменитое III отделение, по приводе куда, не делая мне допроса, меня заперли в отдельную камеру.

Итак, я был арестован. Досада разбирала меня, что я попался так глупо и не обратил внимания на некоторые мелочи, которые должны бы были породить сомнения в благополучии квартиры Богомолова. Но сделанного уже не воротишь. Мне оставалось только утешить себя тем, что арест будет кратковременный, что самое большее я буду выслан куда-нибудь на север, откуда я сбегу. Тогда я еще не думал, что это уже начало конца, что я буду запечатан основательно и что вчерашний день был моим последним днем свободы и реальной связи с живым делом, которое меня захватило, и с товарищами по работе, к которым я искренно привязался и полюбил.

Заканчивая свое отрывочное повествование о кружке чайковцев и людях, входивших в него, я позволю себе для полноты картины сказать о движении в составе кружка и несколько заключительных слов.

Первоначальный состав петербургского кружка чайковцев, как он определился во 2-й половине 1871 г., состоял, о чем я уже го-

ворил выше, из 17 человек. В 1872 г. в его состав вошли вновь: Сергей Михайлович Кравчинский, Петр Алексеевич Кропоткин, Сергей Силыч Синегуб, Анна Дмитриевна Кувшинская, Варвара Александровна Батюшкова. В 1873 г.—Леонид Эммануилович Шишко, Лев Александрович Тихомиров (переехал из Москвы), Лариса Васильевна Синегуб (б. Чемоданова, жена Синегуба), Ив. Гауэнштейн, Н. И. Драго, Зубок-Мокиевский, и, наконец, в самом начале 1874 г.—Василий Львович Перовский (брат Софьи Львовны) и Эндауров.

Таким образом, за трехлетнее существование петербургского кружка чайковцев число членов его определилось в общей сложности в 30 человек, но на этом уровне оно никогда не держалось. Так, уже в конце 1871 г. из 17 человек состава кружка Натансона арестовывают, а затем высылают в Архангельскую губернию, Н. К. Лопатин перебирается в Киев. В начале 1872 г. Волховский перебирается в Одессу, а О. А. Шлейснер следует за мужем (Натансоном) в ссылку. Приблизительно во второй половине этого же года из кружка выходит Лермонтов. В конце 1873 г. и начале 1874 г. начинается разгром петербургского кружка чайковцев, а затем и его отделений, закончившийся летом этого последнего года. Из петербургского кружка остаются неарестованными лишь Клеменц, Кравчинский, Сердюков и Чайковский, а затем освобожденные из заключения Перовская и Л. И. Корнилова (Сердюкова), да вновь введенные Драго, Зубок-Мокиевский, Перовский и Эндауров.

Около небольшого по составу кружка всегда был целый ряд лиц и отдельных кружков молодежи, не входивших по тем или иным причинам в его состав, но тесно связанных с ним и помогавших ему.

Кружок чайковцев никогда не стремился без особой нужды численно увеличивать свой состав, на что имелась полная возможность. Не количество, а качество ему было нужно и полная уверенность в том, что каждый вновь входящий в его состав не внесет никакого диссонанса в его тесно сплоченную семью с высокими требованиями к духовно-моральной стороне каждого из его членов. Великое дело освобождения, в особенности же, когда приходилось закладывать лишь первые камни в его фундамент, должно делаться, по твердо установившемуся мнению кружка, лишь безусловно чистыми руками, свободными от каких-либо признаков грязи. Веря во все побеждающую идею, в то же время требовали, чтобы и люди, исповедующие ее, не давали никакого повода врагам этой идеи бросать в них грязью и тем порочить не только лиц, но и самую идею, представителями которой они являются. Это обеспечивало сочувствие широких кругов не только к людям, но и к самому делу, которое они вели, а сочувствие, в свою очередь, порождало уверенность, что начатое дело не оста-

нется без продолжателей, когда их деятельности будет положен конец. И можно сказать с уверенностью, что члены кружка никогда не позволили бы себе ввести в его состав или вступить в тесный контакт с людьми, хотя бы и с большой революционной дееспособностью, но по своим личным качествам не удовлетворяющими моральным требованиям, что, к сожалению, уже нередко имело место при расширяющемся движении.

Вызванный к жизни идеями 60-х годов, в связи с бедственным и бесправным положением масс и безнадежно реакционной политикой правительства, убившей в русском обществе всякую веру в разрешение легальным путем основных вопросов русской жизни, кружок чайковцев первоначально базируется в своей полулегальной деятельности на интеллигентских кругах и в частности на лучшей части учащейся молодежи.

Путем широкого распространения известного содержания книг, деятельное участие в издательстве которых принимает и сам, и путем образования кружков саморазвития, кружок идейно подготовляет молодежь и организует ее для той же цели, чтобы в более или менее ближайшем будущем направить подготовленные кадры революционных деятелей на работу в народные массы.

Мечтая о широком вовлечении интеллигентских кругов в свои планы, кружок с самого же возникновения своего принимает меры к созданию заграничного руководящего органа печати, могущего беспрепятственно освещать вопросы русской жизни и быть об'единяющим центром в вопросах теории и практики русского революционного дела. Но мысль о таком органе печати, никогда не сходившая с очереди, могла осуществиться лишь во второй половине 1873 г., но и то не совсем в желательном для кружка виде.

Будучи по основным своим воззрениям социалистами-народниками, члены кружка далеко не были равнодушны и к вопросам политики. С одной стороны, лассалевская проповедь, которая многих из нас очаровывала, а с другой—тягостный полицейский режим, не позволявший русскому человеку не только свободно двигаться, но и дышать, невольно заставляли ценить благо политической свободы. И некоторые члены кружка, в поисках базы для конституционных замыслов, знакомятся с земской литературой и заводят связи с представителями земского элемента, но скоро разочаровываются в нем. Еще весной 1872 г. Клеменц рекомендует Кропоткину членов своего кружка, как конституционалистов, а сам Кропоткин, уже анархически настроенный, предлагает использовать его связи в придворных кругах для конституционного переворота.

Но все эти конституционные искания, свидетельствующие лишь о жажде улучшения политических условий страны, важных для развития жизни, как построенные на песке, ни к чему не приводят и скоро оставляются совсем. Уже с конца 1871 г. отдельные члены кружка, а вскоре затем и большинство их, переносят свою деятель-

ность, главным образом, в рабочую среду, чтобы затем перенести ее и в крестьянскую, где и надеются найти более прочную базу, но уже и для более полного освобождения, а именно: социально-политического. К такому же выводу пришло и собрание у профессора Таганцева еще в декабре 1871 г., где было отчетливо установлено при непосредственном содействии чайковцев, что в русских условиях некому бороться за конституционные свободы, кроме интеллигенции, но последняя сама по себе бессильна и лишь в тесном союзе с народными массами и при расширенной программе, близкой и понятной этим массам, может рассчитывать на победоносный исход борьбы за освобождение.

Встав на эту точку зрения, кружок чайковцев уже не сходил с нее до конца своих дней, усердно развивая и углубляя свою деятельность в рабоче-крестьянской среде, склоняя к тому же не только свои отделения, но влияя в этом же направлении на широкие круги молодежи, которую он заражает своим увлечением.

Не без промахов и ошибок выполняется эта новая, завлекающая, но и особенно трудная в наших русских условиях, чисто кротовая работа. Невелики были и ее результаты, если смерить их на современный аршин. Но работой этой пробивалась брешь в неведомую до сих пор область, вырабатывались необходимые навыки, выяснялись способы лучшего доступа к уму и сердцу народа, создавалось необходимое настроение и формировались первые кадры, правда, немногочисленные, революционных деятелей из среды самого народа, что само по себе было уже большим плюсом.

Двухлетний опыт в рабоче-крестьянской среде и те выводы, к каким в результате ее пришел кружок чайковцев, с достаточною полнотою зафиксированы в практической части записки Кропоткина. Но, к сожалению, короткий век кружка не дал ему возможности продолжить этот свой опыт и завершить выработку с большею полнотою и законченностью плана работы и задач на ближайшее будущее.

«Кружок чайковцев,—как я его понимал и о чем уже писал в своей автобиографии для энциклопедического словаря Гранат,—несмотря на видимые результаты своей деятельности в рабочей среде, никогда не предавался иллюзиям о близкой революции. Тот же опыт, который уже имелся у него, предостерегал его от увлечений и убеждал в том, что начатое им дело потребует длительной подготовительной работы многих поколений революционных деятелей.

«Мы не были ни лавристами, ни бакунистами в буквальном смысле этого слова и не считали возможным европейский революционный опыт целиком переносить на русскую почву, полагая, что совершенно своеобразные условия русской действительности обязывают и к изысканию в соответствии с этими последними самостоятельных путей для разрешения русской проблемы.

«Занятые, главным образом, разрешением этой основной задачи, мы придавали мало значения программным вопросам, что помогало дружно итти вместе и людям, расходящимся в теоретических вопросах.

«Мы отнюдь не были настроены против науки, но предупреждали лишь против увлечения ею в ущерб развитию общественных инстинктов.

«Тот же опыт наглядно научил нас ценить и политическую свободу, отсутствие которой ежедневно ставило нам непреоборимые препоны в нашей практической деятельности».

Но разработкой этих политических вопросов, добавлю я, не занимались, как не имеющих для данного времени никакого практического значения, за неимением надлежащей базы для их решения, на подготовке которой сосредоточивалось все наше внимание. Поэтому нас мало занимал и вопрос о будущем строе, установление которого, когда наступит для этого время, предоставлялось будущему всенародному земскому собору или учредительному собранию, долженствовавшим выразить народную волю по этому основному вопросу.

«По всем этим соображениям, писал я дальше, начавшееся со второй половины 1873 г. и продолжавшееся уже на деле в 1874 г. массовое стремление, а затем и движение нашей молодежи в народ, окрыляемое верой, под влиянием проповеди Бакунина в немедленную общенародную революцию, не могло встретить положительного отношения в среде чайковцев, уже обладавших некоторым знакомством с народной средой и ее настроением».

Это стихийное движение, имеющее все признаки религиозного, недоступное ни критике, ни доводам разума, захватило всех, захватило оно и многих из чайковцев, как столичных, так и провинциальных, оставшихся еще в живых. Тут уже трудно было разобрать, с какими лозунгами и заданиями и под каким знаменем каждый из них шел в эту «обетованную землю»; внешне, казалось, все были об'единены в единое и однородное целое, но фактически оказывались разношерстными как по целям, так и по приемам воздействия на народные массы.

Кружок чайковцев с его отделениями к осени 1874 г. фактически перестал существовать. Разгром его, начатый еще немного раньше, закончился вместе с разгромом похода в народ, в котором и многие из уцелевших чайковцев также приняли участие. Те же единицы, что остались и после этого погрома, потрясенные предыдущими тяжелыми переживаниями, обессиленные и обескураженные, уже не представляли собою на первых порах какого-либо организованного целого и в силу необходимости должны были, прежде всего, заняться переоценкой ценностей. Почти целых пять лет длилась эта переоценка, за это время изжито было землевольчество, пока, наконец, политический вопрос в 1879 г. не вырос в перво-

очередную задачу, а вместе с тем и не началась героическая борьба народовольцев с самодержавием. И бывшим чайковцам как уцелевшим, так и освобожденным после «процесса 193-х», в лице Кравчинского, Желябова, Перовской, Тихомирова, Н. Морозова, Фроленко, Франжоли и некоторых других, принадлежит одна из видных ролей в постановке этого вопроса во всем его об`еме и проведении его в жизнь. Возможно, что в этом новом и решительном уклоне в сторону политики снова палка была перегнута слишком сильно в обратную сторону, что, в свою очередь, не могло не сказаться и на исходе борьбы. Видная же роль бывших чайковцев в постановке политического вопроса не свидетельствует ли также, что эти вопросы не чужды были им и раньше, но лишь заслонялись обширностью задачи по подготовке народных масс к участию в освободительной борьбе?».

О кружке чайковцев уже многие писали и давали нередко яркие характеристики его облика. Это освобождает меня от необходимости повторяться, почему я и ограничусь лишь выпиской двух таких отзывов—В. Богучарского и П. А. Кропоткина.

«Не в силу только резкого перехода от «нечаевщины» к «чайковцам»,—пишет первый в своей книге «Активное народничество 70-х годов»,—испытываешь ощущение, будто из душного подземелья попадаешь сразу на залитый солнцем, благоухающий луг, а по той причине, что «кружок чайковцев» и сам по себе представляет, несомненно, одно из самых светлых явлений даже и среди других кружков того русского юношества семидесятых годов, которое дало так много примеров настоящего морального подвижничества» [1].

«Никогда впоследствии,—пишет второй,—не встречал я такой группы идеально чистых и нравственно выдающихся людей, как те человек двадцать, которых я встретил на первых заседаниях кружка чайковцев. До сих пор я горжусь тем, что был принят в такую семью» [2].

Этими краткими отзывами о кружке чайковцев я и заключу свое повествование о нем, к сожалению, далеко не полное и не исчерпывающее всего содержания его жизни, все же довольно продолжительной по сравнению с другими аналогичными организациями.

С ним и с лицами, входившими в его состав, и у меня связаны самые лучшие и светлые воспоминания моей жизни, никогда не умиравшие во мне, где бы и в каких бы условиях я ни находился, и помогавшие мне бодро переносить испытания, посылаемые судьбой. Как и Кропоткин, как, несомненно, и все, входившие в состав кружка, считаю и для себя большою честью, «что был принят в такую семью».

[1] Стр. 152.
[2] П. А. Кропоткин. «Записки революционера», стр. 290.

XI.

ПО ТЮРЬМАМ.

Кратковременное пребывание в III отделении и полицейской части. В Литовском замке без книг и передач с воли. Новый допрос в связи с разгромом Выборгского района и измена части рабочих. Отказ от показаний. Каторга обеспечена. Тяжелые переживания. Перевод на второй год заключения в крепость. Условия жизни в ней. Моя болезнь и настроение. Временный перевод в Дом предварительного заключения. Условия жизни в нем. Неудачная попытка к побегу совместно с Коваликом и Войнаральским. Обратный перевод в крепость. Обвинительный акт. Первое свидание с братом. Боголюбовско-Треповская история.

Камера III отделения, куда я был заперт, была большая, высокая, светлая и чистая, где не без удовольствия можно было бы жить, если бы она была вольной квартирой, а не камерой для заключенного. Не менее чистые постельные принадлежности, отличный стол и даже пачка папирос при вежливом обращении прислуживающих и надзирающих жандармов дополняли эту внешнюю обстановку начала моей подневольной жизни. Все, казалось, располагало к покою и благодушному настроению, в особенности после тревожной кочевой жизни на воле, которую мне приходилось вести последние месяцы. Но сознание, что ты арестант, отрезанный от живого мира и своих друзей, что это внешнее благополучие, может быть, даже преднамеренное, портило впечатление от этой внешней обстановки и лишало ее всякой цены.

За поздним временем по приводе меня в III отделение допроса мне сделано не было, и состоялся он лишь на следующий день. Мне было совершенно неизвестно, какие данные имелись у III отделения о моей *преступной* деятельности, почему, за неимением материала, я за ночь мог обдумать ответы лишь на те вопросы, которые естественно вытекали из обстоятельств моего ареста.

В большой комнате, куда меня привели, за большим столом сидело уже несколько человек во главе с Кононовым. После того, когда по предложению я уселся за тем же столом, за которым сидели и жандармы, но у противоположного конца его, начался

допрос, веденный все время в крайне вежливой форме. Допрос все вертелся на паспорте Шуравина и на тех книгах и письмах, которые были отобраны у меня. О паспорте я сказал, что захватил его случайно и воспользовался им при аресте, а удовлетворить любопытство жандармов относительно того, от кого получены мною книги и письма, отказался. На этом допрос и окончился. Для меня было очевидно, что других данных против меня в III отделении пока не было, а потому я укрепился в мысли, что дело окончится пустяками, самое большее—высылкой.

Больше меня уже не беспокоили и предоставили самому судить, с точки зрения моих интересов, о правильности моего поведения на допросе. Изменить же свои показания я, разумеется, не думал, но меня все время беспокоила судьба Шуравина, которого я, не желая того, впутал в дело. Что с ним? Был ли у него обыск и не нашли ли у него на квартире чего-нибудь компрометирующего? Допрос на этот счет не дал мне никаких указаний, и я только много позднее узнал, что в ту же ночь у него на квартире, в которой жили и другие вятичи, студенты Медицинской академии, был произведен обыск, но безрезультатный, и никто из живущих в ней не пострадал. Узнал я также, что благополучие это получилось лишь благодаря чистой случайности: в квартире, как вполне благонадежной, находился значительный склад нелегальщины, размещенной во внутренней части турецкого дивана, вскрыть который жандармы не догадались.

Мое пребывание в III отделении было кратковременно—всего 3—4 дня, но и за этот краткий период времени уже можно было установить, что жизнь там шла усиленным темпом. Постоянно, особенно по ночам, кого-то проводили, раздавалось звякание шпор многих людей и щелкание дверных замков. Я знал, что среди жандармов имеется свой человек, через посредство которого можно было бы узнать о вновь приводимых арестованных и снестись с волей, но я не знал его фамилии и не пытался выяснить это, ибо не было в этом необходимости. Сношения с волей все равно при настоящих обстоятельствах помочь делу не могли бы, а сноситься без крайней необходимости, лишь ради удовлетворения, хотя бы и вполне законного, любопытства, я считал непозволительным для себя.

Не успел я еще как следует осмотреться и ориентироваться в моей новой обстановке, как меня уже перевели в какую-то полицейскую часть, должно быть, в Спасскую, где и поместили в большую одиночную камеру. Перевод в часть, а не в крепость или в Дом предварительного заключения я об'яснял себе назначением меня к скорой высылке. Здесь я все ждал, что кто-нибудь явится ко мне на свидание или даст о себе знать доставкой провизии, книг или денег. Но, к моему удивлению, ни того, ни другого не было, что меня немало начинало беспокоить. Уж все ли благополучно

на воле, не арестованы ли и все мои друзья? Обреченный на безделье и лишенный всякой возможности занять себя чтением за неимением книг, я носился по своей камере, предаваясь мрачным предположениям.

Но и пребывание мое в части было так же непродолжительно, как и в III отделении. Дней через девять после моего водворения сюда снова появились жандармы, снова карета, и меня везут куда-то по улицам Петербурга, а куда—не говорят. Проделав довольно длинный путь, карета останавливается у какого-то огромного белого здания, и мне предлагают выходить. После кратких переговоров двойные железные ворота гостеприимно растворяются и меня сдают под расписку новому начальству. На этот раз я уже оказываюсь в знаменитом Литовском замке—огромной пересыльной тюрьме, переполненной уголовными арестантами, смотрителем которой состоял некто Марков, очевидно, из полицейских чиновников. Это был дюжий детина высокого роста, с налитыми кровью глазами и лицом, с зычным голосом, грубый, привыкший повелевать и расправляться и не допускавший никаких возражений. К счастью, этот зверь в человеческом образе редко посещал тюрьму, а то бы жизнь в Литовском замке была невыносима. За мое длительное пребывание в замке он, кажется, раз или два посетил мою камеру, но и тут дело не обошлось без скандала. Учуяв запах табака в моей камере, он пришел в ярость, закричал и затопал ногами, не давая мне вымолвить слова. Оторопев от неожиданного и совершенно бессмысленного нападения, я с недоумением смотрел на этого раз'яренного зверя, который так же быстро исчез, как и появился, сопровождая свой уход угрозами по моему адресу.

Поместили меня в Замке в одной из 12 секретных камер мужского отделения, смежных с общими камерами уголовных. Камера довольно значительных размеров, опрятная, с окнами, выходящими на обширный тюремный двор, и с видом на входные ворота, благодаря чему я имел возможность наблюдать довольно бойкую жизнь тюремного двора. В соседних же уголовных камерах шуму было также немало, а по утрам, перед обедом и вечерами перед сном там раздавалось и общее пение молитв.

Не то было в секретном отделении, где в это время я был едва ли не единственным обитателем, обреченным на полное одиночество и незнающим, как скоротать время. Книг мне упорно не давали, не хотели дать даже евангелия, при чем кормили отвратительно. Обычная пища была тюремная баланда да какая-нибудь каша. Я постоянно голодал, а пополнить недостатки питания покупкой какой-нибудь провизии я не мог, так как весь наличный капитал мой состоял всего лишь из 5 коп., которые я берег на черный день. Воля попрежнему безмолвствовала. Такое забвение попавших в беду было совсем необычно. Значит, думал я, и там творится что-то совсем неладное.

Так шли дни за днями в полной неизвестности как о судьбе оставшихся товарищей, так и о своей собственной. Меня как-будто совсем забыли, никто меня не допрашивал и никто не сообщал мне, что намерены делать со мною дальше.

Не помню хорошо, но приблизительно недели через 2—3 я, наконец, решился истратить свой капитал, на который и была куплена французская булка. Но не столько этой булке обрадовался я, как той, исписанной старинным почерком бумаге, в которую эта булка была завернута. Я с жадностью набросился на нее и перечитывал ее несколько раз, хотя по своему содержанию она и не заслуживала этого. Но за эти 3—4 недели я так изголодался по печатному слову, что был рад и этому исписанному лоскутку бумаги.

Настроение мое от безделья и полной неизвестности о моей дальнейшей судьбе было отвратительно; занять себя чем-либо не было никакой возможности, и мне оставалось лишь или лежать на постели, или бегать из угла в угол по камере с головой, постоянно занятой то обозрением и критикой прошлого, то постройкой фантастических замков, что в результате приводило к крайнему нервному возбуждению и полному одурению. Совершенно обессиленный таким нездоровым времяпрепровождением, я снова ложился, чтобы забыться и отдохнуть, а затем опять принимался за то же самое.

Так тянулось мучительно и бессмысленно время в течение почти 3-х долгих месяцев, когда, наконец, в камеру ко мне прилетела с воли ласточка в лице тов. прокурора Кобыльского, впоследствии сенатора и члена Государственного Совета из правых. Маленький, черненький, живой, как угорь, с радостной улыбкой, казалось, он явился ко мне с необыкновенно приятными для меня вестями. Когда же я стал сетовать ему на непозволительную затяжку моего несложного дела, на неизвестность моей дальнейшей судьбы, а также и на то, что держат меня без книг, на отвратительной пище и проч., то, продолжая улыбаться, он успокаивал меня, заявив: «подождите еще несколько дней, вот мы вызовем вас, и все раз'яснится!». Так, не сказав ничего определенного, он такой же сияющий и улыбающийся вылетел из моей камеры.

И действительно, через несколько дней, в конце марта или в начале апреля 1874 г., я был снова приведен в III отделение, где мне тот же улыбающийся Кобыльский, не говоря ни слова, подсунул толстое дело, сказав: «вот, прочтите!» и ткнул пальцем на страницу дела.

Здесь мне, прежде всего, бросилось в глаза лаконическое показание Кропоткина, которым он в категорической форме отказывался от дачи каких-либо об'яснений, а затем уже внимание мое остановилось на показании совсем иного характера трех рабочих, входивших в состав выборгского рабочего ядра, в котором они кратко, но с подчеркнутой выразительностью и явным извращением фактов, излагали сущность моих бесед с рабочими.

Я был ошеломлен изменой этих людей, в которых верил, которые, казалось, вполне искренно отдавались идее и делу и не должны бы так быстро капитулировать перед угрозами жандармов. Показания были немногословны и, видимо, написаны под диктовку жандармов или того же Кобыльского. Оставлять без протеста и надлежащего раз'яснения эти показания, извращающие характер моей пропаганды, казалось, было невозможно, но протест голословный, без ссылки на свидетелей, не имел никакого смысла. Ссылаться же на кого-либо из тех же рабочих, значило еще больше запутывать дело и давать новый материал в руки жандармов. Выхода из создавшегося положения не было, кроме отказа, по примеру Кропоткина, совсем от дачи каких-либо показаний, что я и сделал.

Участники допроса, видимо, внимательно следили за игрой моей физиономии в течение нескольких секунд моего мучительного раздумья и не говорили ни слова. И только, когда я дал свой ответ, Кобыльский с кривой улыбкой, которая, кажется, не сходила с его лица, не мог удержаться, чтобы не сказать: «каторги теперь вам не миновать!», с чем внутренно я не мог не согласиться. На этом допрос и закончился. Никаких попыток убедить меня изменить мои показания сделано не было, как не пытались допрашивающие задавать мне и другие вопросы о лицах, причастных к делу, считая это, очевидно, напрасной тратой времени.

Целых трое суток по возвращении моем снова в камеру Литовского замка я провел в каком-то невероятно кошмарном состоянии. Все, чем я жил и во что верил, было разрушено. Друзья и товарищи по делу погибли, и я не знал, сохранился ли кто-нибудь из них; погибло и самое дело, а рабочие, хотя бы только в числе трех, в дело которых я вкладывал свою душу, оказались предателями! В довершение же всего и лично на себе приходилось ставить крест, так как, еще будучи на воле, я твердо был уверен, что выдержать тюремное заключение, в особенности же такое, какое мне преподнесли, я смогу лишь год, много полтора. Всем этим я был выбит из колеи, на душе был полный мрак и абсолютная пустота.

Но мало-по-малу острота переживания стала ослабевать, а вместе с тем возвращалось и более спокойное состояние, позволяющее лучше осмыслить создавшееся положение. Разум начал входить в свои права и окончательно рассеял мрак, окутывавший меня. Ну что ж, думалось мне, погибли мы, а с нами и дело, которое мы вели. Конечно, страшно жаль и обидно, но разве мы не предусматривали этого раньше и не были готовы к такому финалу? Но, с другой стороны, разве вместе с нами погибла и та идея, которая воодушевляла не только нас, но воодушевляла и будет воодушевлять целые полки других людей, которые заступят наше место и продолжат начатое дело, и, без сомнения, еще с большей энергией и увлечением, чем делали это мы? Идея наша жизненна и умереть не может, а гибель наша, если она только не будет сопро-

вождаться малодушием и изменой своим убеждениям, подольет лишь только масла в огонь и сама по себе пойдет на пользу тому же делу.

Встав на такую точку зрения, я совершенно успокоился. Кроме того, явилась и цель дальнейшего существования в тюремном застенке: ни в каком случае не падать духом, бодро переносить свое заточение, какие бы испытания тебе ни предстояли, и тем непрестанно свидетельствовать о верности тому делу, за которое очутился в заточении. Это в своем роде была тоже борьба, может быть, даже—самая трудная, без видимых результатов, но безусловно нужная, как логическое продолжение и дополнение той борьбы, какая велась на воле.

В товарищах своих я был уверен, что они не сдадутся и с честью выдержат испытание. Не особенно, по спокойном размышлении, удручали меня и рабочие-предатели, не выдержавшие первого же натиска жандармов. Извиняющим обстоятельством служило им то, что это все же были неофиты, еще вчера почти первобытные люди, без достаточного умственного и морального багажа, не успевшие еще укрепиться в своей позиции идейных людей.

После этого последнего допроса, когда в руках следователей оказался уже достаточный материал, чтобы основательно упечатать меня, им уже не было нужды добиваться моей капитуляции при посредстве экстраординарных мер, принимаемых в отношении меня. И, действительно, вскоре же мне были доставлены с воли книги, деньги и регулярно стала доставляться и пища. Не были разрешены только свидания, каковые допускались только с родственниками, а таковых тогда в Петербурге никого у меня не было.

С этого времени у меня всегда были книги, которые я мог читать, сколько мог и хотел, и я уже не испытывал того голода, который в последние три месяца постоянно ощущал, благодаря отвратительной тюремной пище. В то же время эти таинственные и регулярные приношения с воли свидетельствовали, что там не все еще погибло, что есть и люди, которые имеют возможность заботиться о тех, кто попал уже в беду, что для сидящих было далеко не безразлично и поднимало их настроение. И я каждый раз с нетерпением и тревогой ждал наступления очередного дня, когда производился прием передач. Не столько содержимое этих передач интересовало меня, как самый приход с ними неведомых мне людей, свидетельствовавших, что «курилка еще жив».

Однообразна и тягуча была моя жизнь в Литовском замке. Отрезанный от всего живого мира, я был предоставлен исключительно лишь самому себе. Даже стражи мои были молчаливы и избегали разговоров с секретным арестантом. Связаться с волей я не пытался, так как не хотел подвергать адресатов возможным неприятным случайностям.

Не пробовал я прибегать и к легальной переписке, не писал даже матери, которая меня всего больше беспокоила. Я знал, что своим

арестом я нанес ей жестокий удар, но что утешительного я мог сообщить ей? Миропонимание же наше было настолько различно, что она все равно не поняла бы мотивов моего поведения, приведшего меня к тюрьме. Мои письма, думалось мне, будут только растравлять ее раны и не облегчат ее тяжелых переживаний. Пусть же, думал я, она поскорее забудет меня и вычеркнет из списка живых. К этим мотивам для отказа от легальной переписки присоединялись еще и другие, не менее веские для меня. Я не мог заставить себя сесть за письмо, не сухое деловое письмо, а интимного характера, зная, что прежде всего его будут читать жандармы, может быть, смаковать его, оценивать по нему мое настроение и проч., одна мысль о чем лишала меня мужества приняться за него. И за все 4 года моего предварительного заключения я не написал никому ни строчки, а равно и не получал ни от кого.

В Литовском замке пребывание мое длилось больше года, при чем каждый новый день был точной копией предыдущего. Вставал с постели, приводил себя в порядок, принимал в обычное время пищу, читал, уделял на это то больше, то меньше времени, в зависимости от настроения и состояния моих все больше и больше расшатывающихся нервов, наблюдал из окна камеры тюремную жизнь двора или прислушивался к шумам и гомону, а то и нескладному пению, доносившемуся до меня из уголовных камер. Иногда выводили меня на короткую прогулку в небольшую загородку во внутреннем дворе, примыкающую к зданию тюрьмы, но эти бессмысленные прогулки я не любил и неохотно выходил на них. Не получая никаких внешних впечатлений, голова моя была в постоянной работе, часто совсем фантастического характера, благодаря чему она быстро утомлялась, и я нередко доходил до полного изнеможения и одурения. Только сон, на который я еще не мог пожаловаться, снова приводил мою уставшую голову в порядок. Но и этот последний не всегда приносил мне успокоение. Одно время, не знаю почему, мне все снились гимназические экзамены, казалось бы, уже давно отошедшие в область преданий. Во сне я снова переживал их со всею реальностью, испытывая те же волнения, какие приходилось испытывать в действительности, в особенности при сдаче нелюбимых предметов, в которых я был далеко не достаточно силен. И как же я был рад и доволен, когда, просыпаясь, я устанавливал, наконец, что я в тюрьме, что ни с какими экзаменами мне больше дела иметь уже не придется!

Тюремное время, благодаря своей нудной однообразности, тянулось мучительно медленно, хотя, с другой стороны, и казалось, что оно летит необыкновенно быстро. Прожив в тюрьме уже многие месяцы, благодаря тому же однообразию казалось, что от вольной жизни ты отдален еще небольшим протяжением времени, хотя эта вольная жизнь уже покрывалась какой-то дымкой, краски бледнели, и лишь временами она вставала перед глазами во всей

своей чарующей прелести. И тогда ярче и мучительнее чувствовалось, что то далекое и дорогое уже не для тебя.

Все время моего пребывания в Литовском замке после решающего допроса я прожил никем не тревожимый. И лишь наскок смотрителя Маркова, о котором я уже говорил, да посещение моей камеры дамой-патронессой, г-жей Гернгросс, нарушили это однообразие. Лично этой последней я не знал, но мне было известно, что она находилась в добрых отношениях с сестрами Корниловыми, не раз пользовавшимися ею при сношениях с заключенными, доступ к которым она имела по своему положению. Я был рад видеть это первое за время моей тюремной жизни благорасположенное человеческое лицо, тем более, что я был уверен, что ее визит — неспроста, что она пришла с каким-либо поручением от близких мне людей с воли. Но, к сожалению, пришла она ко мне не одна, а под надзором и в сопровождении тюремного начальства, почему беседа наша ограничилась общим, ничего не значащим разговором. Так она и ушла, не сказав мне того, что, может быть, ей было поручено сказать.

Как всегда, всему бывает конец; наступил таковой и моему пребыванию в опостылевшем мне Литовском замке. Как-то под вечер мне принесли мою одежду из цейхгауза, попросили собрать мои вещи и следовать за надзирателями. В конторе меня встретили опять жандармы, которые посадили меня в карету и повезли неведомо куда. Долго мы ехали через весь город, на движущийся поток которого я засматривался из окна кареты, ища среди него знакомых и дорогих лиц, но, разумеется, тщетно. Но вот мы уже перебрались через Неву и очутились перед воротами Петропавловской крепости, через которые едем прямо к Трубецкому бастиону. В кордегардии, куда меня привели, меня раздевают, тщательно обыскивают, и затем я одеваюсь уже во все казенное, т.-е. нижнее белье, халат и туфли. По выполнении этой предварительной процедуры, смотритель Богородский, маленький усатый человек с круглыми глазами, предлагает мне следовать за ним. Под эскортом уже крепостной стражи мы поднимаемся в верхний этаж, где меня и запирают в одной из свободных камер.

Камера большая и высокая, длиною 9—10 шагов, шириною 5—6, с асфальтовым полом, с небольшим с железной решеткой, полукруглым окном почти под самым потолком, чрез которое виднелись лишь верхняя часть крепостной стены и кусочек неба; затем кровать, маленький столик и табуретка да в одном углу умывальник, а в другом—неизменная параша,—такова обстановка моего нового жилья. Стены камеры, смежные с соседними, были обиты войлоком и оклеены обоями, что делало их незвукопроводными, а в толстой входной двери была проделана форточка, открывавшаяся лишь тогда, когда подавали пищу. Над этой форточкой имелась еще небольшая щель со вставленным в нее стеклом, име-

нуемая глазком и предназначенная для наблюдения за арестантом. Закрывалась она деревянной пластинкой со стороны коридора, которая по желанию надзирающего, поднималась и опускалась, когда наблюдение оканчивалось.

Сделав мне кое-какие наставления о том, как я должен себя вести, смотритель и стража удалились. Щелкнул замок толстой дубовой двери, и я остался снова в полном одиночестве. Кругом царила убийственная мертвая тишина, нарушаемая лишь через каждые 10—15 минут крадущимися шагами дежурного часового, который, подойдя к двери камеры, неизбежно и осторожно поднимал защелку глазка, в который устремлялись на тебя два глаза. В первое время это занимало меня, потом раздражало, а позднее приводило в раж. Из внешнего же мира в камеру доносился лишь какой-то заглушенный шум, идущий из заречной части большого города, да отчетливо слышимый каждую четверть часа меланхолический перезвон петропавловских часов. В полдень же раздавался оглушительный выстрел петропавловской пушки, который от неожиданности нередко пугал меня.

Эта тишина после непрестанного шума, производимого уголовными арестантами Литовского замка, в первые дни мне даже нравилась. Приятно был я поражен и чистым постельным и носильным бельем, еженедельно сменяемым, отличным столом, состоящим из двух хорошо приготовленных блюд, а в праздничные дни—и из трех, вежливым обращением и возможностью беспрепятственно пользоваться книгами из довольно богатой тюремной библиотеки. Через день, а то и через два приносилось мне верхнее платье, и меня вели на получасовую прогулку во внутренний дворик, посредине которого была расположена баня, а кругом него возвышалась стена нашего каземата.

Крепость, по всем видимостям, была населена, но кем—узнать не было никакой возможности, так как надзор был строгий, а стража была неприступна и безмолвствовала, ограничиваясь за весь день лишь вопросом: «Что вам купить сегодня?».

Отрезанный от мира, не имея ни переписки, ни свиданий и окруженный лишь молчаливыми стражами, я решительно не имел никакого представления о том, что делается на воле, кто там еще жив и кто арестован. Газет нам читать не полагалось, журналы же, хотя и выдавались, но лишь за прежние годы. Начальство меня тоже забыло, ни на какие допросы не вызывало, не показывалось и само. Между тем заключение мое уже переваливало за вторую половину второго года, а каких-либо признаков в движении моего дела не было.

Довольный в первое время своим перемещением из Литовского замка в крепость, я усиленно принялся за чтение, в книгах же недостатка не было. Но могильная тишина и полное отсутствие внешних впечатлений, даже таких, какие я получал в Литовском

замке благодаря соседству с уголовными, скоро стали угнетать меня. Страстно хотелось видеть людей и слышать живое слово, обменяться впечатлениями о всем пережитом и передуманном за эти долгие месяцы одиночного заключения, но, кроме голых стен, беседовать было не с кем. От одиночества и постоянного и почти абсолютного молчания я понемногу даже стал утрачивать способность речи и забывать самые обычные слова. Только одно чтение, которому я отдавал большую часть своего времени, еще спасало меня от полного одурения. Но и чтение нередко только волновало меня, в особенности, когда оно приковывало мое внимание к убогой русской действительности. Я уже не мог читать ни Щедрина, ни Глеба Успенского, которых я особенно любил, а когда решался на это, то всякий раз, не окончив даже той или другой статьи, бросал книгу.

Отрешиться от русской действительности, даже сидя в четырех стенах, я не мог, она всегда была перед моими глазами и всегда волновала меня. Эти тюремные стены, эти стражи и мое подневольное положение,—все говорило о ней же. Естественно, что мысль моя постоянно была сосредоточена на этом больном вопросе и не давала мне в моем уединении ни отдыха, ни покоя. Размышляя на эти темы, я неизбежно приходил к выводу, как делал уже это и раньше, что основное зло нашей жизни—в полицейской государственности, которая парализует всякую жизнь страны, как духовную, так и материальную. Нищета, невежество и полное бесправие народных масс—неизбежный и логический продукт этого режима, с которым он добровольно никогда не расстанется, так как на этих трех китах покоится собственное его благополучие и безнаказанность. Поэтому борьба с этим режимом должна вестись прежде всего. Оценивая с этой точки зрения путь, избранный нами,—пробуждение сознания в народных массах и организация таковых для активной борьбы за освобождение—нельзя было не признать его правильным, ибо только он в конечном итоге обеспечивал победоносную борьбу. Но, признавая это, я в то же время приходил к выводу, что здесь мы слишком перегибали палку, отмахиваясь от всех тех, кто был не вполне с нами. Силы наши были не велики, рассчитывать же на быстрый рост их при исключительной трудности самого пути и наличии могущественного, бдительного и хорошо организованного противника было нельзя, а потому нельзя было и надеяться на сравнительную успешность самой борьбы только с этими силами. К политической борьбе, в особенности же в первоначальной ее стадии, думалось мне, должны быть привлечены все живые силы страны, кто бы они ни были, и всякий шаг их, клонящийся к расшатыванию полицейской государственности, и всякие завоевания в этой области могли быть только приветствуемы. Эта борьба по всем фронтам, может быть, нередко и мелочная и по существу мало заметная и неяркая, содействуя расширению об-

ласти общественной самодеятельности, в то же время создает и соответствующее настроение, что не могло не сказаться и на основной работе в народных массах как в смысле ее расширения, так и в смысле ее углубления. У сильного и организованного противника, думалось мне, только соединенными силами и шаг за шагом возможно отбивать позиции, чтобы затем, когда силы накопятся, а противник от натиска со всех сторон придет в расстройство, одним ударом покончить с ним. И бояться нам этого разношерстного участия в борьбе нечего, так как все дороги, в особенности в условиях русской действительности, ведут только в Рим!..

К таким выводам я приходил, размышляя в своем одиночестве о ближайших судьбах России и способах выхода ее из теперешнего безнадежного состояния. Но эти размышления, всегда волнующие, не могли, разумеется, заполнить жизнь узника и внести в нее мир и успокоение. Напротив, и они, как и все в этой могиле, обрекавшей на бездействие, только трепали нервы, и хотя дух мой оставался бодрым, но я уже временами начал побаиваться самого худшего—сумасшествия. Смерть, к которой я был давно приготовлен, все не приходила, а возможное безумие страшило меня.

К моему несчастью, соседей по камере, повидимому, у меня не было, так как там все было тихо и спокойно и двери смежных камер никогда не отворялись, а, стало быть, и пытаться войти в сношение с кем-либо при помощи стука было нечего.

К тому же азбуки я не знал и научиться ей было негде: в Литовском замке я сидел один в секретных камерах, в крепости тоже соседние камеры были пусты. Но вот как-то однажды, уже через много времени после перевода меня в эту последнюю, раздался тихий, но отчетливый стук, который настойчиво повторялся. Живая душа!—как молния, мелькнуло у меня в голове, и я кинулся к правой стенке своей камеры, откуда, казалось, исходил звук, чтобы ответить на призыв. Но, увы! стена молчала и никакого звука не дала. Вспомнив, что это так и должно быть, я бросился к наружной стене, которая не была обтянута кошмой, и простучал, на что тотчас же получил ответ, но, что он значил, я, не зная азбуки, понять не мог. Так мы бесплодно перестукивались еще некоторое время, пока дверь моей камеры внезапно не отворилась и в камеру не влетел смотритель с грозным окриком, что стучать нельзя. Смотритель ушел, но глазок в дверях после этого непрерывно открывался, и два глаза, показывавшиеся в нем, внимательно следили за каждым моим движением. То же было и в следующие дни, что мешало нам продолжать начатый разговор. Так на этот раз я и не узнал, кто была эта живая душа, которая добивалась общения со мною; не успел я освоиться и с азбукой и разобраться в ней. Но уже одно сознание того, что тут, рядом с тобой, есть живой человек, может быть, даже друг, действовало благодетельно и как бы смягчало одиночество.

Не знаю, по каким причинам, то ли вследствие некоторой сырости помещения, или недостаточности одежды, но месяца через 2—3 после перевода в крепость у меня начались мучительные зубные боли, которые не давали мне покоя. К зубной боли вскоре присоединился еще хронический катарр желудка, также не поддававшийся лечению. Тюремный доктор Вильямс, лечивший меня, перепробовал на мне многое из латинской кухни, но все было тщетно. Особенно мучительны были зубные боли, действовавшие на нервы и на голову, нередко доводившие меня до исступления. В моменты особенной остроты этих болей, чтобы хотя несколько облегчить их, я хватался руками за спинку железной кровати, упирался в нее ногами и изо всех сил тянул ее к себе. Это чисто физическое усилие временно облегчало боль и давало некоторую передышку; к нему я и прибегал всегда, когда терпеть становилось невыносимо.

В начале 1876 г., с передачей нашего дела в руки прокуратуры, я, как и многие другие, был временно переведен в Дом предварительного заключения. В своем роде это был для меня праздник. Самый переезд, затем новая обстановка на новом месте,—все занимало меня и вносило в мою унылую жизнь некоторое разнообразие. Правда, первые впечатления от Дома предварительного заключения были не в пользу его. Маленькая, почти микроскопическая камера с низким потолком, после большой и высокой камеры в крепости, угнетала меня. Кормили тоже много хуже, чем в крепости. На обед подавались щи и каша, а утром и вечером—кипяток с двумя-тремя фунтами хлеба, по качеству значительно хуже крепостного.

Миниатюрная камера эта загромождалась еще кроватью, табуреткой и столиком, прикрепленными к стене, и стульчаком и раковиной для умывания, помещавшимися в углу под окном. Самое же окно небольшого размера, с двумя железными рамами и матовыми стеклами, выходящее во внутренний двор, куда водили на прогулку заключенных, расположено было под самым потолком, и добраться до него можно было, только встав на стульчак. Этим же путем можно было и приоткрыть его, но лишь на длину короткой цепи, которой были связаны верхние части рамы с карнизом окна.

В общем итоге новое мое жилище было попросту каменным гробом с маленьким отверстием под потолком, и бегать в нем из угла в угол, иногда целыми часами, как это нередко бывало в крепости, уже не было никакой возможности.

Но странное дело! С переездом в Дом предварительного заключения и с переходом на упрощенную пищу, моего не поддающегося лечению катарра как не бывало! И произошло это как-то само собой, без всякого медицинского содействия. Почти одновременно с этим прекратились и мои зубные боли. Вероятно, сухой воздух моей камеры и более упрощенная, а, может быть, даже и недоста-

точная пища, с преобладанием в ней гречневой каши, которой я отдавал предпочтение перед всем остальным, были непосредственной причиной моего столь неожиданного избавления от мучивших меня недугов. Обстоятельство это не могло, конечно, не сказаться и на изменении моих первых неблагоприятных впечатлений от Дома предварительного заключения.

Постепенно стали выплывать и некоторые другие положительные стороны его, заставившие забыть крайнюю тесноту помещения. Надзор здесь был менее строг, чем в крепости, ненавистный глазок не беспокоил и не волновал меня более, стража в лице надзирателей не была так вымуштрована и молчалива, как там, и с ней можно было перекинуться парой слов. Нас не одевали более в больничный халат и туфли, и мы носили свою одежду, а главное, здесь не чувствовалось той могильной тишины, какая была в крепости. Помещенный в одну из камер 3-й галлереи шестиэтажного здания тюрьмы, я, благодаря удивительному резонансу ее, мог, если не видеть, то ощущать при помощи звуковых впечатлений жизнь тюрьмы и не чувствовать уже убийственного одиночества. Я знал, что тюрьма населена, что в недрах ее находятся и мои близкие друзья и товарищи, собранные со всех концов страны, с некоторыми из них приходилось даже мимолетно встречаться на узкой галлерее, когда меня выводили из камеры на прогулку или по другим каким надобностям.

Сидя в своей камере, я не мог, конечно, тотчас же не обратить внимания на раздающиеся в разных концах тюрьмы стуки, отчетливо воспринимаемые, особенно вечером, когда жизнь огромной тюрьмы затихала, а вместе с этим начиналась другая таинственная жизнь, сопровождаемая этими характерными звуками. Я знал, что звуки эти исходят от заключенных, что при помощи их последние вступают в общение между собою, и стал прислушиваться к ним, чтобы понять технику этих переговоров. Скоро она стала мне понятна, и я не преминул, разумеется, воспользоваться этой несложной азбукой, чтобы и в свою очередь принять участие в общей жизни тюрьмы. Не имея практики, я первоначально перестукивался очень медленно и неумело, но скоро это прошло, и я вполне овладел техникой переговоров и не уступал в этом отношении другим. Тут все было звукопроводно: и стены, и особенно металлические трубы, проходящие через камеру с самого верхнего этажа до нижнего, звукопроводен был даже и пол, густые звуки которого от удара ногою свободно доносились в вечернюю пору из одного конца здания до другого. Ко времени, когда меня перевели в Дом предварительного заключения, борьба с перестукиванием уже давно была прекращена, и оно продолжалось беспрепятственно, не обращая на себя никакого внимания со стороны надзора. Спервоначалу и само начальство было немало удивлено такой звукопроводностью своей новой и усовершенствованной тюрьмы, предна-

значенной для строгой изоляции, оно усиленно боролось со злом перестукивания, но скоро, сознав свое полное бессилие в борьбе с ним, махнуло на него рукой.

Точно так же вынуждено оно было махнуть рукой и на так-называемые клубы, устраиваемые заключенными уже для словесных бесед между собою при помощи очищенных стульчаков, трубы которых проходили с верхнего этажа до нижнего. Усаживаясь около своего стульчака, заключенный вызывал своих товарищей, сидящих выше или ниже его, а вслед затем начиналась беседа, длившаяся иногда целыми часами. Я не любил этот способ сношений и редко прибегал к нему, к тому же он и сильно утомлял меня.

Кроме указанных выше способов сношений с заключенными, существовал еще и 3-й вид их—переписка. Уголовные арестанты, прислуживающие при раздаче пищи, а затем и некоторые надзиратели за небольшую мзду, а то и просто из одного расположения к арестованным, охотно передавали записки от одного к другому.

Благодаря всем этим, не совсем обычным условиям тюремной жизни, пребывание в Доме предварительного заключения было сносно и некоторым образом могло почитаться даже за отдых после заключения в Литовском замке или крепости. Но все же это была, хотя и милостивая, но тюрьма, которая не могла не угнетать, особенно при сознании безнадежности своей дальнейшей судьбы. В перспективе же, кроме тюрьмы, может быть еще горшей, и медленного умирания ничего не было видно, так как на сколько-нибудь благоприятный исход дела я совсем уже не рассчитывал.

И вот в это-то время, приблизительно в марте 1876 г., я получаю предложение, кажется, от Ковалика, принять участие в побеге из тюрьмы, который он и Войнаральский подготовляли. Предложение было заманчиво и сильно взволновало меня. Воля, которую я считал окончательно потерянной для себя, встала перед моими глазами со всею своею яркостью и соблазнительностью, благодаря чему я, не раздумывая, дал свое согласие. Те несколько дней, которые отделяли момент, когда было сделано предложение, от дня, назначенного для побега, протекали в нетерпеливом ожидании. Охваченный жаждой вольной жизни, я как-то забыл, что я, освобождаясь сам, постыдно оставляю своих товарищей продолжать медленно гнить в тюрьме, что при более нормальном состоянии я едва ли бы позволил себе сделать.

Но вот, наконец, и день, назначенный для побега, и я с нетерпением жду часа, когда можно будет приступить к его выполнению. Поздно ночью щелкнул замок моей камеры, дверь отворяется, и я тихо выхожу на галлерею, чтобы по лестнице спуститься в самый нижний этаж здания, а там добраться до камеры Войнаральского—

места встречи беглецов. Тюрьма мертва, ниоткуда не слышится ни одного звука. Большинство заключенных спит, а те, кто знал о предстоящем побеге, с понятным волнением и бесшумно ждут его исхода. Сладко спят и наши надзиратели, предварительно усыпленные снотворным напитком, которые не должны были знать о нашем предприятии. Бодрствует только старший надзиратель Ефимов (кажется, так его фамилия), сидящий на своем наблюдательном посту, откуда ему видны две стороны всех 4-х этажей. Нас, бегущих, всего трое: Ковалик, Войнаральский и я. Собравшись вместе у нижней камеры Войнаральского, мы обмениваемся несколькими словами о дальнейших наших шагах и направляемся к окну, которое должно нас выпустить на волю. Окно это огромных размеров и без решеток, выходящее на Шпалерную улицу, как и мы сами, находилось в поле зрения старшего надзирателя, которому отлично было видно все, что творится у нас в углу. Для предосторожности мы потушили свет в этой части тюрьмы, а затем, чтобы открыть окно, подсадили на подоконник Ковалика, как самого сильного. Но, к несчастью, рамы окна сильно набухли и не поддавались усилиям Ковалика. Всякий раз, как он пытался открыть его, раздавался сильный гул, разносившийся по всей тюрьме. После многих усилий, наконец, сопротивление было побеждено, и окно приоткрылось, но это сопровождалось таким оглушительным треском и шумом, что усыпленные надзиратели проснулись и, не зная в чем дело, но чувствуя, что стряслась какая-то большая беда, кинулись каждый по своей галлерее осматривать целость своих камер. Столь неожиданный эффект смутил и нас. Бежать всем уже не было возможности, но пока надзиратели бегали по галлереям и осматривали камеры, была еще возможность улизнуть одному, а то и двум. Больше же всего смущало нас то, что этим побегом на глазах надзирателей мы подвергали большой ответственности и наших союзников-надзирателей. Перекинувшись несколькими словами между собою, мы решили на этот раз отказаться от побега, ждать в камере Войнаральского перепуганных надзирателей и попытаться войти с ними в сделку, чтобы потушить это неудавшееся дело и не доводить о нем до сведения высшего начальства тюрьмы. Скоро надзиратели добежали и до камеры Войнаральского. И как же они были обрадованы, когда, открыв ее, они увидели всех недостающих налицо! На радостях они быстро пошли на соглашение с нами, и обещанная, а затем и выплаченная им сумма, кажется, в 500 р. вполне их удовлетворила. Обещание свое молчать они сдержали, и начальство тюрьмы так и осталось в полном неведении об этой попытке к побегу, что было важно, так как мысль о повторении ее не была оставлена.

Итак, вместо воли, которая была, казалось, уже так близка, мы снова очутились в тех же камерах, где сидели и раньше, как бы

ничего и не было! Обидно и горько было за постигшую неудачу, но делать было нечего, приходилось примириться с ней [1].

Мысль о повторении попытки к побегу, как я уже говорил, не была оставлена Коваликом и Войнаральским, и некоторое время спустя после нашей неудачи я снова получил предложение принять участие в побеге. Но на этот раз, уже имея достаточно времени спокойно все обдумать, я отказался. Состояние моего здоровья было таково, что годным для работы я себя не чувствовал, а бежать, чтобы только спасти себя и обременять своей персоной уцелевших товарищей, я не хотел. Не хотел я и бежать за границу и окунуться там в эмигрантскую жизнь, которая мне казалась хуже всякой каторги. Да и было как-то зазорно оставлять своих товарищей в беде, а самому спасаться.

Новая же попытка Ковалика и Войнаральского, предпринятая приблизительно в апреле 1876 г., кончилась тоже неудачей. Войнаральский, спускавшийся последним, был замечен случайно проезжавшим офицером Чечулиным, который и поднял тревогу, полагая, что имеет дело с побегом уголовного арестанта. Началась погоня, и беглецы скоро были пойманы и водворены на свое прежнее местожительство, к великому огорчению и стыду самого инициатора этого ареста—Чечулина, узнавшего, что бежавшие не уголовные, а политические арестанты, а один из них—Войнаральский—еще и его хороший знакомый.

На этот раз побег имел и печальные последствия: двое из надзирателей, заподозренные в содействии этому побегу, были арестованы и просидели до полугода в той же тюрьме, где они сами

[1] Синегуб в своих «Воспоминаниях чайковца» (Былое, 1906 г., октябрь, стр. 45—47), подробно рассказывая неизвестно с чьих слов об этой попытке к побегу, допускает, не по своей вине, конечно, ряд ошибок и отступлений от истины. Он говорит, что в побеге, кроме нас троих—Ковалика, Войнаральского и меня,—приняли участие еще Волховский, Тихомиров, Кропоткин, Шишко и, весьма возможно, Муравский, чего на самом деле не было. Было ли всем этим лицам делано предложение, я не знаю, но факт тот, что никто из них участия не принимал и из камеры не выводился. Ошибается Синегуб также и тогда, когда говорит, что побег предполагался с третьей галлереи, где последняя подходила к самому окну, что «его уже открыли» и стали укреплять веревки из полос простыни за перила галлереи». На самом же деле побег был организован из нижнего этажа, где окно было невысоко от земли, а потому никаких веревок, чтобы спуститься на землю, и не требовалось. Открытие же окна и погубило все дело. Неверно в рассказе Синегуба и то, что старший надзиратель «на своей площадке спал на стуле под газовым рожком», «усыпленный снотворным снадобьем». В действительности же, насколько я припоминаю, старший надзиратель все время бодрствовал, сидя на своем наблюдательном посту, и, конечно, не мог не видеть и не слышать, что у него творилось почти под самым носом. Об остальных же подробностях рассказа Синегуба, относящихся до описываемого им побега, я не буду говорить, так как эти подробности или были мне неизвестны, или же я их запамятовал. Возможно, что синегубовское описание первой попытки к побегу следует отнести ко второй, подробностей которой я не знал, так как в это время я едва ли уже не был снова в крепости.

надзирали за заключенными, после чего, за неимением улик, были освобождены.

Вскоре после этой второй попытки, а, возможно, и до нее, я, как и некоторые другие, снова был переведен в крепость, где и оставался в прежних условиях заключения почти до самого суда над нами в конце 1877 г., когда нас снова перевели в Дом предварительного заключения.

Потянулась опять нудная крепостная жизнь с ее могильной тишиной и неослабным надзором караульных солдат. Опять те же петропавловские часы, нагоняющие тоску своим меланхолическим перезвоном, тот же халат и туфли, те же, надоевшие уже, одинокие и молчаливые прогулки в крепостном дворе.

За эти два или три месяца пребывания моего в Доме предварительного заключения ничто не изменилось в условиях крепостной жизни, только чувствовалось, что тюрьма теперь населена плотнее, чем это было раньше. Но это мало доставляло утешения, так как соседи по заключению попрежнему были недоступны. Правда, я вернулся из Дома предв. закл. уже опытным в деле перестукивания человеком, но применять эти мои познания почти не приходилось, ибо самый осторожный стук тотчас же долетал до слуха конвоя и немедленно прекращался, нередко и с вызовом смотрителя. Чтение и опять чтение, да бесконечное блуждание из угла в угол по камере—и ничего больше! Но нередко бывали дни, когда один вид книги вызывал раздражение, и я не прикасался к ней. Это были самые тягостные и мучительные дни, когда всякая мелочь раздражала, а нервы взвинчивались до белого каления. И так изо дня в день, еще 15—16 утомительно длинных месяцев, пока на время суда нас всех снова не перевели в Дом предварительного заключения.

За этот длинный промежуток времени лишь три события нарушили однообразие моей жизни—это: вручение мне обвинительного акта летом 1877 г., свидетельствовавшее, что дело наше, наконец, хотя и тихими стопами, но все же приближается к окончанию; свидание с братом Аркадием, только-что приехавшим во второй половине того же 1877 г. для поступления в Петербургский университет и Боголюбовская история.

Первое из этих событий—вручение обвинительного акта—ничего, кроме нового повода для раздражения и возмущения, не дало. Здесь возмущало меня все: и то, что в одну кучу свалена публика, совершенно неведомая друг другу и никаких общих дел не имевшая между собою, и то, что составлен он легкомысленно, с извращением фактов, а главное, с явным намерением опорочить как участников процесса, так и самое движение. Что же касается кружка чайковцев, то и здесь было то же неизбежное легкомыслие, так как все обвинение, за неимением показаний самих чайковцев, строилось почти исключительно на показаниях посторонних ему

лиц, в роде Низовкина, Льва Городецкого, Рабиновича и других, не имевших возможности правдиво осветить как работу кружка, так и точный его состав. Благодаря этому к составу кружка были причислены Любавский, Румянцев, Лисовский и многие другие, никогда к нему не принадлежавшие. Я не раз принимался за чтение этого обвинительного акта, но всякий раз вскоре же бросал чтение. Так обвинительный акт и остался мною недочитанным.

Свидание с братом, первое за время почти четырехлетнего заключения, добытое им после невероятных усилий и хождений по мытарствам[1], сильно взволновало меня и воскресило в памяти образы всех моих домашних. Отрывочный, получасовой разговор, с перескакиванием с одного предмета на другой и под недреманным оком наблюдающего чина, не мог, конечно, исчерпать всего, что хотелось знать и что волновало меня. Неудовлетворенный и взволнованный приходом в мертвое царство одного из мира живых, я долго не мог успокоиться и привести себя в обычную норму после этого свидания.

Летом же этого года в крепость стали доходить до нас, сначала смутные, слухи о так-называемой Боголюбовской истории. Возмутительная история эта, разыгравшаяся в Доме предварительн. заключения, путем перестукивания постепенно выяснялась нам все больше и больше, но реагировать на нее в том или другом виде, за крайней трудностью наших сношений между собою, мы так и не могли. Со всеми же подробностями этой истории, с наказанием Боголюбова розгами за неснятую им перед Треповым шапку, с бунтом заключенных и расправой с ними при помощи отряда городовых—мы узнали только, когда перед началом суда нас снова собрали в Дом предвар. заключения. Но тогда это было уже делом прошлым, сидящая публика уже давно успокоилась и ждала заслуженного возмездия Трепову со стороны воли.

[1] Это хождение по мытарствам, чтобы добиться разрешения на свидание со мной, живо описано им самим в статье «Братья Уржумовы», помещенной в «Каторге и Ссылке» за 1926 г. № 1, стр. 81—88.

XII.

Подготовка к процессу. Потеряв веру в суд, не защищаться думают многие, а лишь осветить надлежащим образом дело перед обществом, для чего требуется полная гласность суда. Сомнения, что таковая будет допущена. Начавшийся уклон, вследствие этих сомнений, в сторону полного отказа от участия в процессе. Жизнь в это время в Доме пред. заключения. Свидания с Кувшинской и Перовской. Я делаюсь почтарем по передаче записок из мужского отделения тюрьмы в женское и обратно. Начало суда. Ожидаемой гласности нет. Разделение на группы. Безрезультатный протест подсудимых и защиты. Отказ большей части подсудимых от защиты и участия в суде. Неожиданный перевод многих протестантов в крепость. Захват у меня при этом переводе записок, предназначенных для женской тюрьмы. Освобожденная Кувшинская добивается разрешения на брак со мной, каковой и совершается в церкви Дома пред. закл. Приговор по процессу особого присутствия сената и ходатайство последнего о смягчении наказания. Жизнь в крепости после суда. Две голодовки. «Наше завещание». Заковка в кандалы и отправка на Кару.

Как уже сказано было выше, незадолго до начала суда все подсудимые, раскиданные по разным тюрьмам, были сосредоточены в Доме предвар. закл. Туда же были переведены и мы из крепости. В это время в нем уже все были заняты предстоящим процессом, усердно изучали обвинительный акт, отмечая в нем все извращения, и готовили речи, которые должны быть произнесены на суде. Не о защите думали многие, а лишь о том, чтобы надлежащим образом осветить дело, которое нас привело на скамью подсудимых, перед широкими кругами общества. Вера в суд, в его справедливость и беспристрастие была уже потеряна; почти все были уверены, что самый суд—лишь одна видимость, что приговор уже заранее составлен в III отделении и суд лишь приложит к нему свой штемпель. Но для освещения дела перед обществом прежде всего требовалась полная гласность процесса и стенографические отчеты о заседаниях суда, что в свое время имело место на политических процессах: Нечаевском, «50-ти» и некоторых других. К сожалению, уже в это время смутные слухи, доходившие до нас, говорили нам, что желаемой гласности не будет и суд пройдет в со-

вершенно необычных условиях. Это были пока лишь слухи и предположения, не имеющие под собою твердых оснований, но и они уже волновали нас и склоняли к мысли о полном отказе от участия в судебной процедуре. «Пусть решают дело, как хотят,—говорили мы,—но без нас и без наших защитников,—мы свой *штемпель* к беззаконному суду своим участием в нем не приложим!». Окончательных же решений по этому вопросу пока вынесено еще не было.

Жизнь в Доме предвар. закл., когда нас туда снова перевели, в особенности после сурового крепостного режима, не могла не поразить меня всем тем, что я там нашел. Переполненный до краев в большинстве политиками, Дом предвар. закл. представлял какую-то автономную общину с своими порядками и правами. приобретенными предыдущей борьбой, на которые уже не дерзало покушаться высшее начальство. Откровенное перестукивание не прекращалось, клубы заседали почти непрерывно, не менее откровенно велась и переписка между заключенными при содействии уголовных или самих надзирателей. Но всем этим тюрьма уже не удовлетворялась. Во многих камерах рамы были сняты, благодаря чему заключенные, усаживаясь на подоконнике, могли не только свободно видеть, но и переговариваться с выводимыми на прогулку арестантами или с соседями и даже с заключенными, помещавшимися на противоположной стороне тюремного корпуса. Мало того, все наружные стены камер, выходящих во двор, были переплетены веревками, именуемыми конями, при посредстве которых происходила передача из одной камеры в другую книг, записок, с‘едобного, одежды и пр. Позднее, из окна своей камеры Мышкин, после выступления его на суде, страстным и сильным голосом повторил товарищам по заключению свою речь, сказанную на суде.

Попав в такие совершенно необычные для меня условия жизни, я в первое время со всем пылом человека, изголодавшегося по обществу живых людей, отдался этой жизни, но очень скоро обнаружилось, что такая нервная жизнь не для меня. Просидев почти 4 года в строгом одиночном заключении, я настолько отвык от людей, что общение с ними скоро утомляло меня, и я был рад, когда снова оставался только сам с собой. Поэтому без особой нужды я и избегал прибегать к тем или иным способам сношений с товарищами по заключению, имеющимся в таком обилии в моем распоряжении.

Здесь, в Доме предв. закл., неожиданным для меня сюрпризом было разрешение свиданий с А. Д. Кувшинской, которая сидела тут же, в женском отделении, и тоже заканчивала уже 4-й год своего заключения. В качестве моей невесты она добилась этого разрешения, и мы регулярно стали видеться в дни свиданий в церковной клетушке, где обычно помещались секретные арестанты во время церковных служб. Целые почти 4 года я не видал ее, не

знал, что с ней, хотя и знал, что она арестована, поэтому понятны та радость и то волнение, которые я испытал, когда шел на первое свидание с ней! Что я найду, какие перемены увижу в ней и в ее душевном состоянии после столь длительного заключения, зная при этом, что она никогда не отличалась особенно крепким здоровьем? Но каково же было мое удивление, когда она предстала передо мной бодрой, веселой и жизнерадостной, как бы все это время она прожила в наилучших условиях и не переживала долгих и мучительных дней одиночного заключения! Уверенный, что мне пощады не будет, что фактически жизнь мою нужно уже считать конченной, я и этот наш личный вопрос тоже считал уже завершенным, а потому и никаких планов на совместное будущее не строил. А. Д. на этот счет была совершенно другого мнения, ее не покидала вера, что все это как-то устроится, и мы снова будем вместе, что бы ни готовило нам будущее. Не желая портить ее радостного настроения, я до поры, до времени не хотел ее разочаровывать и не пытался заставить ее взглянуть на это наше личное дело более трезво, чем смотрела она. Мы жили во время наших коротких, но всегда радостных свиданий настоящим, не думая о будущем, обмениваясь впечатлениями о прожитых годах, сообщениями о близких нам людях и мнениями о предстоящем процессе и о поведении нашем на суде. Она была так же решительно настроена относительно предстоящей судебной комедии, как и многие из нас.

Пользуясь моими регулярными свиданиями с Кувшинской, о которых, конечно, тотчас же стало известно всем, публика мужского отделения в дни наших свиданий всякий раз передавала мне кучу записок для сидящих в женском отделении; эти записки я передавал Кувшинской, а последняя рассылала по принадлежности. В свою очередь и она снабжала меня тем же для мужского отделения. Таким образом, установились правильные сношения с женской тюрьмой регулярно два раза в неделю. Обычно записки эти я заталкивал за голенища своих высоких сапог, в которых я тогда ходил в Доме предвар. заключения. Все до поры до времени в этих почтовых сношениях было благополучно, и число записок с каждым разом все увеличивалось.

В этот же промежуток времени моего пребывания в Доме предв. закл., тянувшийся около месяца, раза два или три я вызывался на свидания с Перовской, которой удалось каким-то образом получить разрешение на таковые. Свидания эти происходили в коридоре 5 этажа мужского отделения тюрьмы, где, за неимением мебели, мы попросту усаживались на полу и беседовали. Перовская приходила с воли, всегда нагруженная передачей, и могла сообщить мне много нового из того, что творилось на воле. За эти 4 года внешне она мало изменилась и была попрежнему мила и сердечна. Бодрость ее не покидала, хотя, несомненно, сердце ее

болело за судьбу заключенных товарищей по делу, участь которых в то время была еще покрыта полной неизвестностью.

Наконец, наше бесконечное ожидание суда закончилось. Наступило 18 октября 1877 г.—начало нашего процесса, когда всем нам пришлось предстать перед судом особого присутствия сената, долженствовавшего по высочайшему повелению заняться разбором нашего дела и вырешить нашу дальнейшую судьбу. Поэтому должно быть вполне понятно то волнение и то нетерпение, с каким мы ждали наступления этого дня, когда мы, раз'единенные долгим предварительным заключением, снова будем вместе и когда все волнующие нас вопросы, связанные с судом, будут, наконец, разрешены в том или ином направлении. Суд ведь, это—заключительный аккорд всей нашей драмы, по которому широкие круги общества будут судить как о нашем деле, так и о нас самих, непосредственных участников его. Мы прекрасно знали, уже судя по обвинительному акту, что противная нам сторона в лице прокуратуры приложит все старания не только к тому, чтобы добиться для нас сурового приговора, но, может быть, еще больше к тому, чтобы опорочить наше дело и нас самих и тем отвратить общественные симпатии, питающие начавшееся движение, от того и других. И те из нас, которые отчетливо сознавали все общественно-политическое значение предстоящего процесса, столь исключительного и по числу подсудимых, и по долговременной его подготовке, сопряженной с гибелью уже многих десятков подсудимых в ожидании суда,— мало или совсем не заботясь о своей личной участи, все свое внимание сосредоточивали лишь на том, чтобы взять правильную линию поведения на суде и тем достойным образом завершить свое дело. В зависимости от условий, в каких будет совершаться судебный процесс, должно было определиться и наше поведение на суде. Если он, этот суд, будет протекать в условиях полной гласности, определяемой нашими законами, в каких уже и протекали многие из наших предыдущих политических процессов, то мы выступим с откровенным исповедыванием своей веры и с изложением всех мотивов, побудивших нас вступить на революционный путь, а вместе с тем и с изобличением всей лжи и наветов обвинительного акта, предназначавшихся для нашего вящшего опорочения. В противном же случае нам нечего будет делать на суде, и пусть он совершается, как ему будет угодно, пусть шельмует нас и произносит какие ему вздумается приговоры, но без нашего участия в этом беззаконном суде, лишающем нас единственной и последней возможности засвидетельствовать перед обществом, что мы такое и чего добиваемся, идя нелегальными путями на неизбежное заклание. В этом последнем случае мы знали и были уверены, что общественные симпатии будут на нашей стороне. И наш протест против беззаконий суда, и наше вынужденное безмолвие, и, наконец, эта очевидная боязнь гласности процесса,

сопряженная с явным нарушением закона,—все будет говорить не в пользу правительства, руководившего действиями суда, и вызовет вполне законное возмущение против него самого. Такова была дилемма перед самым процессом, разрешить которую предстояло нам в ближайшие же дни.

Утром 18 октября защелкали замки в наших камерах, и нас стали выводить в нижний коридор Дома предв. заключения, где всех нас, участников процесса, выстроили правильной и длинной колонной, по бокам которой в свою очередь выстроился едва ли не целый дивизион вооруженных жандармов с обнаженными саблями. Начальник конвоя прочел грозную инструкцию, по которой мы были обязаны беспрекословно подчиняться всем распоряжениям конвоя, имеющего право в случае нашего сопротивления или попытки к побегу прибегнуть к холодному или даже огнестрельному оружию.

По выполнении этой формальности все мы внушительной процессией двинулись, одни—бодрой поступью, другие—истомленные и больные, едва волоча свои ноги, в смежный с Домом предв. заключения окружный суд, в помещении которого должно было рассматриваться наше дело и куда мы добрались через какой-то подземный ход, соединяющий оба эти учреждения.

Довольно обширный зал суда сразу же весь заполнился 193 подсудимыми и 28 нашими защитниками, так что для публики уже не оставалось места. Последней фактически и не было, если не считать 5—6 ближайших родственников некоторых из подсудимых. А, между тем, каждый из подсудимых по закону имел право дать доступ на заседание суда до 3-х человек, о чем при создавшихся условиях нечего было и думать. Не было места в зале суда и для конвоя, который остался за пределами ее и лишь частью ютился во входных дверях. Сановная же публика разместилась за судейскими креслами.

Уже эти первые впечатления от обстановки суда не внушали нам доверия в соблюдение необходимых законных форм гласности судопроизводства, что при самом же открытии заседания дало повод присяжному поверенному Спасовичу от имени всей защиты заявить, что заседание происходит при закрытых дверях. Спасович ходатайствовал, в виду недостаточности помещения для публики, приискать другое, более вместительное, на что от первоприсутствующего Петерса получил в категорической форме ответ, что заседание публичное, что в зале присутствует и публика, а потому ходатайство защиты не подлежит удовлетворению.

Все это на первых порах нас не особенно трогало. Мы, разместившись по преимуществу в задних рядах, предназначенных для публики, заняты были радостной встречей с своими старыми друзьями, с которыми, раз'единенные тюрьмою, не встречались по 3 и по 4 года. Шумные приветствия, об'ятия, вопросы о здоровье,

о настроении и беглый отрывочный разговор наполняли зал суда непрерывным гомоном, как в пчелином улье. Приведенные на суд, мы не могли спокойно сидеть и перемещались с места на место, чтобы встретиться и приветствовать все новых и новых своих товарищей. И на торжественно заседающих за большим парадным столом судей-сенаторов в их парадных одеждах, украшенных лентами и орденами, мало кто обращал внимание, благодаря чему первоприсутствующему стоило большого труда, хотя на время, устанавливать относительное спокойствие.

По окончании опроса подсудимых о звании, вероисповедании, летах и местожительстве, не помню кем было обращено внимание суда на то, что в заседании отсутствуют стенографисты, на что первоприсутствующий ответил, что таковые будут приглашены, а полные стенографические отчеты о ходе дела будут печататься в «Правительственном Вестнике». Затем один из подсудимых, И. Н. Чернявский, указав на то, что заседания суда, вопреки раз'яснению первоприсутствующего, будут по недостатку помещения фактически закрытыми, а не публичными, что для подсудимых существенно важно, то они и находят излишним присутствовать на суде и отказываются от дальнейшего участия в нем. Заявление это было поддержано и многими другими.

Возмущенный таким заявлением Чернявского, сделанным в резкой форме, первоприсутствующий распорядился удалить его из зала суда. Но когда приступлено было к исполнению этого распоряжения, то весь зал заволновался: «Пусть выводят всех, мы все разделяем это мнение!»—раздались громкие крики со всех сторон, хотя в то же время нашлись немногие из числа подсудимых и такие, которые заявили, что мнение Чернявского не разделяют и будут участвовать в суде.

Положение первоприсутствующего при создавшейся обстановке оказалось чрезвычайно затруднительным: удалить огромное большинство подсудимых из зала суда было невозможно и вызвало бы большой скандал, но и отменить только-что сделанное постановление об удалении Чернявского тоже было неудобно для престижа власти. Поэтому Петерс вышел из затруднения, распорядившись вызвать конвой, удалить всех подсудимых и закрыть заседание суда до следующего дня.

Этот первый день суда, бурно закончившийся, уже достаточно наглядно показал, что на гласность процесса рассчитывать трудно или даже невозможно. Показал он в то же время в инциденте с Чернявским, что настроение многих подсудимых, если не большинства, боевое, готовое на самый решительный протест против беззаконий суда.

На другой день заседание суда не могло состояться. Передавали, что весь этот день суд совещался с представителями правительства о дальнейшей тактике суда: пойти ли на уступки и восстановить

законные формы судопроизводства и тем лишить подсудимых и защиту всяких поводов для дальнейших протестов, или же, невзирая ни на что, продолжать начатую уже тактику ограничений и беззакония и дальше. Последнее мнение, очевидно, одержало верх, так как все последующее поведение суда свидетельствовало об этом.

Когда 20 октября нас снова привели на второе заседание суда, то обстановка последнего была та же, что и на первом, с тою лишь разницей, что недалеко от судейского стола сидела пара стенографисток—одна от суда, другая от защиты. Публики не прибавилось.

В этот день суд приступил к чтению составленного товарищем прокурора Желеховским обвинительного акта; чтение его закончилось лишь на 5 заседании суда. Чтение обвинительного акта, длившееся так бесконечно долго, никто из подсудимых не слушал. Многим он был уже известен, да им было и не до него. Все эти дни наголодавшиеся по обществу живых людей подсудимые заняты были продолжением бесед с своими друзьями, знакомством с новыми товарищами по делу, а, главным образом, обсуждением вопроса об отношении к суду и необходимости согласованного протеста. Уже за эти первые дни заседания суда все больше и больше выяснялось, что гласность процесса—лишь пустой звук, а заявлениям и обещаниям первоприсутствующего верить нельзя. Отчет о первом заседании суда, появившийся в «Правительственном Вестнике», был далеко не полон, односторонен и лжив. Когда же об этом в одно из последующих заседаний было указано суду, то получился ответ, что полный стенографический отчет будет дан уже после окончания процесса, т.-е. тогда, когда будет некому сделать к нему необходимые поправки и восстановить истину. Благодаря всему этому, оппозиционное настроение подсудимых нарастало. В зале заседания стоял неумолкаемый гул голосов и передвижение подсудимых. Попытки первоприсутствующего водворить тишину и порядок были тщетны, а голос секретаря, читавшего обвинительный акт, тонул в море других голосов. И вот, в одно из таких заседаний, с возвышенного места, прозванного нами Голгофой, где сидела небольшая группа наших товарищей, вдруг раздался резкий, повелительный и страстный голос, невольно приковавший к себе общее внимание. В зале водворяется мертвая тишина. Это Ипполит Мышкин делает свое заявление, бросая по адресу суда резкие обвинения. И суд, и защита успокаивают его, ссылаясь на то, что теперь не время для заявлений и что в свое время он будет иметь возможность сделать таковое. Общими усилиями Мышкина удается успокоить, и он садится, не окончив того, что хотел сказать.

К концу 5 заседания чтение обвинительного акта, наконец, было закончено, и суд должен был уже перейти к судебному следствию. Но прежде, чем сделать это, первоприсутствующий оглашает постановление, состоявшееся еще 11 октября в распорядительном

заседании сената, которое своим беззаконием вызывает единодушное возмущение подсудимых и защиты и не менее единодушный протест тех и других.

Обвиняя нас всех в составлении единого тайного общества в целях революционной пропаганды в империи и ниспровержения существующего порядка, особое присутствие в своем распорядительном заседании, лишь по мотивам тесноты помещения, делит нас на 17 самостоятельных групп, судебное следствие по которым должно вестись уже отдельно! То, о чем доходили до нас смутные слухи, волновавшие нас, чему, однако же, благодаря их маловероятности, мы плохо верили, становилось совершившимся фактом. На запросы защиты, окончательное ли это постановление и подлежит ли оно обсуждению, получается категорический ответ, что постановление окончательное и обсуждению не подлежит. После этого заявления в зале суда творится нечто невообразимое. Подсудимые, взволнованные столь явным беззаконием и нарушением их существенных интересов, бурно выражают свое негодование и протесты, вскакивают на стулья, и по адресу суда со всех сторон сыплются нелестные и явно оскорбительные эпитеты. Защита также не остается пассивною и в свою очередь, не менее возмущенная действиями суда, усердно поддерживает протесты подсудимых. В зале водворяется полная анархия. Крики и угрозы первоприсутствующего тонут в общем шуме, не оказывая никакого воздействия на подсудимых.

Эта бурная сцена закончилась вводом в зал заседания, по распоряжению суда, отряда жандармов с обнаженными саблями, окруживших нас со всех сторон и приступивших к очистке зала от подсудимых. Но и удаляясь под эскортом жандармов, многие из нас еще продолжали посылать по адресу суда гневные протесты и оскорбительные слова. Истерики и даже обмороки были следствием этой дикой сцены среди немногочисленной публики, присутствовавшей при ней.

Ошеломленные всем происшедшим и совершенно растерявшиеся члены особого присутствия вместе с прокурором Желеховским поспешно оставляют зал заседания, забыв даже закрыть его. В опустевшей зале демонстративно остались лишь наши защитники, не считавшие себя в праве удалиться без формального заявления первоприсутствующего о закрытии заседания.

Наши защитники позднее передавали нам, что после вышеописанного скандального инцидента члены особого присутствия оставались некоторое время в своей судейской комнате, а защита— в зале заседаний, при чем последняя через судебного пристава довела до сведения суда, что она без формального закрытия заседания суда в присутствии сторон не считает себя в праве покинуть свой пост. Создалось, таким образом, еще новое и весьма конфузное для суда положение, и неизвестно, чем бы оно кончилось, если бы

в конце-концов защита не пошла на уступки. Приглашенная в судейскую комнату, она, после новых бурных сцен и взаимных обвинений, наконец, сдалась, удовлетворившись, за неимением другого выхода из создавшегося положения, личным заявлением первоприсутствующего о закрытии заседания. По словам защитников, члены присутствия, и в особенности прокурор Желеховский, обвиняли их в подстрекательстве к революционным выходкам и к бунту подсудимых, а защита, в свою очередь, обвиняла суд в откровенном нарушении всех законных форм судопроизводства и в беззастенчивом нарушении интересов подсудимых.

Так закончился этот день, достопамятный в истории нашего политического суда. И, вероятно, члены особого присутствия не раз потом искренно жалели, что, исполняя волю пославших их, пошли по столь ложному и скользкому пути, приведшему их к позору и вполне заслуженному поруганию.

Эти же события, давшие твердое основание для протеста, послужили и на пользу подсудимым, окончательно укрепив большинство из них в решении бойкотировать суд. Всякие колебания, у кого они еще были, были отброшены. По нашем возвращении в наши камеры тотчас же начался оживленный обмен мнениями об окончательной формулировке протеста, для чего были пущены в ход все имевшиеся в нашем распоряжении способы сношений между нами: окна, клубы, наши «кони» и перестукивания. В существе дела эта формула протеста была уже заранее предрешена и выработана, и теперь лишь оставалось окончательно ее закрепить. Она была проста и приемлема для всех, кто примыкал к бойкоту, и заключалась в следующем: каждый из протестантов, по приводе на суд, должен был заявить, что он приведен на суд, лишь уступая силе, что он отказывается по таким-то и таким-то мотивам от всякого участия в суде, как лично сам, так и через своих защитников, и требует немедленного его увода обратно в тюрьму.

К бойкоту суда примыкает большинство подсудимых. В числе же непримкнувших к нему остаются лишь предатели и люди слабые и случайные, которые боялись протестом отягчить свою участь, и затем те немногие, как Ипполит Мышкин, не имевшие силы воздержаться, чтобы еще раз публично не бросить своим палачам всю горькую правду о них самих и их позорных деяниях.

На другой день предстояло рассмотрение дела первой группы (27 человек), в состав которой были отнесены все, по преимуществу петербургские, чайковцы, со включением сюда же и посторонних им лиц, но принимавших участие в их оговорах. Чайковцы были единодушны в своем решении бойкотировать суд, за исключением лишь одной Ободовской, не пожелавшей, по неизвестным мне причинам, примкнуть к протесту.

Таким образом, нашей группе предстояло открыть кампанию и проложить путь для остальных. На суд нас на этот раз уж вы-

зывают поодиночке. Когда очередь дошла и до меня, то на приглашение отправиться в суд я отвечаю отказом, после чего мне заявляют, что приказано привести и силой. Силе я подчиняюсь и следую за конвоем тем же путем, каким и раньше водили нас в суд.

Зал суда на этот раз представляет совершенно другую картину, чем в предыдущие дни. Там было тихо и пустынно, но, несмотря на простор, посторонних лиц было не больше, чем раньше. Мое внимание невольно сосредоточивается на скамьях подсудимых, на которых, к моему немалому удивлению и смущению, среди других сидели Перовская, Кувшинская, Корнилова, Гауэнштейн, Тихомиров и Шишко, которые, как протестанты, после их категорического отказа от участия в суде, должны бы находиться уже в своих камерах, а не в зале заседания суда. Что же это значит и почему они остаются здесь? Но раздумывать некогда. Петерс уже обращается ко мне с вопросом. Я отвечаю ему в духе общепринятой нами формулы и требую удаления меня из суда, на что со стороны первоприсутствующего последовал лаконический ответ: «Садитесь!». Полный недоумения от такого финала моего протеста, я усаживаюсь и жду, что будет дальше, а вместе с тем и начинаю понимать, почему и другие мои товарищи-протестанты находятся еще тут же.

За мной следует Франжоли, которого после его протеста постигает та же участь, а за Франжоли—Волховский с теми же результатами. Но этому последнему прежде, чем усесться на указанном ему месте, удается все же произнести перед самым носом особого присутствия маленькую, но остроумную и ядовитую речь, сказанную в корректных выражениях, неоднократно прерываемую, однако же, Петерсом. Затем в последовательном порядке проходят перед судом подсудимые: Зубов, Стаховский, Купреянов, Зарубаев (рабочий), Ярцев, Гриценков и Лукашевич—все протестанты, которых так же, как и нас, усаживают по местам.

Выясняется, что Синегуб, Рогачев и Рабинович уже приводились на суд, и им одним лишь посчастливилось быть удаленными из него.

Формальный опрос подсудимых 1 группы окончен, и суд приступает к судебному следствию, для чего в зал суда вводятся уже и свидетели. Волнение наше растет. Мы могли еще оставаться в зале заседания, пока шли заявления протестов наших товарищей, но оставаться далее, когда начинается уже судебное следствие, было уже нельзя, не изменяя себе и нашим товарищам по протесту. Насильственное удержание подсудимых на суде заранее предусмотрено не было, и нам предстояло найти какой-то выход из создавшегося для нас крайне неприятного положения. Вот именно в этот-то критический для нас момент поднимается один из наших товарищей, не помню уже кто именно, и делает прибли-

зительно следующее заявление: «Суд уже выслушал заявления большинства подсудимых о нашем нежелании принимать какое бы то ни было участие в судебном процессе, а, между тем, нас насильственно заставляют делать это. И нам, чтобы быть удаленными из суда, остается лишь единственный выход, прибегать к которому без крайней необходимости нам бы не хотелось, это—устроить какой-нибудь дебош или нанести новое оскорбление суду, тогда последний уже в силу необходимости должен будет удалить нас. Поэтому мы еще раз обращаемся к суду с нашим требованием о немедленном нашем удалении из суда».

Перед такой альтернативой особому присутствию ничего более уже не остается, как спасовать. Но у первоприсутствующего, видимо, все еще тлеет надежда, что не все подсудимые присоединятся к только-что сделанному заявлению, когда он предлагает всем желающим удалиться выйти на средину зала, а нежелающим— оставаться на своих местах. Вслед за этим предложением в зале снова волнение, скамьи подсудимых быстро пустеют, и на них остаются лишь 6—7 человек во главе с Низовкиным. Но делать нечего, приказ об удалении протестантов отдается, и нас, наконец, уводят.

Что дальше делается на суде—мы уже не знаем, но каждое утро, перед началом заседания, пока тянулось дело 1 группы, отворялась дверная форточка и нас неизменно спрашивали: желаем ли мы итти на суд. На что получался столь же неизменный ответ: «Не желаем!». К силе уже не прибегали.

В этот же первый день разбора дела нашей группы, при открытии заседания, разыгралась и бурная сцена между судом и защитой. Когда присяжный поверенный Александров огласил письменный протест от имени всей защиты по поводу беззаконного разделения подсудимых на группы, то вслед за этим тов. прокурора Желеховский набросился на защиту, снова обвиняя ее в подстрекательстве подсудимых. Само собой, что защита в свою очередь не осталась в долгу. Следует вообще заметить, что поведение защиты в нашем процессе было вполне достойное, она шла с подсудимыми все время рука об руку и немало содействовала увеличению политического значения нашего процесса и влияния его на общественные круги.

Нужно ли говорить, что пережитые волнения первых шести дней нашего процесса сильно утомили меня и не менее сильно потрепали мои нервы. Поэтому я был бесконечно рад, что, наконец, нас оставили в покое и я могу снова оставаться один и привести себя в норму. Всякий раз, радостно идя на суд, где предстояла встреча с близкими людьми, с которыми было о чем поговорить, я, после четырехлетней одиночки и отвычки от людей, быстро утомлялся от общения с ними и уже ко второй половине дня только и думал о том, когда же, наконец, меня снова отведут в мою камеру и оста-

вят одного с самим собою. Очевидно, порция общения с людьми, преподносимая мне, была слишком велика, переварить ее я уже не мог. Не легко было сознавать свою негодность для жизни, возврата к которой, впрочем, и не предвиделось, но, с другой стороны, сознание честно исполненного гражданского долга давало душевное успокоение и позволяло совершенно спокойно смотреть в глаза нерадостному будущему.

После нашего устранения от участия в процессе жизнь в Доме пред. закл. текла попрежнему, но, может быть, в несколько более повышенном темпе благодаря тому, что для большинства подсудимых главное, что занимало всех, было еще впереди. Кроме того, у нас была еще и новая забота. Так как отчеты о заседаниях суда были попрежнему однобоки, кратки и неправдивы и так как в обещанный стенографический отчет никто у нас уже не верил, то нужно было озаботиться об информации общества более надежным способом, для чего и было приступлено к собиранию материала о ходе процесса и обработке его для нелегальной печати. Камера Тихомирова была той лабораторией, куда стекались все относящиеся к делу материалы. Связь же с волей поддерживалась при посредстве свиданий, каковые в это время разрешались много свободнее, чем раньше. При посредстве этих же свиданий а также и через наших защитников, от которых еще не все успели отказаться, происходила информация нас о том, что делается на воле и какое создается там настроение.

Продолжались и мои свидания с Кувшинской, еще попрежнему содержавшейся на женской половине Дома предвар. закл. Попрежнему ко дню этих свиданий со всего мужского отделения тюрьмы ко мне стекается масса записок для передачи на женское отделение. Так было и 11 ноября—очередной день наших свиданий. Обычно эти последние происходили довольно поздно, и я уже ожидал, когда щелкнет замок и отворится дверь, чтобы отвести меня в церковную клетушку, где происходили наши свидания. К выходу у меня все было готово, а тюремная корреспонденция, особенно обильная в этот день, уже была размещена за голенищами сапог. Но в этот день дверь почему-то долго не отворяется; я уже начинаю терять терпение и волноваться, не понимая, что все это значит. Но вот, наконец, она открыта, и я кидаюсь к выходу, но меня удерживают и предлагают собрать мои вещи. Это означало, что вместо свидания меня куда-то переводят или увозят. Но куда и зачем—мне никто не может или не желает об'яснить. Обескураженный и взволнованный столь неожиданным оборотом дела, я рассеянно собираю свои вещи, не переставая думать, что мне делать с моими записками, как их извлечь на глазах стражи и куда их девать. Я умышленно затягиваю свои сборы в надежде, не представится ли какая-нибудь возможность покончить с ними, но стражи не отходят и уже начинают меня торопить.

Делать нечего—приходится кончать мои сборы. Меня уводят, и скоро я попадаю в какую-то довольно большую комнату, полную народа. Вглядываюсь и вижу Волховского, Рогачева, Синегуба и многих других—все протестанты нашей 1 группы, дело которой к этому времени уже было закончено судом. Как молния, мелькает мысль: «нас будут сечь!». Обозленные власти, думается мне, хотят отомстить нам за тот позор, который они переживают в связи с нашим процессом, и в лице нашем намерены дать урок остальным, чтобы не забывались. Оказывается, что и другим та же мысль приходила в голову. Возбужденные и встревоженные, мы ждем, что будет дальше, а у меня еще эти записки! Но ждать долго не пришлось. Вскоре поодиночке нас стали куда-то уводить. Дошла, наконец, очередь и до меня. Когда меня вывели во двор, то у выходных дверей стояла уже карета, куда меня посадили, а вместе со мной села и пара жандармов. Все мое внимание направляется на то, чтобы определить направление нашего пути, и когда по мере нашего продвижения стало выясняться, что мы двигаемся в сторону крепости, то тревога, вызванная перспективой порки, стала ослабевать. Я долго сидел в крепости и никогда не слыхал, чтобы там кого-либо подвергали этой позорной экзекуции, а потому, думалось мне, не может же быть, что теперь это могло совершиться. Но сравнительно успокоившись с этой стороны, я еще с большей остротой почувствовал всю безвыходность моего положения в деле с записками. Я знал, что в крепости меня разденут и тщательно обыщут, и все содержимое моих сапог будет обнаружено и захвачено. Будь у меня одна-две записки, то, может быть, была бы еще возможность как-нибудь их уничтожить, но с двумя-тремя десятками их уже не было никакой возможности управиться. Предпринять же что-либо во время пути под зорким оком жандармов, следящих за малейшим твоим движением, тоже не было никакой возможности.

Вот мы уже в крепости. Меня вводят в кордегардию, где обычно производится приемка новых арестантов и совершается полное переоблачение. Смотритель, его стража и десятка полтора солдат встречают меня. Мне предлагают совершить переодевание. В надежде еще оттянуть роковой момент, я, ссылаясь на свою простуду и холод в кордегардии, прошу совершить этот обряд переодевания в моей камере, но в этом мне категорически отказывают. Меня усаживают и начинают разоблачать. Когда очередь дошла до моих сапог, то по мере снимания их из них, как горох, посыпались разного вида и формата злополучные записки, на которые тотчас же набросилась стража и тщательно подобрала их, не давая в то же время мне двинуться с места. После тщательнейшего затем обыска, меня, совсем обескураженного и переодетого уже в казенное белье, халат и туфли, уводят и запирают в той же камере, в которой я уже сидел и раньше.

Никакой экзекуции над нами совершено, разумеется, не было, и власти ограничились лишь переводом нас в более худшие условия. Но отобранные у меня записки немало мучили меня и еще долго не давали мне покоя, пока я, наконец, не убедился, что содержание их, в общем, было невинно, и я своим провалом никому не причинил никакого ущерба. Все они, само собой, оказались в руках прокуратуры и, вероятно, приобщены к делу. Однажды даже, в непосредственной связи с этими записками, я был вызван тов. прокурора Шубиным, пред'явившим мне одну лишь из них, совершенно неполитического характера, но такого содержания, которое меня немало поразило... Зачем потребовалось пред'являть мне эту записку,—я не знаю и по сей день.

Итак, я снова в крепости. Снова началась наша крепостная жизнь, совсем не похожая на ту, которая текла в Доме предв. закл. Там непрерывное кипение и волнение, в особенности в связи с нашим процессом, который тянется без нас еще $2^1/_2$ месяца, а здесь—опять полная тишина и одиночество. Совершенно отрезанные от суда, где решается наша участь, мы уже ничего не знаем, что там творится, как-будто дело шло совсем не о нас, а о чем-то чужом и постороннем. Впрочем, это мало беспокоило нас, ведь, мы сами отреклись от этого суда, а теперь и он, в свою очередь, отрекся от нас, и не только отрекся, но и поставил нас в такие условия, что мы не имели уже возможности знать что-либо о нем. И лишь те немногие, кто имел еще свидания, иногда получали кое-какие сведения о том, что творится вне наших стен, и в свою очередь, когда представлялась возможность, делились этими сведениями с другими. Мои же свидания с Кувшинской, с переводом меня в крепость, само собой прекратились.

Между тем крепость постепенно пополнялась участниками нашего процесса, которых, по мере хода его, в том или ином числе переводили к нам. От этих-то вновь прибывающих мы кое-что и узнавали о дальнейших перипетиях процесса, между прочим, узнали мы и о знаменитой речи Мышкина, произнесенной им на суде и произведшей столь огромное впечатление и на судей, и на публику, и на общественные круги, имевшие возможность тем или иным путем ознакомиться с нею.

23 января 1878 г. процесс наш, тянувшийся 3 месяца и 5 дней, наконец, закончился. Не славу и не аплодисменты за спасение отечества принес он правительственным кругам и особому присутствию сената, судившему нас, а совершенно наоборот. И теми, и другими, благодаря своей близорукости и бестактности, кажется, сделано было все, чтобы отвратить от себя симпатии даже лойяльных людей и вызвать против себя почти общее негодование. Четырехлетние усилия почти всего правительственного аппарата по искоренению крамолы, которую хотели, было, демонстрировать перед обществом в устрашающем и непривлекательном виде, та-

ким образом, не только пропали даром, но дали как-раз обратные результаты. Демонстрация не удалась, и поругание крамолы и крамольников не состоялось. Фактически же все эти 3 месяца в этом устрашающем и непривлекательном виде демонстрировали себя не подсудимые, а правительственная власть и ее исполнительный орган—особое присутствие сената. В конце-концов это делается понятным даже и этому последнему, и оно, чтобы хотя до некоторой степени смягчить невыгодное для себя впечатление от скандально веденного им процесса, вынуждено было под давлением общественного мнения воздержаться от сурового возмездия и вынести относительно мягкий приговор. Часть подсудимых, поэтому, оправдывается, очень многим вменяется в наказание время предварительного заключения, и они освобождаются, а остальным, уже сравнительно немногим, особое присутствие назначает довольно суровое наказание в виде каторги и ссылки на поселение и в то же время возбуждает перед царем ходатайство о весьма значительном смягчении наказания, что, по установившемуся обычаю, в некотором роде для него уже делается обязательным. Не ходатайствует особое присутствие о смягчении наказания лишь одному Мышкину, отягчившему свое преступление покушением на убийство казака в Якутской области при его попытке освободить Чернышевского. Таким образом, из всех 193 ниспровергателей «существующего государственного и общественного порядка», по мнению особого присутствия, каторжных работ заслуживал лишь один Мышкин! Для правительственной власти это—опять новый скандал, примириться с которым она не может. Как же это так? Столько было грому и шуму о наступающей опасности государственному и общественному строю, столько было длительных усилий, чтобы предотвратить эту опасность, и в результате лишь один каторжанин! Поистине, гора родила мышь! Пока власти обдумывали, как им выйти из создавшегося затруднительного положения, все оправданные и те, кому было вменено в наказание время предварительного заключения, стали освобождаться из тюрьмы. В тюрьме остались лишь те, кто был присужден к более суровому наказанию.

В числе освобожденных, между прочим, была и Кувшинская, которая тотчас же после освобождения принялась хлопотать о разрешении брака со мною. Нелегкое это было дело для нее, но в конце-концов она все же добилась своего, и брак был разрешен. Для совершения обряда венчания я снова был переведен временно в Дом предв. закл., в церкви которого, по предварительном выполнении некоторых обрядностей, он и состоялся 12 февраля в присутствии лишь наших шаферов—присяжных поверенных Герарда, Бардовского и Боровиковского и помощника смотрителя Дома пред. закл. — Константиновского. Непродолжительное свидание после этого с Кувшинской, а теперь уже Ча-

рушиной, а затем — я снова в крепости, а она возвращается на свою вольную квартиру. Свидания эти в установленные дни продолжаются в крепости.

Во второй половине марта нам, наконец, об'являют приговор особого присутствия в окончательной форме, но вопрос о смягчении наказания по ходатайству последнего все еще остается открытым. Вместе с тем значительно смягчается и режим содержания нашего в крепости. Оставаясь запертыми в наших одиночных камерах, мы получаем право на совместные и много более продолжительные прогулки в нашем дворике. Перестукивания и даже разговоры с соседями через окна наших камер уже более не преследуются, допускается и свободный обмен книгами и пересылка доставляемого с воли провианта и лакомств из одной камеры в другую. В наших камерах появляется даже писчая бумага и письменные принадлежности, о чем раньше можно было лишь только мечтать. Все это делает нашу жизнь в крепости в эти последние месяцы пребывания в ней сносною, а в некотором отношении даже и приятною. Совместные прогулки наши всего больше доставляли нам это удовольствие. Здесь мы уже совершенно свободно, никем не стесняемые, могли ежедневно видеться не только с нашими старыми друзьями, но и с многими другими видными и интересными участниками нашего процесса, которых раньше знали лишь по имени или же мельком видели в первые дни судебных заседаний. Теперь мы уже имели полную возможность ближе сходиться, лучше узнавать друг друга, обмениваться взглядами, обсуждать большие и малые вопросы и даже принимать те или иные решения по разным житейским вопросам после совместного и предварительного их обсуждения. Но далеко не одни серьезные разговоры имели место на этих прогулках. Шутки и веселый смех нередко преобладали перед всем остальным, что свидетельствовало о бодром настроении заключенных. Нередко также в каком-нибудь укромном уголку нашего дворика можно было видеть довольно значительную группу лиц, собравшихся около неугомонных Ковалика и Войнаральского, развивавших перед слушателями свои фантастические планы побега из крепости. Но всегда портило настроение и настраивало нас на печальный лад, когда на прогулку выводили безнадежно больного Лермонтова, для которого выносили и кровать, так как ходить и даже сидеть он уже не мог; около больного также обычно собиралась группа лиц и занимала его разговорами, чтобы хотя временно отвлечь от печальных мыслей. При виде обреченного Лермонтова, еще не так давно здорового и бодрого, у каждого из нас невольно возникала мысль, что такой же удел готовится и ему. И, действительно, как бы в подтверждение этой мысли, в первой половине 1878 г. в уединении своей камеры неожиданно для всех скончался будто бы от воспаления брюшины М. В. Купреянов, так недавно

еще участвовавший в наших прогулках. Об этой смерти мы узнали тогда, когда все уже было кончено. Печальный и грустный он был последнее время, как бы предчувствуя свой конец. Вероятно, недавняя смерть его любимой сестры Нади так повлияла на его настроение. Смерть М. В., столь близкого нам и любимого, была большим ударом для всех его друзей, возлагавших на него, как на несомненно незаурядного и даровитого человека, большие надежды. А теперь лишь длинный список умерших во время производства следствия и суда по нашему делу увеличился еще одним человеком.

Кажется, в начале июня стал, наконец, известен и результат ходатайства особого присутствия по нашему процессу. Власти, а больше всего шеф жандармов Мезенцов и министр юстиции граф Пален, шокированные относительной мягкостью приговора по делу, на котором они надеялись сыграть большую игру, и злобствующие на участников процесса за тот афронт, который они на этом деле потерпели, настояли перед царем не удовлетворять полностью ходатайство особого присутствия и послать на каторгу не одного Мышкина, а 13 человек, по их мнению, наиболее вредных и опасных из состава подсудимых, вменив лишь им в наказание, согласно ходатайству суда, время предварительного заключения. В отношении же остальных приговоренных ходатайство суда было уважено.

В конечном результате каторжанский состав по нашему делу определился в следующем виде: Мышкин, Ковалик, Войнаральский, Рогачев, Добровольский и Муравский—приговоренные на 10 лет; Синегуб, Чарушин, Шишко, Союзов (рабочий) и Тимофей Квятковский—на 9 лет, Сажин и Брешковская—на 5 лет. Из этих 13 человек Добровольский, выпущенный на поруки под залог 5 тыс. рублей еще в период следственного производства, на суд не явился, скрылся за границу и был недосягаем, как был недосягаем и П. А. Кропоткин, также привлекавшийся по этому делу и бежавший еще в 1876 г. из Николаевского военного госпиталя после двухлетнего заключения. Но почему заочно судили одного и не судили другого, хотя по обстоятельствам дела оба они находились в одинаковых условиях,—осталось неизвестным.

Отказ царя в удовлетворении ходатайства особого присутствия не мир и успокоение принес с собою, а послужил лишь новым поводом для раздражения общественных и, особенно, революционных кругов. Начавшаяся с начала 70-х годов борьба с правительством и беспощадная расправа последнего с крамолою постепенно накаляли атмосферу и настраивали на более решительные выступления, чему, помимо поисков новых и более действительных способов борьбы, немало содействовало и естественно нараставшее чувство раздражения и желание мести за чинимые

правительством насилия. Несомненно, что и новый акт царя, в связи с другими аналогичными фактами, сыграл в этом смысле немалую роль, а выстрел Веры Засулич в градоначальника Трепова и затем торжественное оправдание ее присяжными лишь укрепляли в мысли, что и для ответа правительству за его насилия террористическими актами общественная атмосфера уже достаточно назрела.

Приблизительно около этого времени в крепости было получено нами извещение Кравчинского о его намерении учинить казнь над одним из виднейших царских насильников, шефом жандармов Мезенцовым. Другой жертвой, как слышно было, намечался сподвижник последнего, министр юстиции Пален. Насколько я припоминаю, план этот был встречен общим сочувствием, и, кажется, лишь один Синегуб энергично возражал против него, исходя из того, что такие террористические акты послужат во вред основному делу. В этом смысле он и ответил Кравчинскому, умоляя его отказаться от своих замыслов. Казнь Мезенцова, как известно, вскоре после нашей отправки в Сибирь и была совершена, а Пален спасся благодаря своему выходу в отставку.

Жизнь наша в крепости и после окончательного вырешения нашей участи протекала тем же порядком, что и раньше. Близкая перспектива каторги мало повлияла на наше настроение, мы о ней как-то не думали. И лишь один Муравский, самый старший из нас, прозванный нами «Дедом», переживший уже одну каторгу и теперь обреченный на вторую, как-то загрустил и стал много печальнее, чем раньше. Однако, всегда сдержанный и спокойный, он стоически все переживал в себе и никогда не позволял себе сетовать на свою судьбу, нерадостную в прошлом и уже ничего не обещающую и в будущем. Пережить новую каторгу, видимо, он уже не думал и, действительно, в скором времени он и погиб в центральной Харьковской тюрьме, куда вместе с некоторыми другими, осужденными по нашему процессу, был отправлен. Муравского все, кто хоть сколько-нибудь его знал, искренно любили и уважали.

Если, таким образом, предназначенная нам каторга встречена была нами спокойно, то не то было на воле среди наших друзей. Там сильно волновались, не могли помириться без боя с нашей участью и строили разные планы. Одни, как Кравчинский, как уже сказано было выше, горели желанием отомстить за нас, другие, как Перовская,—попытаться отбить при перевозке в центральные харьковские тюрьмы, куда предназначалось большинство из нас, а третьи, как наши жены—моя и Синегуб,—намеревавшиеся следовать за нами,—добиться разрешения на это, а вместе с тем и добиться отправки их мужей не в цетральные тюрьмы, где, как было известно, режим был ужасный, а на Кару, где были сравнительно лучшие условия, куда и по закону должны были напра-

ляться семейные, с чем, однако, власти в данном случае не хотели считаться. Поэтому у наших жен снова начались хождения по мытарствам в поисках путей, чтобы добиться намеченной цели. Но велико было упрямство Мезенцова, от которого зависело все. Всякий раз, когда моей жене и Синегуб удавалось получить свидание с ним, он отвечал решительным отказом, не желая избавить нас от централки, каковая, видимо, предназначалась и нам. Однажды он даже сказал моей жене, очевидно, усмотрев в ее словах какую-то угрозу: «если у вас есть герои, то есть они и у нас, и вы нас не запугаете!».

На наших свиданиях Анна Дмитриевна рассказывала мне о своих бесплодных мытарствах, при чем она, как и жена Синегуба, все еще не теряла надежды добиться своего. Я снова убеждал ее бросить это дело и не связывать свою судьбу с моею, но она, как и раньше, и слышать не хотела об этом. И, действительно, вскоре их настойчивость дала и другие результаты. Какими-то путями моей жене удалось добиться аудиенции у личного секретаря государыни—графини Толстой. Когда наши жены предстали перед этой последней, уже основательно предубежденной против женщин нашего круга, то она немало была удивлена при виде молодых и привлекательных женщин, добивающихся лишь того, чтобы и их, вместе с мужьями, отправили на каторгу. Очарованная беседой с пришельцами из другого, неведомого ей мира и их столь преданной и бескорыстной любовью, графиня приняла в их судьбе живейшее участие, и записка ее к Мезенцову решила все дело. Завязавшееся при столь исключительных условиях знакомство поддерживалось графиней Толстой с моей женой и дальше при посредстве дружеской переписки, когда мы были уже на Каре, а затем и на поселении.

Пока там, на воле, люди волновались и хлопотали в соответствии с своими заданиями, наша жизнь при новом крепостном режиме протекала в общем сравнительно тихо и гладко. Продолжались и наши общие прогулки. На этих прогулках чаще всего овладевал мною Волховский, к которому за время тюрьмы я искренно привязался. Он имел склонность делиться с близким и сочувствующим ему человеком своими переживаниями самого интимного характера. Хотя я этим последним свойством не обладал и свои переживания, как бы тяжки они ни были, никогда не выносил наружу, это не помешало Волховскому почему-то избрать поверенным его души именно меня, а не кого-либо другого из его многочисленных и преданных друзей. Иногда все наше прогулочное время уходило на эти его излияния. Видимо, Волховский очень ценил эту возможность перед близким человеком раскрывать свою душу, что и подало ему повод посвятить мне одно из своих тюремных стихотворений, вошедшее потом в сборник его стихотворений «Случайные Песни».

Последние месяцы нашей жизни в крепости протекали в ожидании нашей высылки—кого на каторгу, кого на поселение или на житье «в отдаленные» или «не столь отдаленные» местности Сибири.

За это время имели место события, о которых нельзя не сказать хотя несколько слов.

Вместе с нами, осужденными, пользовавшимися уже значительными льготами, находились и подследственные в лице снова появившихся на политическом горизонте Натансона, Тютчева, Габеля и некоторых других, которые льготами этими не пользовались. Некоторое время они жили смирно и волей-неволей подчинялись тому суровому режиму, какой был установлен в крепости для подследственных арестантов. Но, видимо, крепостной режим им стал невмоготу, и они потребовали себе приблизительно таких же льгот, какими пользовались мы, или перевода в другие тюрьмы, где режим был не столь ужасный, как в крепости. На домогательство Натансона и К° последовал категорический отказ. Тогда подследственные об'явили голодовку. Живя рядом с голодающими, нам уже невозможно было спокойно пользоваться столом, а вместе с тем, вполне сочувствуя их домогательствам, и мы, в свою очередь, желая поддержать их, тоже об'явили голодовку до тех пор, пока требования протестантов не будут исполнены. Узнав о нашей голодовке и понимая, что это не шутка, в особенности, для людей, совершенно истощенных продолжительным заключением, родственники наши и друзья на воле сильно заволновались и стали энергично бомбардировать властей и, в частности, Мезенцова. Последний на четвертый день голодовки, якобы в целях выяснения причин ее, посылает в крепость своего ад'ютанта, который смотрителем Богородским и был приведен в камеру Синегуба, у которого с Богородским установились добрые отношения. Здесь ад'ютант Мезенцова любезно беседует с Синегубом и даже соглашается с ним, что и он сам, будь он на нашем месте, не мог бы кушать, зная, что его соседи-товарищи голодают. Заявив Синегубу, что уравнять подследственных в льготах с нами, осужденными, невозможно, он спрашивает своего собеседника, прекратим ли мы голодовку, если подследственники будут переведены в другие тюрьмы? «Да, конечно!—отвечает последний,—тогда у нас уже не будет повода продолжать ее». После этого ответа ад'ютант уже уверенно заявляет, что подследственные в тот же день будут переведены. По уходе ад'ютанта Синегуб немедленно же оповещает своих товарищей о своем разговоре, и мы начинаем ждать результатов только-что нанесенного визита. И, действительно, некоторое время спустя слышится щелкание замков, усиленное движение в коридоре и шум под'езжающих к тюрьме экипажей. Стучат в камеры подследственных, но оттуда ни звука, значит,—увезли. Публика торжествует: «Победа одержана!». Вечером того же

дня голодовка была прекращена, и нам предложен обед, который мы, после четырехдневного поста, с жадностью голодных людей истребили, не без ущерба, впрочем, для наших желудков, по крайней мере, некоторых из нас.

Уже много позднее, к стыду нашему, мы узнали, что нас самым наглым образом надули. Подследственных, действительно, перевели, но перевели в Алексеевский равелин, т.-е. в гораздо худшие условия, чем в крепости, при чем голодовка переведенных продолжалась. И лишь один Тютчев, кажется, попал в более лучшие условия. Велико было наше негодование за этот подлый обман. Поднимался даже вопрос о возобновлении голодовки, но уже было слишком поздно для этого, да к тому же не было и полного единодушия в этом вопросе.

Время отправки нашей на места назначения приближалось, а вместе с тем приближалось и время окончательного ухода нашего из жизни, для некоторых, а может быть, для большинства— и навсегда. Поэтому, естественно, что у многих из нас должна была явиться мысль о каком-то акте, который бы должен был засвидетельствовать перед обществом и нашими товарищами на воле, что мы уходим из жизни не кающимися и сожалеющими о своей участи, но попрежнему бодрыми духом, верующими и призывающими наших единомышленников продолжать борьбу с ненавистным нам строем. Эта мысль, встреченная общим сочувствием, должна была вылиться в форме открытого письма—завещания за полными нашими подписями и напечатанного в одном из нелегальных изданий. Мы знали, что этот акт, исходящий от людей, уже лишенных всех прав и находящихся в полной власти правительства, может вызвать жестокую расправу с нами, но мы знали также, что он будет иметь известное общественное значение и что его нужно сделать, какие бы последствия от него ни были.

Письмо это, после тщательного обсуждения и поправок, вылилось в следующей редакции:

«Товарищи по убеждениям!

«Процесс русской народно-революционной (социально-революционной) партии официально закончен: так-называемый «приговор» в окончательной форме подписан, и официальной власти остается только отправить нас, осужденных, на каторгу и в ссылку,— по назначению. Уходя с поля битвы пленными, но честно исполнившими свой долг, по крайнему нашему разумению, уходя, быть может, навсегда, подобно Купреянову, мы считаем нашим правом и нашею обязанностью обратиться к вам, товарищи, с несколькими словами. Не придавая себе значения более того, какое мы имеем, мы будем говорить лишь в пределах той роли, какая наложена на нас извне. Официальная власть нашла для себя полезным сделать нас наглядным примером устрашения для людей одинакового с нами направления, путем лицемерного различия

в «мере наказания», быть может, средством развращения людей слабых, готовых руководиться в своем поведении не одним голосом совести, но и соображениями о личном благополучии. В силу этой невольной роли, мы чувствуем себя обязанными заявить, что никакие «кары» и «снисхождения» не в состоянии изменить ни на иоту нашу приверженность к русской народно-революционной партии.

«Мы попрежнему остаемся врагами действующей в России системы, составляющей несчастье и позор нашей родины, так как в экономическом отношении она эксплоатирует трудовое начало в пользу хищного тунеядства и разврата, а в политическом—отдает труд, имущество, свободу, жизнь и честь каждого гражданина на произвол личного усмотрения. Мы завещаем нашим товарищам по убеждениям итти с прежней энергией и удвоенной бодростью к той святой цели, из-за которой мы подверглись преследованиям и ради которой готовы бороться и страдать до последнего вздоха.

«P. S. Это заявление посылается нами за подлинными нашими подписями в редакцию «Общины» с просьбой опубликовать его, оригинал же сохранить, как доказательство верности и подлинности документа».

Далее под письмом следуют собственноручные подписи 24 осужденных, расположенные в алфавитном порядке, кроме подписи Брешковской, которая содержалась в другой тюрьме и просила присоединить и ее подпись. Подписи эти следующие:

«*Войнаральский*, *Волховский*, *Жебунев*, *Зарубаев*, *Квятковский*, *Ковалик*, *Костюрин*, *Ливанов*, *Лермонтов*, *Лукашевич*, *Макаров*, *Осташкин*, *Рогачев*, *Сажин*, *Синегуб*, *Союзов*, *Стаховский*, *Стопани*, *Чарушин*, *Чернявский*, *Чудновский*, *Шишко*, *Брешковская*.

Петропавловская крепость, 25 мая 1878 г.».

«Впечатление среди революционеров,—писала «Община»[1], — от этого «завещания» было, конечно, громадное...». Д. Л. Клеменц написал за своею подписью статью «По поводу завещания», которая оканчивалась словами: «ни казни, ни осадные положения не остановят нас на пути исполнения завещания наших товарищей— и оно будет исполнено!».

Выполнив свой последний гражданский долг, мы со спокойной совестью стали ожидать нашей отправки. Но спокойствие это недолго продолжалось. Наступил июль, нас стали вызывать поодиночке, измерять наш рост, описывать наши приметы, а затем скоро и отправили первую партию в харьковские централки, в которую вошли: Мышкин, Рогачев, Муравский («Дед»), Ковалик и Войнаральский. Наших жен, пожелавших следовать за своими мужьями, уже пригласили посидеть в Литовском замке, чтобы

[1] «Община» 1878 г., № 8—9, стр. 1.

потом, когда наступит день отправки, обычно тщательно скрываемый, присоединить к партии. Все это говорило, что и наша очередь не за горами.

Но как-раз в это время откуда-то и как-то, теперь я уже не помню, дошел до нас слух, скоро превратившийся, благодаря нашей подозрительности, в уверенность, что перед отправкой первой партии весь состав ее был подвергнут наказанию розгами. Подобные опасения все время жили с нами и не казались нам невероятными. Мы знали, что правительство злобствует на нас и в своем раздражении может допустить самые дикие выходки.

Когда этот слух превратился в уверенность, то мы единодушно сказали себе: «Лучше смерть, чем такой позор!», и об'явили голодовку с твердым намерением довести ее до конца. Тюремные власти, по мере хода голодовки, забили тревогу, а смотритель Богородский бегал по камерам, клялся и божился, что слух не верен, что никакого наказания розгами не было, но мы ему не верили. Поднялась большая тревога и на воле. Было предпринято расследование, приведшее, однако, к отрицательным результатам, что тотчас же и было доведено до нашего сведения. Убежденные добытыми данными, мы на четвертый или на пятый день голодовку прекратили.

Кажется, вслед за этой голодовкой были получены сведения о неудачной попытке отбить Войнаральского, перевозимого из Харькова в Белгородскую тюрьму. Встревоженные власти даже приостановили по этому случаю дальнейшую отправку партий, а наши жены были выпущены из Литовского замка, так как в отместку за дерзость снова было решено отправить нас в харьковские централки, куда жены не допускались. Начались новые хлопоты. Графиня Толстая оказалась уже бессильной изменить решение Мезенцова и могла лишь посоветовать нашим женам письменно обратиться к жене наследника престола через секретаря последней, с которым Толстая обещала лично переговорить по их делу. Маневр удался, и собственноручная отметка будущей государыни на прошении «прошу исполнить»—оказалась равносильной приказанию, против которого не мог устоять и всесильный Мезенцов. Впрочем, отсрочка эта продолжалась недолго, и вскоре вновь были увезены Сажин, Шишко, Волховский, Союзов и др. В Москве Сажина отделили от партии и направили в харьковские централки, а остальных повезли в Сибирь. Теперь очередь была за остальными. Жены наши были уже снова в Литовском замке, и мы со дня на день ждали, что отправят и нас.

В ночь на 22 июля отворяется моя камера, и меня ведут в какой-то большой и мрачный зал, тускло освещенный, где за большим столом сидели какие-то чиновные люди. Вижу далее разложенную арестантскую аммуницию и тут же висевшие кандалы, а недалеко от стола, на полу, что-то черное, что оказалось потом наковальней,—необходимая принадлежность при заковке в кандалы. Ука-

зывая мне на разложенную аммуницию, предлагают снять крепостную и облечься в приготовленную, состоящую из рубашки и кальсон из грубого холста, куртки и штанов из серого солдатского сукна и такого же халата или азяма с бубновым тузом на спине.

Переодевание окончено. Меня усаживают на пол, поблизости от наковальни. Какой-то человек берет мою ногу, а потом другую, надевает кандалы и приступает к заклепке. Но первые же удары молота по наковальне, гулко раздающиеся в пустой и мрачной комнате при гробовом молчании всех, присутствуюших как бы при отходе умирающего, как-то особенно действуют на меня, внутри как-будто что-то обрывается, и я остро и со всей реальностью начинаю видеть ту пропасть, которая вырастает между моим прошлым «я» и теперешним. Там, за этим символизирующим мое бесправие обрядом, я был человек. Теперь я нуль, бесправное существо, которым всякий может помыкать, как ему будет угодно.

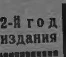
Обряженного в костюм подлинного арестанта-преступника, в шапке без козырька, с бубновым тузом на спине и в ножных ожерельях, с которыми я еще не умею справляться, крепостные власти передают меня в руки жандармов, которые сейчас же повезут меня куда-то в неведомую даль. Лица всех присутствующих серьезны, говорят мало и негромко, как бы чувствуют и они, что тут творится ими что-то неладное. Но вот мы уже на дворе, карета подана, мы усаживаемся и едем в направлении Николаевского вокзала по пустынным улицам. Спутники мои, как и всегда, молчаливы, но я и не ищу их общества. Я внимательно и в последний раз всматриваюсь в эти пустынные теперь улицы города, в котором так много было пережито и с которым связано столько дорогих и светлых воспоминаний. Эти последние вереницей проходят передо мною и покрывают дымкой все то тяжелое, что было пережито за последние годы; покрывают они и только-что пережитую финальную сцену.

«Нет!—думается мне,—этого-то у меня никто уже не отнимет, оно останется при мне, а с ним не страшно и все то, что ждет меня в будущем!».

Совершенно успокоенный и умиротворенный, я еду дальше, чтобы затем, вместе с другими, направиться навстречу этому неведомому будущему...

Вятка, 23/VI—1926 г.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.



2-й год издания

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1926 Г.

НА

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННУЮ БИБЛИОТЕКУ

12 книг в год — 12 книг в год

журнала „КАТОРГА и ССЫЛКА“

Предполагаемое содержание:

1. **Тайные общества в России в начале XIX в.** К столетию восстания декабристов. Новые материалы, статьи и воспоминания. Стр. 215. **Ц. 1 р. 80 к.**
2. **Краухов.** Красный Лейтенант. Воспоминания о Севастопольском восстании 1905 г. Стр. 164+2 вкл. пор. **Ц. 1 р. 40 к.**
3. **А.П. Корба.** «Народная Воля». Воспоминания о 1870—80 г.г. Стр. 232+2 вкл. портр. с иллюстр. в тексте. **Ц. 2 р. — к.**
4. **Н. А. Чарушин.** Из далекого прошлого. Часть I и II. Кружок чайковцев. Воспоминания о революц. движении в первой половине 1870-х г.г. Стр. 222+2 в кл. портр. **Ц. 2 р. — к.**
5. **В. Деготь.** Записки большевика-подпольщика. Печатается.
6. **А. И. Герцен.** Новые материалы. Редакция Н. М. Мендельсона. Печатается.
7. **Кара и Нерчинская каторга.** Сборник воспоминаний и статей. Составлен Нерчинским землячеством о-ва политкаторжан. Печатается.
8. **Сибирская ссылка в эпоху первой революции.** Сборник статей и воспоминан. Под ред. Н. Чужака-Насимовича. Печатается.
9—10. **Б. Еллинский.** Под звон цепей. Роман из жизни политических каторжан на Сахалине. Печатается.
11. **В годы первой революции.** Сборник статей и воспоминаний. Под ред. Вл. Виленского-Сибирякова.
12. **Л. П. Меньщиков. Охрана и Революция.** К истории тайных политических организаций в России. По материалам департамента полиции и Московского охранного отделения. Часть II. 1898 — 1905 г.г.

Каждая книга размером **12 — 16** листов со многими иллюстрациями, что составит в год приблизительно **160** листов.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:

на год (12 книг) — **15** руб.; на $1/2$ года (6 книг) — **8** рублей; на 3 месяца (3 книги) — **4** руб. **50** к.

В отдельной продаже цена книги **1** руб. **50** коп. — **2** руб. **50** коп., а всей библиотеки свыше **20** рублей.

При одновременной подписке на журнал «КАТОРГА и ССЫЛКА» и ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННУЮ БИБЛИОТЕКУ

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

на год (20 книг) — **25** р., на $1/2$ года (10 книг) — **18** р. **50** коп., на 3 месяца (5 книг) — **7** руб. **50** коп.

ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ

в Контору Издательства Всесоюзного Общ. Политич. Каторжан: г. Москва, Лубянский пассаж, 32. Тел. 3-64-78

Цена 2 руб.



ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ:
Москва, Лубянский пассаж, пом. 32, тел. 3-64-73. Контора Издательства Всесоюзного Общества Политкаторжан.

СКЛАД ИЗДАНИЙ:
Москва, Петровка, 7. Книжный склад «Маяк» Всесоюзного Общества Политкаторжан, телеф. 4-18-12 и 3-63-20.